

Грэбер Дэвид. Утопия правил. О технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии

2015, источник: [здесь](#).

Откуда появилась тяга к бюрократии, бесконечным правилам и уставам? Как вышло, что сегодня мы тратим массу времени, заполняя различные формуляры? И действительно ли это шифр к разгадке сути государственного насилия?

Чтобы ответить на эти вопросы, антрополог Дэвид Грэбер исследует неожиданные связи современного человека с бюрократией и показывает, как эти взаимоотношения формируют нашу повседневность.

Эта книга – сборник эссе, каждое из которых показывает, в каких направлениях может развиваться левая критика, которой, по мнению Грэбера, бюрократии остро не хватает.

- [Введение. Железный закон либерализма и эра тотальной бюрократизации](#)

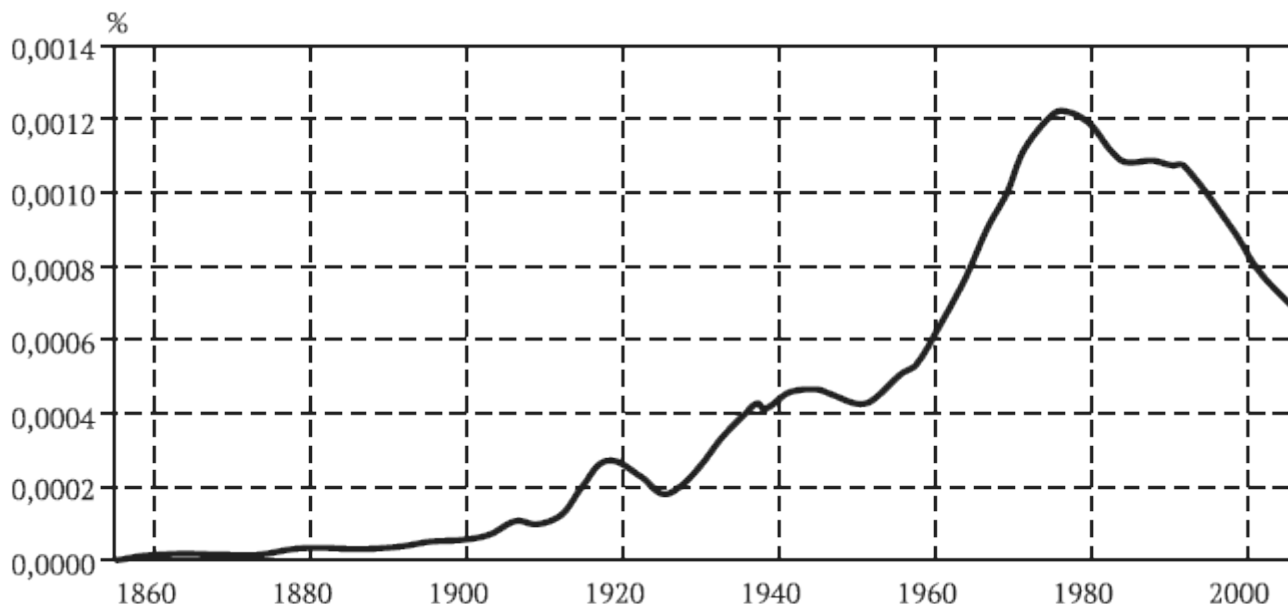
- ГЛАВА I. Мертвые зоны воображения. Очерк о структурной глупости
- ГЛАВА II. О летающих автомобилях и снижении нормы прибыли
- ГЛАВА III. Утопия правил, или Почему мы любим бюрократию, несмотря ни на что
- Приложение. О Бэтмене и проблеме учредительной власти
- Примечания

Введение. Железный закон либерализма и эра тотальной бюрократизации

Сегодня о бюрократии никто особо не говорит. Но в середине прошлого века, особенно в конце 1960-х и в начале 1970-х годов, это слово звучало повсюду. Издавались социологические труды с громкими названиями вроде «Общая теория бюрократии»¹, «Политика бюрократии»² или даже «Бюрократизация мира»³ и популярные книги, как, например, «Закон Паркинсона»⁴, «Принцип Питера»⁵ или «Бюрократы: как им досаждать»⁶. Выпускались кафкианские романы и сатирические фильмы. Казалось, все считали, что нелепость и абсурд бюрократической жизни и бюрократических процедур представляли собой одну из определяющих черт современного существования, а значит, были более чем достойны обсуждения. Однако начиная с 1970-х годов внимание к этой проблеме стало угасать.

Взять, к примеру, следующий график (рис. 1), показывающий, как часто слово «бюрократия» употреблялось в книгах, написанных на английском языке за последние полтора столетия. Интерес к этому явлению был весьма ограниченным до конца Второй мировой, затем резко усилился в 1950-е годы и, достигнув пика в 1973 году, стал медленно, но верно ослабевать.

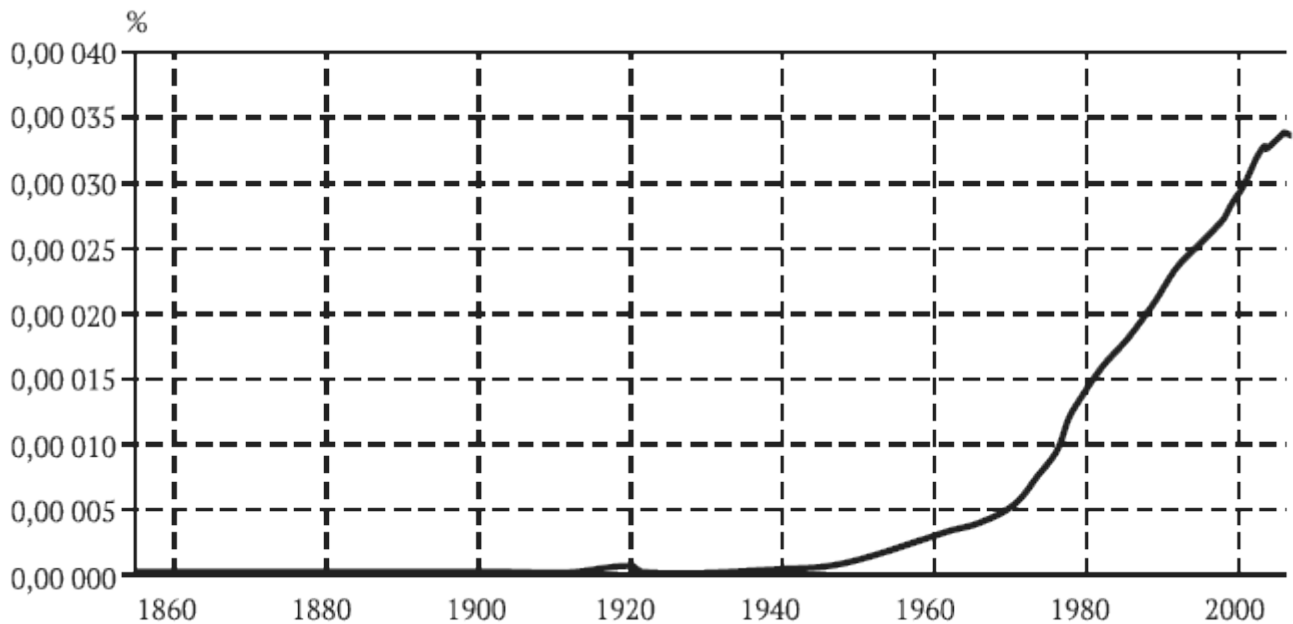
Рис. 1. Бюрократия



Почему? Одна из очевидных причин заключается в том, что мы попросту привыкли. Бюрократия стала той средой, где мы обитаем. Теперь представим другой график (рис. 2), отражающий среднее количество часов, которое обыкновенный американец, англичанин или житель Таиланда провел за заполнением анкет или выполнением прочих исключительно бюрократических обязанностей (разумеется, теперь в большинстве случаев настоящая бумага уже не требуется). Кривая этого графика чем-то похожа на ту, что мы видели выше – до 1973 года она медленно ползет вверх. Но после этой даты графики отличаются друг от друга: линия не только не идет вниз, а, наоборот, продолжает стремиться ввысь; более того, она растет резко, показывая, что в конце XX века представители среднего класса тратили еще больше времени на борьбу с автоответчиками и веб-интерфейсами, а те, кому повезло меньше, преодолевали все более изощренные препятствия, пытаясь получить доступ к социальным услугам.

Я представляю этот график вот так:

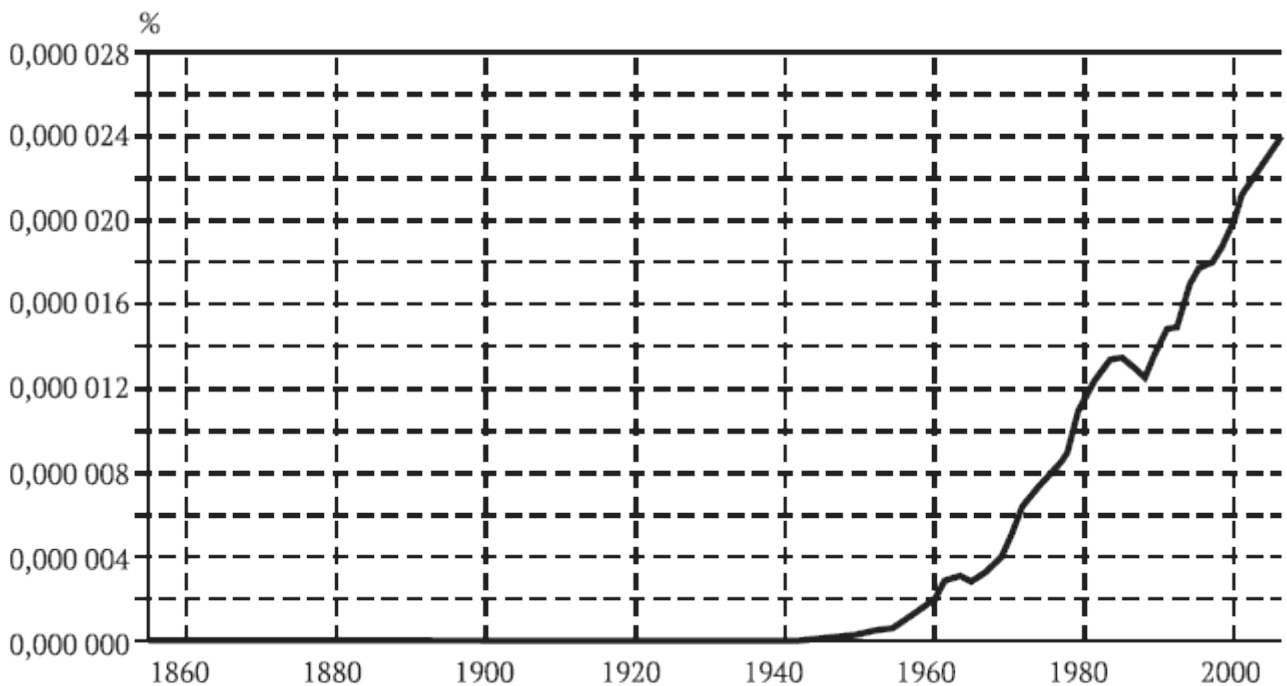
Рис. 2. Бумажная волокита



Эта статистика показывает не количество часов, потраченных на бумажную волокиту, а всего лишь частоту использования словосочетания «бумажная волокита» в англоязычных книгах. У нас нет машины времени, которая позволила бы нам провести более точные исследования, поэтому мы должны довольствоваться тем, что имеем.

Кстати, термины, максимально близкие к «бумажной волоките», демонстрируют почти такие же результаты (рис. 3):

Рис. 3. Оценка эффективности



Все очерки, собранные в этой книге, так или иначе посвящены этому несоответствию. Мы больше не думаем о бюрократии, но она определяет каждый аспект нашего существования.

Будучи планетарной цивилизацией, мы словно решили хлопать в ладоши или мычать всякий раз, когда о ней заходит речь. Даже если мы и готовы говорить о бюрократии, то по-прежнему используем термины, бывшие в ходу в 1960-е и в начале 1970-х. Общественные движения 1960-х годов являлись в целом левыми по духу, но они еще и бунтовали против бюрократии или, если выразиться более аккуратно, выступали против бюрократического мышления, против разрушающей душу покорности, царившей в послевоенных государствах всеобщего благоденствия. Перед лицом серых чиновников капиталистических и социалистических государств бунтари 1960-х отстаивали свое право на личностное самовыражение и на спонтанное веселье и боролись («Правила и нормы – да кому они нужны?»[1]) с любой формой социального контроля.

С крахом старых государств всеобщего благоденствия все это стало казаться откровенным чудачеством. По мере того как язык антибюрократического индивидуализма все более агрессивно перенимали правые, настаивающие на «рыночных решениях» всех социальных проблем, левый мейнстрим все чаще вел довольно жалкие арьергардные бои, пытаясь спасти остатки старого социального государства; пусть и неохотно, но левые смирились с попытками – а зачастую даже выступали их инициаторами – повысить «эффективность» усилий правительства за счет частичной приватизации услуг и прививания структуре самой бюрократии все более «рыночных принципов», «рыночных стимулов» и рыночных «бухгалтерских процессов».

Результатом стала политическая катастрофа – по-другому и не скажешь. То, что представляется как «умеренно» левое решение любой социальной проблемы (а радикально левые решения теперь почти повсеместно отменяются), неизбежно превращается в кошмарную мешанину худших элементов бюрократии и капитализма. Как будто кто-то осознанно попытался выработать наименее привлекательную политическую программу. Об устарелости левых идеалов свидетельствует факт, что никому бы и в голову не пришло поддержать на выборах партию, которая выступала бы за нечто подобное – если за это кто-то и голосует, то, разумеется, не потому, что считает такую политику правильной, а потому, что это единственная политика, которую позволено отстаивать тем, что относит себя к левоцентристам.

Стоит ли тогда удивляться тому, что всякий раз, как наступает социальный кризис, именно правые, а не левые становятся выразителями народного гнева?

У правых, по крайней мере, имеется критика бюрократии. Не очень продуктивная. Но она хотя бы существует. У левых ее нет. И когда те, кто считают себя левыми, не могут сказать о бюрократии ничего плохого, они вынуждены принимать выхолощенную версию критики правых⁷.

Критику правых можно изложить довольно кратко. Ее истоки восходят к либерализму XIX века⁸. Та версия истории, что сложилась в кругах европейского среднего класса после Французской революции, гласила, что в цивилизованном мире происходил постепенный,

неравномерный, но необратимый переход от господства военной элиты с его авторитарными правительствами, религиозными догмами и стратификацией, близкой к кастовому делению, к свободе, равенству и просвещенному торговому личному интересу. В Средние века купеческие классы, словно термиты (ну да, термиты, только полезные), подточили старый феодальный порядок снизу. Согласно либеральной версии истории, пышность и великолепие абсолютистских государств, что тогда ниспровергались, являлись последними пережитками старого порядка, которому должен прийти конец, когда государства дадут зеленый свет рынкам и научному пониманию религиозной веры, а жесткие порядки и титулы маркизов и баронесс уступят место свободным сделкам между индивидами.

Становление современной бюрократии в этой истории всегда представляло определенную проблему, потому что не очень хорошо в нее вписывалось. В принципе, насупленные чиновники с их длинными цепочками управления являлись простым феодальным пережитком и вскоре должны были последовать за офицерами и армиями, которые, как все ожидали, тоже со временем станут ненужными. Достаточно просто полистать русские романы конца XIX века: все отпрыски старых аристократических семейств – то есть на самом деле почти все персонажи этих книг – становились либо армейскими офицерами, либо государственными служащими (ни один мало-мальски значимый герой ничем другим не занимался), а в военной и в гражданской иерархиях были почти одинаковые ранги, звания и менталитет. Но существовала одна очевидная проблема. Если бюрократы являлись просто пережитком, то почему тогда повсеместно – не только в такой глуши, как Россия, но и в быстро развивавшихся промышленных странах вроде Англии и Германии, – их с каждым годом становилось все больше?

Далее появляется еще одно утверждение: бюрократия по сути своей представляет собой врожденный порок демократического проекта. Самым видным выразителем этой мысли был Людвиг фон Мизес⁹, австрийский аристократ в изгнании. В 1944 году он выпустил книгу «Бюрократия», в которой утверждал, что правительственные системы по определению не могут организовывать информацию так же эффективно, как безличные рыночные ценовые механизмы. Тем не менее предоставление права голоса проигравшим в экономической игре неизбежно оборачивается призывами к правительственному вмешательству, которое рисуется благородным инструментом, позволяющим решить социальные проблемы административными методами. Фон Мизес был готов признать, что многие сторонники подобных решений действуют из лучших побуждений, однако их усилия только усугубляют ситуацию. Действительно, он считал, что они окончательно уничтожат политическую основу самой демократии, потому что администраторы социальных программ неизбежно будут объединяться и получат намного большее влияние, чем победившие на выборах политики, руководящие правительством, и станут поддерживать еще более радикальные реформы. Фон Мизес утверждал, что социальные государства, формировавшиеся в те годы в таких странах, как Франция или Англия (не говоря уже о Дании или Швеции), через одно-два поколения неизбежно придут к фашизму.

С этой точки зрения рост бюрократии стал ярким примером того, как благие намерения оборачиваются кошмаром. Возможно, наиболее емко эту мысль выразил Рональд Рейган в своей знаменитой фразе: «Девять наиболее страшных слов в английском языке: “Я из

правительства и я здесь, чтобы помочь вам”».

Проблема в том, что все это очень слабо связано с тем, что происходило на самом деле. Прежде всего, исторически рынки не возникли как некое пространство свободы, не зависимое от государственных властей и противостоящее им. Все было ровно наоборот. Изначально рынки появлялись как побочный эффект от действий правительства, особенно военного характера, или же непосредственно создавались руководящей верхушкой. Так было, по крайней мере, с момента начала чеканки монет, изначально применявшихся для снабжения солдат; на протяжении большей части истории Евразии обычные люди использовали неформальные кредитные соглашения, а физические деньги, золото, серебро, бронза и тот вид безличных рынков, который они сделали возможным, были в основном приложением к мобилизации легионов, разграблению городов, взиманию дани и захвату добычи. Современные центральные банки тоже были созданы для финансирования войн. Так что в традиционной версии истории фигурирует изначальная проблема. Но есть и еще одна, даже более драматичная. Мысль о том, что рынок в определенном смысле независим от правительства и противостоит ему как минимум с XIX века, служила оправданием либеральной экономической политики, направленной на сокращение роли правительства, но на деле это так не работало. Английский либерализм, например, привел не к снижению доли государственной бюрократии, а ровно к противоположному результату, то есть к бесконечному разбуханию армии конторских служащих, регистраторов, инспекторов, нотариусов и полицейских чиновников, которые сделали возможным осуществление либеральной мечты о мире свободных сделок между самостоятельными индивидами. Оказалось, что поддержание рыночной экономики требует в тысячи раз большей бумажной волокиты, чем абсолютная монархия в стиле Людовика XIV.

Этот парадокс, состоящий в том, что политика правительства, направленная на снижение его вмешательства в экономику, в конечном итоге ведет к большему регулированию и увеличению числа бюрократов и полицейских, можно наблюдать настолько часто, что, на мой взгляд, мы вполне можем считать его общим социологическим правилом. Предлагаю называть его Железным законом либерализма:

“ **Железный закон либерализма** гласит, что всякая рыночная реформа, всякое правительственное вмешательство с целью уменьшить бюрократизм и стимулировать рыночные силы в конечном итоге приводят к увеличению общего объема регулирования, общего количества бумажной волокиты и общего числа бюрократов, которых привлекает на службу правительство.

На заре XX века эту тенденцию отметил французский социолог Эмиль Дюркгейм¹⁰, и в дальнейшем игнорировать ее стало невозможно. К середине столетия даже критики из числа правых вроде фон Мизеса были готовы признать – по крайней мере, в своих научных работах – что на самом деле рынки не регулируют себя сами и что для поддержания функционирования любой рыночной системы необходима целая армия администраторов (по фон Мизесу, такая армия становилась проблемой лишь тогда, когда ее использовали для корректировки действия рыночных сил, обрекая тем самым на излишние страдания бедных)¹¹. Однако вскоре правые популисты осознали, что, вне зависимости от реального

положения дел, критика бюрократов почти всегда дает хорошие результаты. Поэтому в своих публичных выступлениях они неустанно клеймили тех, кого губернатор и кандидат в президенты США Джордж Уоллес в ходе предвыборной кампании 1968 года назвал «очкастыми бюрократами», что живут за счет налогов, взимаемых с трудолюбивых граждан.

На самом деле Уоллес здесь – ключевая фигура. Сегодня американцы помнят его в основном как реакционера-неудачника или даже как ворчливого сумасшедшего: эдакий последний закоренелый сторонник сегрегации, стоящий у дверей школы с топором в руках. Но если посмотреть на его наследие шире, то его можно вполне представить и своего рода политическим гением. В конце концов, он был первым политиком, заложившим национальную основу для правого популизма, вскоре оказавшимся настолько заразным, что теперь, поколение спустя, им прониклись представители практически всех политических сил. В результате среди американских рабочих бытует расхожее мнение о том, что правительство составляют люди двух типов: «политики» – крикливые жулики и лжецы, которых хотя бы иногда можно снять с должности путем голосования, и «бюрократы» – снисходительные представители элиты, которых прогнать практически невозможно. Предполагается, что существует некий негласный союз между теми, кого стали считать бедными паразитами (в Америке их изображают в откровенно расистских тонах), и лицемерными чиновниками, такими же паразитами, чье существование зиждется на выплате пособий бедным за счет других людей. И вновь даже левый мейнстрим (или те, кого сегодня называют левыми) способен предложить лишь выхолощенную версию этого правого дискурса. Билл Клинтон, например, так долго критиковал государственных служащих, что после взрывов в Оклахома-Сити счел необходимым напомнить американцам, что служащие – тоже люди, и пообещал никогда больше не употреблять слово «бюрократ»¹².

В современном американском популизме – и в какой-то степени во всем остальном мире – есть только одна альтернатива «бюрократии», а именно «рынок». Иногда это означает, что руководить правительством нужно так же, как и управлять компанией. А иногда, что мы должны просто устранить бюрократов и вернуться к истокам, то есть дать людям жить, не сковывая их бесконечными правилами и предписаниями, которые им навязываются сверху, и позволить тем самым магии рынка выработать собственные решения.

Тем самым «демократия» стала означать рынок, а «бюрократия», в свою очередь, вмешательство правительства в деятельность рынка; именно такое значение это слово сохраняет и по сей день.

Так было не всегда. В конце XIX века становление современных корпораций в целом рассматривалось как вопрос применения современных бюрократических приемов в частном секторе – считалось, что эти приемы необходимы для ведения крупномасштабной деятельности, потому что они более эффективны, чем сети личных или неформальных связей, преобладавших в мире небольших семейных предприятий. Пионерами этой новой, частной бюрократии стали Соединенные Штаты и Германия, а немецкий социолог Макс

Вебер отмечал, что американцы его времени были особенно склонны видеть в государственной и частной бюрократиях одного и того же зверя:

“ Корпус чиновников, вовлеченных в «государственную» службу, наряду с соответствующим аппаратом материальных инструментов и бумаг составляет «бюро». В частной компании «бюро» часто называют «конторой»...

Особенность современного предпринимателя состоит в том, что он ведет себя как «первый чиновник» своей корпорации, точно так же, как правитель бюрократического государства эпохи модерна называл себя «первым служителем» государства. Мысль о том, что бюрократическая деятельность государства по своему характеру отличается от частных экономических контор, представляет собой понятие, присущее континентальной Европе, и при сравнении, оказывается совершенно чуждой американскому мышлению¹³.

Иными словами, на рубеже веков американцы не то чтобы сетовали на то, что правительством нужно руководить как частной компанией, а просто считали, что правительство и бизнес – во всяком случае, крупный – регулируются одинаково.

Действительно, на протяжении большей части XIX века экономика Соединенных Штатов состояла из небольших семейных фирм и крупного финансового капитала – как и экономика Великобритании в ту же эпоху. Однако выход США на международную арену в качестве великой державы в конце века отражал становление специфической американской конфигурации: корпорация – бюрократия – капитализм. Как отмечал Джованни Арриги, в это же время аналогичная корпоративная модель складывалась в Германии, и обе страны (и Соединенные Штаты, и Германия) провели почти всю первую половину следующего, XX столетия в борьбе за право занять место переживавшей упадок Британской империи и навязать собственное видение мирового экономического и политического порядка. Все мы знаем, кто победил. Здесь Арриги делает еще одно интересное замечание. В отличие от Британской империи, которая серьезно относилась к риторике свободного рынка и упразднила свои протекционистские пошлины знаменитым биллем об отмене хлебных законов 1846 года, ни германский, ни американский режимы никогда особо не были заинтересованы в свободной торговле. Американцы больше стремились к созданию структур международного управления. Забрав у Великобритании бразды правления после Второй мировой войны, Соединенные Штаты первым делом организовали первые поистине планетарные бюрократические структуры в виде Организации Объединенных Наций и Бреттон-Вудских институтов – Международного валютного фонда, Всемирного банка и ГАТТ, позже превратившегося в ВТО. Британская империя никогда не пыталась предпринять что-либо подобное. Она либо завоевывала другие страны, либо торговала с ними. Американцы же стремились управлять всем и каждым.

Я заметил, что британцы гордятся тем, что не сильно разбираются в бюрократии; американцы же, напротив, словно смущаются того факта, что очень неплохо ориентируются

в ее дебрях¹⁴. Это не соответствует представлению американцев о самих себе. Считается, что мы – индивидуалисты и полагаемся на самих себя (именно поэтому так эффективна демонизация бюрократов со стороны правых популистов). Тем не менее факт остается фактом: Соединенные Штаты являются (причем уже более ста лет) глубоко бюрократическим обществом. Это не так очевидно, потому что большинство американских бюрократических привычек и воззрений – от одежды и языка до дизайна формуляров и офисов – пришли из частного сектора. Когда писатели и социологи описывали «Человека организации» или «Человека в сером фланелевом костюме», бездушного конформиста, американского аналога советского аппаратчика, они не говорили о чиновниках из Департамента землепользования и охраны природы или из Управления социальной защиты, а изображали корпоративного менеджера средней руки. И правда, в то время бюрократов из корпораций уже не называли бюрократами. Но они по-прежнему задавали стандарт того, как должны выглядеть административные работники.

Представление о том, что слово «бюрократ» следует рассматривать как синоним «государственного служащего», восходит к 1930-м годам, к эпохе «Нового курса», когда бюрократические структуры и методы впервые стали занимать заметное место в жизни многих обычных людей. Но в действительности с самого начала рузвельтовские нью-дилеры тесно сотрудничали с полчищами юристов, инженеров и корпоративных бюрократов, работавших в таких фирмах, как Ford, Coca-Cola или Procter & Gamble, и перенимали их стиль и мировоззрение; и когда в 1940-е годы Соединенные Штаты перешли на военное положение, то же самое сделала и гигантская бюрократия американской армии. Очевидно, что с тех пор Соединенные Штаты из военного положения так и не вышли. Тем не менее, как следствие этих методов, слово «бюрократ» закрепилось исключительно за государственными служащими: менеджеров средней руки или офицеров никто не считает бюрократами, даже если они целыми днями только и делают, что сидят за письменными столами, заполняют анкеты и готовят отчеты (то же относится и к полиции, и к сотрудникам Агентства национальной безопасности).

В Соединенных Штатах граница между государственным и частным долгое время была размытой. Например, широко известна «вращающаяся дверь» американской армии – высокопоставленные офицеры, занимающиеся вопросами снабжения, регулярно оказываются в советах директоров корпораций, выполняющих военные заказы. В более широком плане необходимость сохранения одних отраслей промышленности для военных целей и развития других позволила правительству США развернуть промышленное планирование фактически в советском стиле и в то же время не признаваться в этом. В конце концов, почти всё, от поддержания определенного количества сталелитейных заводов до проведения первых исследований по разработке интернета, можно оправдать, исходя из соображений подготовки к войне. И вновь, поскольку такого рода планирование осуществляется общими усилиями военных и корпоративных служащих, оно и близко не воспринимается как нечто бюрократическое.

Тем не менее с ростом финансового сектора ситуация вышла на качественно иной уровень, на котором становится практически невозможным определить, что является государственным, а что – частным. Это связано не столько с тем, что многие функции, некогда исполнявшиеся правительством, впоследствии передали частным корпорациям, сколько прежде всего с тем, как последние стали функционировать.

Позволю себе привести пример. Пару недель назад я в течение нескольких часов общался с Bank of America, пытаюсь разобраться, как получить доступ к информации о моем счете, если я нахожусь за рубежом. Для этого мне пришлось поговорить с четырьмя разными представителями банка, дважды меня перевели на несуществующие номера, три раза мне долго объясняли сложные и явно произвольные правила, и я предпринял две безуспешные попытки заменить устаревшие данные об адресе и номере телефона, которые хранились в различных компьютерных системах. Иными словами, это было само воплощение бюрократической волокиты (по завершении всего этого я так и не смог получить доступ к моему счету).

Теперь у меня не осталось ни малейших сомнений, что, если бы я решил найти управляющего банком и спросить у него, как такое вообще возможно, он или она стали бы сразу убеждать меня, что банк обвинять в этом нельзя – все это последствия мудреной путаницы, созданной правительственными предписаниями. Тем не менее я также уверен в том, что если бы существовала возможность изучить, как эти предписания появились, то обнаружилось бы, что они были совместно составлены консультантами законодателей, заседающих в каком-нибудь банковском комитете, лоббистами и адвокатами, нанятыми самими банками, а весь процесс был простимулирован щедрыми пожертвованиями на кампании по переизбранию тех же самых законодателей. То же можно было бы сказать и о кредитных рейтингах, страховых премиях, заявлениях на выдачу ипотеки, равно как и о процессе покупки билета на самолет, о подаче заявления на получение разрешения на плавание с аквалангом или о попытке заказать эргономическое кресло в офис какого-нибудь частного, на первый взгляд, университета. Подавляющее большинство бумажной волокиты, которой мы занимаемся, существует лишь в этой своего рода промежуточной зоне – на первый взгляд, частной, но на деле полностью сформированной правительством, задающим юридические рамки и обеспечивающим соблюдение правил при помощи своих судов и всех связанных с ними сложных механизмов принуждения, но в первую очередь – и это главное – держащим в уме стремление частного сектора к тому, чтобы все это в результате обеспечивало определенную норму частной прибыли.

В подобных случаях язык, который мы используем – и который породила критика правых, – оказывается совершенно неподходящим. Он ничего не говорит нам о том, что происходит на самом деле¹⁵.

Рассмотрим такое явление, как дерегулирование. В сегодняшнем политическом дискурсе слово «дерегулирование» (как и «реформа») почти всегда считается чем-то положительным. дерегулирование означает меньше бюрократического вмешательства и меньше правил и предписаний, душащих инновации и торговлю. Такое использование ставит тех, кто относит себя к левой части политического спектра, в неловкое положение, поскольку сопротивление дерегулированию (даже если учесть, что именно вакханалия этого самого

«дерегулирования» привела к банковскому кризису 2008 года) подразумевает стремление к большему количеству правил и предписаний, а значит, к увеличению числа людей в серых костюмах, стоящих на пути к свободе и к инновациям и указывающим другим, что они должны делать.

Но эти споры основаны на ложных предпосылках. Вернемся к банкам. «Нерегулируемых» банков не бывает. И быть не может. Например, правительство наделило банки властью создавать деньги или, если отнестись к этому вопросу несколько более педантично, право выдавать долговые расписки, которые правительство признает в качестве платежного средства, а значит, принимает для уплаты налогов и для погашения долгов на подконтрольной ему национальной территории. Разумеется, никакое правительство не станет предоставлять кому бы то ни было (и уж тем более фирме, стремящейся к получению прибыли) власть выпускать столько денег, сколько ей захочется, в любых обстоятельствах. Это было бы безумием. Власть создавать деньги устроена так, что правительства по определению могут передавать ее лишь на четко прописанных (читай: регулированных) условиях. И действительно, именно это мы всегда и обнаруживаем: правительство контролирует всё, от резервных требований к банку до времени его работы; сколько он может брать в виде процентов, комиссий и пеней; какие предосторожности в области безопасности он способен или должен применять; как он уполномочен вести свою бухгалтерию и по ней отчитываться; как и когда он обязан извещать своих клиентов об их правах и обязанностях; и практически все остальное.

Так что люди сегодня имеют в виду, говоря о «дерегулировании»? В повседневном использовании это слово, похоже, подразумевает «изменение нормативной структуры так, как мне нравится». На практике оно может означать все что угодно. Применительно к авиационным или телекоммуникационным компаниям в 1970-е и 1980-е годы оно означало переход от системы регулирования, поощрявшей несколько крупных фирм, к модели, которая стимулировала тщательно контролируемую конкуренцию между фирмами среднего размера. Применительно к банкам «дерегулирование» обычно подразумевало ровно противоположное: отказ от управляемой конкуренции между фирмами среднего размера в пользу модели, при которой горстке финансовых конгломератов позволено полностью господствовать на рынке. Именно поэтому этот термин так удобен. Просто назвав новую регулятивную меру «дерегулированием», вы можете представить ее публике как способ сократить бюрократию и высвободить личную инициативу, даже если ее результатом станет пятикратное увеличение количества формуляров, отчетов, правил и норм, которые юристы должны будут истолковывать, и услужливых людей в офисах, чья работа, похоже, заключается в том, чтобы давать вам изощренные объяснения, почему вам нельзя делать те или иные вещи¹⁶.

У этого процесса постепенного слияния государственной и частной власти в единое целое, который порождает ворох правил и предписаний, создаваемых с целью извлечения богатства в виде прибыли, пока еще даже нет названия. Что само по себе показательно. Такое может происходить зачастую потому, что мы не знаем, как говорить об этом процессе.

Но его последствия мы наблюдаем во всех сферах нашей жизни. Он заполняет наши дни бумажной волокитой. Бланки становятся все длиннее и заковыристее. Обычные документы вроде счетов, билетов, членских карт спортивных или книжных клубов подкрепляются теперь страницами бюрократического текста, набранного мелким шрифтом.

Я собираюсь обозначить этот процесс и буду называть его эпохой «тотальной бюрократизации» (я также склонялся к эпохе «хищнической бюрократизации», но здесь я хочу подчеркнуть именно вездесущую природу данного явления). Можно сказать, что его первые ростки появились как раз тогда, когда в конце 1970-х годов начала угасать общественная дискуссия о бюрократии, его серьезное развитие продолжилось в 1980-е, а настоящий размах оно приобрело в 1990-е.

В одной из своих книг я высказывал предположение, что ключевой исторический перелом, ознаменовавший появление нынешнего экономического режима, произошел в 1971 году, когда была отменена привязка американского доллара к золоту. Именно это открыло дорогу сначала финансиализации капитализма, а затем и более глубоким изменениям, которые, как мне кажется, в итоге с ним покончат. Я по-прежнему так считаю. Но здесь мы говорим о краткосрочных последствиях. Что означала финансиализация для того глубоко бюрократизированного общества, которым являлась послевоенная Америка?¹⁷

На мой взгляд, то, что произошло, лучше всего рассматривать как смещение классовых предпочтений управленческого персонала крупнейших корпораций от непростого фактического союза с рабочими к союзу с инвесторами. Как давно отмечал Джон Кеннет Гэлбрейт, если вы создаете предприятие по производству духов, молочных продуктов или самолетных корпусов, то его работники, будучи предоставлены самим себе, скорее будут направлять свои усилия на то, чтобы производить духи, молочные продукты или самолетные корпуса лучшего качества и в большем количестве, а не думать в первую очередь о том, что принесет больше денег акционерам. Более того, поскольку на протяжении значительной части XX века работа в крупной бюрократической фирме означала гарантированную пожизненную занятость, все люди, вовлеченные в процесс, как менеджеры, так и рабочие, считали, что у них в этом отношении общие интересы, которые важнее интересов собственников и инвесторов, сующих нос не в свое дело. Такая солидарность между разными классами даже получила свое название – «корпоративизм». Романтизировать ее не стоит: она являлась одной из философских основ фашизма. Ведь можно сказать, что фашизм просто перенял мысль о том, что у рабочих и управленцев общие интересы и что такие организации, как корпорации и сообщества, образуют органическое целое, а финансисты – это чуждая, паразитическая сила, и затем довел ее до убийственной крайности. Даже в более мягких социал-демократических вариантах в Европе и Америке социальная политика зачастую окрашивалась в шовинистические тона¹⁸ – кроме того, она еще и привела к тому, что инвесторы до определенной степени всегда рассматривались как чужаки, против которых белые и синие воротнички выступали единым фронтом.

Радикалам 1960-х годов, чьи антивоенные демонстрации регулярно подвергались нападению со стороны националистически настроенных водителей грузовиков и рабочих, реакционные последствия корпоративизма казались очевидными. Корпоративные офисные служащие и хорошо зарабатывающий промышленный пролетариат, нашедший воплощение

в образе Арчи Банкера, находились по одну сторону баррикад. Неудивительно, что левая критика бюрократии в те времена сосредотачивалась на том, что общих черт с фашизмом у социал-демократии было больше, чем сторонники последней были готовы признать. Неудивительно и то, что эта критика сегодня кажется совершенно неприменимой¹⁹.

В 1970-е годы произошло событие, повлиявшее на то, что мы видим сегодня, а именно стратегический разворот верхних слоев американской корпоративной бюрократии от рабочих к акционерам, а затем и к финансовым структурам в целом. Такие явления, как слияния и поглощения, корпоративное рейдерство, спекулятивные облигации и распродажа активов, начавшиеся при Рейгане и Тэтчер и достигшие кульминации со становлением частных инвестиционных фирм, были лишь одними из наиболее ярких ранних механизмов, при помощи которых осуществилось это смещение предпочтений. На деле данное движение носило двойственный характер: корпоративный менеджмент все сильнее финансиализировался, но вместе с тем финансовый сектор становился более корпоративным по мере того, как инвестиционные банки, хедж-фонды и тому подобные компании вытесняли индивидуальных инвесторов. В результате класс инвесторов и класс управленцев стали практически неотличимы друг от друга (вспомните термин «финансовый менеджмент», которым начали обозначать и то, как высшие слои корпоративной бюрократии управляют своими фирмами, и то, как инвесторы распоряжаются своими портфелями). Вскоре героических генеральных директоров стали прославлять в СМИ, причем их успешность измерялась количеством работников, которых они могли уволить. К 1990-м годам пожизненная занятость ушла в прошлое даже для белых воротничков. Если корпорации хотели добиться преданности, они все чаще расплачивались со своими сотрудниками биржевыми опционами⁰.

В то же время новое кредо гласило, что каждый должен смотреть на мир глазами инвестора – вот почему в 1980-е годы газеты начали увольнять репортеров, рассказывавших о трудовых отношениях, а новостные выпуски стали сопровождаться бегущей строкой внизу экрана, отражающей актуальные котировки акций. Везде говорили о том, что, участвуя в личном пенсионном или инвестиционном фонде того или иного рода, каждый может получить свой кусок капитализма. На самом деле магический круг расширился лишь настолько, чтобы вобрать в себя наиболее высокооплачиваемых профессионалов и самих корпоративных бюрократов.

Тем не менее это расширение считалось очень значительным. Ни одна политическая революция не может быть успешной без союзников, потому было крайне необходимо привлечь определенную часть среднего класса и, что еще важнее, убедить основную массу среднего класса, что у нее есть своя доля в капитализме, в котором господствуют финансы. В конечном итоге самые либеральные члены этой элиты профессионалов и менеджеров стали социальной базой того, что начали называть политическими партиями «левого толка» по мере того, как непосредственные организации рабочих вроде профсоюзов все больше оттеснялись (например, Демократическая партия США или «новые лейбористы» в Великобритании, чьи лидеры регулярно устраивали ритуальные акты публичного отречения от тех самых профсоюзов, что исторически служили их наиболее прочной основой). Конечно, были люди, уже работавшие в тщательно забюрократизированных организациях, например, в школах, больницах или корпоративных юридических фирмах. Настоящий рабочий класс,

традиционно испытывавший ненависть к таким лицам, либо полностью выпал из политики, либо все чаще в знак протеста голосовал за правых радикалов²¹.

Это была не просто политическая перестройка, а настоящая культурная трансформация. Так подготовили основу для процесса, посредством которого бюрократические приемы (анализ эффективности, фокус-группы, исследования о распределении времени), разработанные в финансовых и корпоративных кругах, наводнили остальные сферы общества – образование, науку, правительственные институты, – а затем проникли почти во все сферы повседневной жизни. Проще всего этот процесс можно проследить по языку. В этих кругах сложилось специфическое наречие, полное ярких и пустых терминов: «видение», «качество», «заинтересованное лицо», «лидерство», «совершенство», «инновации», «стратегические задачи» или «передовой опыт» (большая часть из них восходит к движениям «раскрытия своих способностей», таким как Lifespring, Mind Dynamics и EST; эти термины были чрезвычайно популярны в залах заседаний корпораций в 1970-е годы, но очень скоро превратились в самостоятельный язык). Теперь представьте, что можно создать карту какого-нибудь крупного города и поместить маленькую синюю точку там, где находится каждый документ, в котором используются по меньшей мере три таких слова. Затем вообразите, что мы способны видеть, как они меняются на протяжении времени. Мы смогли бы наблюдать за тем, как новая корпоративная культура расплзается, словно синее пятно в чашке Петри: появившись в финансовых районах, она проникает в залы заседаний, затем в правительственные учреждения и в университеты и, наконец, заполняет все места, где люди собираются для обсуждения распределения каких бы то ни было ресурсов.

Хотя этот союз правительства и финансов на все лады расхваливает рынки и личную инициативу, часто он приводит к результатам, которые поразительно напоминают худшие проявления бюрократизации в СССР или в бывших колониальных задворках глобального Юга. К примеру, существует антропологическая литература, посвященная культуре сертификатов, лицензий и дипломов в бывшем колониальном мире. Часто она рассказывает о том, что в странах вроде Бангладеш, Тринидада и Тобаго или Камеруна, находящихся в плену удушающего наследия колониального владычества и собственных магических традиций, официальные удостоверения считаются чем-то вроде материального фетиша, то есть волшебных объектов, придающих силу сами по себе, без какой-либо связи с реальными знаниями, опытом или навыками, которые они должны отражать. Но начиная с 1980-х годов настоящий взрыв сертификатов произошел в «передовых» странах, таких как США, Великобритания или Канада. Как отмечает антрополог Сара Кендзиор:

“ «Соединенные Штаты стали страной, строже всех в мире относящейся к сертификатам», – пишут Джеймс Эндрелл и Энтони Дэнджерфилд в своей книге «Как спасти высшее образование в эпоху денег», изданной в 2005 году. «Степень бакалавра требуют при приеме на такие рабочие места, для которых, даже при самом богатом воображении, не может понадобиться и

двух лет очного обучения, не говоря уже о четырех».

Превращение вузовского диплома в условие для того, чтобы стать частью среднего класса, привело к исключению из числа общественно значимых тех профессий, что не требуют университетского образования. В 1971 году университетский диплом был у 58 % журналистов. Сегодня этот показатель составляет 92 %, и во многих изданиях требуют университетский диплом по журналистике, несмотря на тот факт, что самые известные журналисты его никогда не получали²².

Журналистика – это одна из общественно значимых сфер (к коим относятся и политика), где дипломы фактически служат разрешением говорить, уменьшая шансы тех, у кого их нет, найти работу и остаться в этой сфере. Способности без диплома теряют в цене, а способность приобретать дипломы в большинстве случаев зависит от семейного благосостояния²³.

Эту историю можно повторять и применительно к другим профессиям – от медсестер и учителей рисования до физиотерапевтов и консультантов по вопросам внешней политики. Почти в каждой сфере деятельности, раньше считавшейся искусством, которому лучше учиться на практике, теперь требуется формальная профессиональная подготовка и сертификат о завершении обучения. К тому же это происходит в равной степени и в частном секторе, и в государственном, поскольку, как мы уже отмечали, в бюрократических вопросах это различие утратило всякий смысл. Хотя эти меры навязываются – как и все бюрократические меры – под предлогом создания честных, безличных механизмов в областях, где раньше господствовали закрытые от других знания и социальные связи, зачастую они приводят к противоположному результату. Как знает всякий, кто учился в аспирантуре, именно дети профессионалов и менеджеров, которые благодаря семейным ресурсам меньше прочих нуждаются в финансовой поддержке, лучше разбираются в мире бумажной волокиты и потому скорее получают эту поддержку²⁴. Для всех остальных главным результатом многолетней профессиональной подготовки становится то, что они обременены такими колоссальными долгами за обучение, что значительная доля любого последующего дохода, что они получают от своей профессиональной деятельности, каждый месяц будет выкачиваться финансовым сектором. В некоторых случаях эти новые требования к подготовке можно охарактеризовать лишь как откровенное мошенничество, например, когда кредиторы и разработчики программ подготовки совместно требуют от правительства, чтобы, скажем, все фармацевты отныне сдавали какой-нибудь дополнительный квалификационный экзамен, что вынуждает тысячи людей, уже занимающихся этой профессией, посещать вечернюю школу, в которой, как эти фармацевты прекрасно понимают, многие смогут учиться при условии, что возьмут кредиты на обучение под высокий процент²⁵. Поступая так, кредиторы законодательно закрепляют свое право на присвоение значительной части последующих доходов фармацевтов²⁶.

Последнее может показаться крайностью, но это в какой-то степени образцовый пример слияния государственной и частной власти в условиях нового финансового режима. Корпоративные доходы в Америке все чаще обеспечиваются вовсе не торговлей или промышленностью, а финансами – то есть в итоге долгами других людей. Эти долги не

возникают случайно. В значительной степени они проектируются, причем именно этим слиянием государственной и частной власти. Корпоративизация образования; вытекающее из нее раздувание стоимости обучения, поскольку предполагается, что студенты должны платить за гигантские футбольные стадионы и тому подобные проекты, лелеемые доверительными управляющими, или оплачивать возрастающие зарплаты университетских сотрудников, которых становится все больше; растущий спрос на дипломы, служащие сертификатом для поступления на работу, которая обещает доступ к уровню жизни среднего класса; вытекающий из этого рост уровня задолженности – все это образует единую цепь. Одним из следствий всех этих долгов становится то, что правительство превращается в главный механизм извлечения корпоративных доходов (просто представьте, что произойдет, если кто-нибудь попытается не выплачивать долг за обучение: в действие вступит весь правовой аппарат, угрожая арестом имущества и зарплаты и наложением дополнительных многотысячных штрафов). Другое следствие – это то, что самих должников вынуждают все больше бюрократизировать свою жизнь, которую нужно организовывать так, как если бы они сами были маленькими корпорациями: рассчитывая издержки и доходы и постоянно пытаюсь сбалансировать счета.

Также важно подчеркнуть, что, хотя эта система извлечения прибыли облачается в язык правил и предписаний, ее функционирование в нынешнем виде не имеет ничего общего с верховенством закона. Скорее само юридическое устройство стало инструментом системы все более и более произвольного извлечения денег. По мере того как прибыли банков и компаний, выпускающих кредитные карты, все в большей степени обеспечиваются за счет «платежей и штрафов», взимаемых с их клиентов – настолько, что с тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, могут регулярно взимать штрафы в восемьдесят долларов за перерасход средств в размере пяти долларов, – финансовые компании стали играть по совершенно иным правилам. Однажды на конференции, посвященной кризису банковской системы, у меня состоялся короткий неформальный разговор с экономистом из одного Бреттон-Вудского института (наверное, лучше не называть, какого именно). Я спросил его, почему все до сих пор ждут, что хотя бы одного банковского служащего привлекут к судебной ответственности за любое из мошеннических действий, приведших к краху 2008 года.

“ СЛУЖАЩИЙ. Ну, вы должны понимать, что американские прокуроры всегда стремятся достигать полюбовного соглашения с финансовыми мошенниками. В результате финансовый институт обязуют выплатить штраф, иногда в размере нескольких сотен миллионов, но фактически они не признают никакой уголовной ответственности. Их юристы просто говорят, что они не будут оспаривать обвинение, но если они заплатят, то технически перестанут считаться виновными.

Я. То есть вы говорите, что если правительство видит, что, допустим, Goldman Sachs или Bank of America совершили мошенничество, то их просто заставят выплатить штраф.

СЛУЖАЩИЙ. Так и есть.

Я. Ну, в этом случае... Ладно, я так понимаю, что лучше задать вопрос так: случалось ли когда-нибудь такое, чтобы штраф, который компания была обязана заплатить, был больше того, что она заработала на мошенничестве?

СЛУЖАЩИЙ. Нет, насколько я знаю. Обычно штраф намного меньше.

Я. О каком объеме мы говорим? 50 %?

СЛУЖАЩИЙ. Я бы сказал, скорее 20–30 %, в среднем. Но сумма значительно варьируется от случая к случаю.

Я. И это получается... Поправьте меня, если я ошибаюсь, но не означает ли это, что правительство говорит: «Вы можете совершать любое мошенничество, какое вам вздумается, но, если мы вас поймаем, вы должны будете заплатить нам долю»?

СЛУЖАЩИЙ. Ну, я, разумеется, не могу использовать такие формулировки, пока я работаю в банке...

И разумеется, право этих же банков взимать с владельцев счетов восемьдесят баксов за перерасход подкрепляется все той же судебной системой, которая довольствуется лишь отступными, когда сами банки проворачивают махинации.

С одной стороны, это может казаться лишь еще одним примером всем известной истории: богатые всегда играют по другим правилам. Если дети банкира регулярно выкручиваются, когда их ловят с таким количеством кокаина, которого хватило бы на десятки лет заключения в федеральной тюрьме, будь они бедными или черными, то почему что-то должно измениться, когда они сами становятся банкирами? Но, на мой взгляд, тут речь идет о чем-то более глубоком, в чем проявляется сама сущность бюрократических систем. Такие институты всегда создают культуру соучастия. Дело не просто в том, что какие-то люди могут нарушать правила, а в том, что преданность человека организации до определенной степени измеряется готовностью притворяться, будто этого не происходит. А поскольку бюрократическая логика распространяется на все общество в целом, то все мы начинаем подыгрывать.

На этом вопросе стоит остановиться. Я имею в виду, что здесь мы наблюдаем не просто двойные стандарты, а особые двойные стандарты, которые повсеместно являются отличительными чертами бюрократических систем. Любая бюрократия несколько утопична в том смысле, что она предлагает абстрактный идеал, которого люди никогда не достигнут. Возьмем в качестве точки отсчета страсть к дипломам. Социологи вроде Вебера всегда отмечают, что одной из определяющих черт любой бюрократии является то, что ее представители отбираются по формальным, безличным критериям – чаще всего, на основе какого-нибудь письменного теста (иными словами, бюрократы, например, не избираются, как политики, но, с другой стороны, они не устраиваются на работу просто благодаря родственным связям). В теории, тут действуют принципы меритократии. Но всякому

известно, что в этой системе тысячи дефектов. Многие бюрократы, в действительности, получили должность благодаря родственным связям, и все об этом знают. Первым критерием преданности организации становится соучастие. По карьерной лестнице продвигаются не за достоинства и даже не при помощи родственников, а в первую очередь благодаря готовности делать вид, будто карьерный рост основан на достижениях, даже если все знают, что это не так²⁷. Или притворяться, что правила и нормы одинаковы для всех, хотя на самом деле их часто используют как инструмент совершенно произвольной личной власти.

Бюрократия работала так всегда. Но на протяжении большей части истории этот факт имел значение только для тех, кто и правда действовал в рамках административных систем, допустим, для амбициозных конфуцианских ученых в средневековом Китае. Всем остальным не было нужды часто думать об организациях; обычно они сталкивались с ними раз в несколько лет, когда наступало время учета их полей и скота местными налоговыми властями. Но, как я уже отмечал, в минувшие два столетия произошел взрывной рост бюрократии, а в последние тридцать-сорок лет бюрократические принципы проникли во все сферы нашей жизни. В результате распространилась и эта культура соучастия. Многие из нас действуют так, как если бы они верили, что в судах с финансовыми учреждениями обращаются как положено, и что с ними обходятся даже слишком жестко, и что обычные граждане действительно заслуживают того, чтобы их наказывали в сто раз строже за перерасход средств. Поскольку целые общества стали утверждать, что придерживаются концепции меритократии, подкрепленной дипломами, и не считают себя системами произвольного вымогательства, каждый спешит выслужиться, утверждая, что действительно верит в то, что все так и есть.

ак как могла бы выглядеть левая критика тотальной или хищнической бюрократизации?

На мой взгляд, подсказку может дать история Глобального движения за справедливость, которое, к своему собственному удивлению, выяснило, в чем заключается тотальная бюрократизация. Я помню это достаточно хорошо, потому что в свое время активно принимал участие в их деятельности. В 1990-е годы «глобализация», как возвещали журналисты вроде Томаса Фридмана (а на самом деле весь журналистский истеблишмент в Соединенных Штатах и в большинстве других богатых стран), представлялась почти естественной силой. Технологические достижения, в особенности интернет, сделали мир сплоченным как никогда прежде, возросший объем коммуникаций вел к росту торговли, а национальные границы быстро утрачивали свое значение в условиях, когда договоры о свободной торговле превращали планету в единый мировой рынок. В политических дебатах того времени, что велись в ведущих СМИ, все это воспринималось как настолько очевидные реалии, что казалось, будто всякий, кто выступал против этого процесса, действует против основных законов природы – его противники словно отрицали, что Земля круглая, и считались шутами, левыми эквивалентами библейских фундаменталистов, утверждающих, что эволюция – ложь.

Поэтому, когда возникло Глобальное движение за справедливость, СМИ рисовали его как последнее порождение пещерных левых, которые хотели восстановить протекционизм, национальный суверенитет, барьеры на пути торговли и коммуникаций и вообще стать на пути Необратимого Течения Истории. Проблема в том, что все, разумеется, было не так. Почти сразу выяснилось, что средний возраст протестующих, прежде всего в богатых странах, составлял девятнадцать лет. Еще важнее было то, что движение само стало формой глобализации: это был калейдоскопический союз людей со всех уголков мира, включавший в себя самые разные объединения, от ассоциаций индийских крестьян до профсоюза канадских работников почты, от групп панамских индейцев до анархистских коллективов из Детройта. Более того, представители движения неустанно повторяли, что, несмотря на утверждения в обратном, то, что СМИ называли «глобализацией», не имело практически ничего общего со стиранием границ и свободным движением людей, товаров и идей. Речь на самом деле шла о заточении все большей части населения мира в милитаризованных национальных границах, в рамках которых можно было систематически уничтожать социальную защиту, создавая группу настолько отчаявшихся трудящихся, что они будут готовы работать практически даром. Выступая против такого положения дел, они предлагали настоящий мир без границ.

Разумеется, сторонники этих идей не могли выступать на телевидении или в крупнейших газетах, по крайней мере, не в таких странах, как США, где СМИ находятся под строгим контролем их собственных внутренних корпоративных бюрократов. Эти темы были под запретом. Но мы обнаружили, что способны сделать кое-что, что сработает не хуже. Мы могли осаждать саммиты, где обсуждались торговые соглашения, и ежегодные встречи институтов, которые придумывали, зашифровывали и воплощали в жизнь параметры того, что называлось глобализацией. До тех пор, пока движение не пришло в Северную Америку, где взяло в осаду саммит ВТО в Сиэтле в ноябре 1999 года (а затем блокировало встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне), большинство американцев и понятия не имело о том, что эти организации вообще существуют. Эти акции оказали магическое воздействие, которое продемонстрировало все то, что раньше пытались скрыть: все, что нам нужно было сделать, это выступить и попытаться заблокировать место проведения мероприятия – так мы сразу разоблачили огромную мировую бюрократию взаимосвязанных организаций, о деятельности которой никто не догадывался. И разумеется, в то же время мы словно по мановению волшебной палочки вывели на улицы тысячи вооруженных полицейских из отрядов по борьбе с беспорядками, показавших, что эти бюрократы были готовы наброситься на любого, пусть даже исповедующего принципы ненасилия человека, который оказывался у них на пути.

Эта стратегия оказалась на удивление эффективной. Всего за два-три года мы потопили почти все варианты нового глобального торгового соглашения, а институты вроде МВФ были фактически выдворены из Азии, Латинской Америки и большей части земного шара²⁸.

Эта тактика сработала, поскольку показала, что все, что людям рассказывали о глобализации, являлось ложью. Она не была каким-то естественным процессом мирной торговли, который стал возможным благодаря технологиям. То, что описывалось терминами «свободная торговля» и «свободный рынок», на самом деле влекло за собой осознанное построение первой эффективной административной бюрократической системы

планетарного масштаба²⁹. Основы этой системы были заложены в 1940-е годы, но лишь с завершением холодной войны они стали по-настоящему эффективны. В процессе эти основы – как и большинство прочих бюрократических систем, создававшихся в то же время в меньших масштабах, – вобрали в себя такое хитросплетение государственных и частных элементов, что зачастую их было невозможно разделить даже на уровне теории. Давайте представим это следующим образом: на самом верху находились торговые бюрократии, такие как МВФ, Всемирный банк, ВТО и «большая восьмерка», наряду с договорными организациями вроде НАФТА или ЕС. Они вырабатывали экономическую (и даже социальную) политику, которой следовали якобы демократические правительства глобального Юга. Чуть ниже располагались крупные мировые финансовые компании, такие как Goldman Sachs, Lehman Brothers, American Insurance Group или, если уж на то пошло, институты вроде Standard & Poors. Еще ниже находились транснациональные мегакорпорации (большая часть того, что называлось «международной торговлей», на деле состояло из перемещения материалов между различными филиалами одного гиганта). Наконец, нужно включить сюда НКО, начавшие оказывать во многих частях мира различные социальные услуги, которые прежде обеспечивало правительство, с тем результатом, что городское планирование в каком-нибудь непальском городе или политика в области здравоохранения в некоем нигерийском поселке вполне вероятно разрабатывалась в офисах, расположенных в Цюрихе или в Чикаго.

В то время мы не рассуждали об этом в таком ключе, то есть не говорили, что «свободная торговля» и «свободный рынок» на самом деле подразумевают создание мировых административных структур, главной целью которых является обеспечение прибыли инвесторов, и что «глобализация» в действительности означает бюрократизацию. Часто мы к этому приближались. Но очень редко говорили об этом вслух.

Оглядываясь назад, я думаю, что именно на это мы должны были обращать внимание. Даже акцент на изобретении новых форм демократических процессов, который лежал в основе движения – ассамблей, советов представителей и так далее, – был в первую очередь способом показать, что люди могут ладить друг с другом (и даже принимать важные решения и осуществлять сложные коллективные проекты) без необходимости заполнять бланки, обжаловать судебные решения или угрожать звонками в полицию или службу безопасности.

Глобальное движение за справедливость было, по сути, первым крупным левым антибюрократическим сообществом эпохи тотальной бюрократизации. На мой взгляд, оно преподавало важные уроки всякому, кто пытается разработать подобную критику. Позволю себе остановиться на трех из них.

1. Нельзя недооценивать роль откровенного физического насилия

Полчища военизированной полиции, которые нападали на протестующих против саммитов, не были каким-то странным побочным следствием «глобализации». Когда кто-либо начинает говорить о «свободном рынке», то неплохо бы оглянуться и посмотреть, нет ли рядом человека с ружьем. Он всегда будет неподалеку. Либерализм свободного рынка XIX века совпал с изобретением современной полиции и частных детективных агентств³⁰ и с постепенным распространением представления о том, что полиции принадлежит власть принимать решения по всем вопросам городской жизни: от регулирования деятельности уличных торговцев до уровня шума на частных вечеринках и даже до улаживания разборок между безумными субъектами или соседями по общежитию. Мы настолько привыкли к мысли о том, что всегда можем позвонить в полицию, чтобы решить любое затруднение, что многим из нас трудно даже представить, как поступали люди до того, как это стало возможным³¹. Исторически у подавляющего большинства людей, даже тех из них, кто жил в крупных городах, просто не было властей, к которым они могли обратиться в таких обстоятельствах. Или, по крайней мере, не было безличных бюрократических заступников, которые, подобно современной полиции, обладали бы полномочиями принимать произвольные решения, подкрепляемые угрозой применения силы.

Здесь, на мой взгляд, уместно упомянуть своего рода следствие Железного закона либерализма. История показывает, что политика, стимулирующая «рынок», всегда предполагала, что всем будут управлять люди в кабинетах, но еще она демонстрирует, что они также станут расширять радиус и насыщенность тех социальных отношений, которые в конечном счете регулируются посредством угрозы насилия. Это, разумеется, противоречит всему тому, что нам рассказывали о рынке, но если вы посмотрите на то, что происходит в действительности, то это правда. В определенном смысле вводит в заблуждение даже термин «следствие», потому что мы просто говорим о двух разных способах описания одного и того же явления. Бюрократизация повседневной жизни предполагает установление безличных правил и норм; безличные правила и нормы, в свою очередь, могут действовать лишь в том случае, если они подкрепляются угрозой применения силы³². Поистине, на последней стадии тотальной бюрократизации мы видим, что камеры видеонаблюдения, полицейские скутеры, мужчины и женщины в разнообразных униформах, которые работают на государство или на частные структуры и которых обучают тактике угроз, устрашения и, в конечном счете, применения физического насилия, появляются повсеместно – даже в таких местах, как детские площадки, начальные школы, университетские кампусы, больницы, библиотеки, парки или морские курорты, то есть там, где еще пятьдесят лет назад их присутствие казалось скандальным или просто странным.

Все это происходит тогда, когда социальные теоретики продолжают утверждать, что прямое применение силы играет все меньшую роль в поддержании структур социального контроля³³. Действительно, чем больше читаешь отчетов об университетских студентах, против которых применяют электрошокеры за несанкционированное использование библиотеки, или об английских профессорах, обвиненных в совершении тяжких преступлений после того, как их арестовали за переход улицы в неполюженном месте, тем больше сомнения вызывает утверждение о том, что различные виды тонкой символической власти, исследуемой английскими профессорами, действительно имеют значение. Это все больше звучит как отчаянный отказ признавать, что функционирование власти на самом деле может быть таким грубым и бесхитростным, каким мы наблюдаем его в повседневной

жизни.

В моем родном Нью-Йорке я наблюдал бесконечный рост числа банковских отделений. В мои детские годы банки в основном занимали большие, отдельно стоящие здания, как правило походившие на греческие или римские храмы. В последние тридцать лет отделения трех или четырех крупнейших банков открылись чуть ли не в каждом третьем квартале самой обеспеченной части Манхэттена. Сейчас в пределах большого Нью-Йорка их тысячи, и каждое из них пришло на смену какому-нибудь магазину, который раньше торговал различными материальными товарами и услугами. В определенном смысле эти отделения – совершенный символ нашей эпохи: магазины, продающие чистую абстракцию – безукоризненные коробки, в которых только и есть что стеклянные и стальные перегородки, мониторы компьютеров и вооруженная охрана. Они отражают идеальную точку сочленения между оружием и информацией, ведь ничего больше в них и нет. И эта комбинация стала задавать рамки почти всем остальным сторонам нашей жизни.

Когда мы задумываемся об этих вещах, мы, как правило, поступаем так, как если бы все это было следствием технологий: этот мир был создан компьютерами. Он и сам похож на компьютер. Действительно, все эти новые помещения банков поразительно напоминают уменьшенную виртуальную реальность, которую можно было увидеть в видеоиграх 1990-х годов. Мы как будто обрели, наконец, способность воплощать эту виртуальную реальность, а наша жизнь превратилась в своего рода видеоигру, пока мы пытались разобраться в новых бюрократических лабиринтах. Поскольку в ней на самом деле ничего не производится, она обретает реальное воплощение, а мы проводим свою жизнь, зарабатывая очки и прячась от людей с оружием.

Однако ощущение, будто мы живем в мире, созданном компьютерами, само является иллюзией. Сделать вывод о том, что все это было неизбежным следствием развития технологий, а не социальных и политических сил, означало бы совершить ужасную ошибку. И здесь уроки «глобализации», которая, как считалось, была, в определенном смысле, создана интернетом, тоже имеют ключевое значение.

2. Не стоит переоценивать значение технологий как причинного фактора

Как то, что стали называть «глобализацией», было на самом деле творением новых политических союзов, политических решений и новых бюрократий – физические технологии вроде контейнерных перевозок или интернета появились позже, – так и всепроникающая бюрократизация повседневной жизни, ставшая возможной благодаря компьютерам, сама по себе не является результатом развития технологий. Скорее все ровно наоборот. Технологические трансформации не являются независимой переменной. Технологии будут развиваться зачастую совершенно неожиданными и удивительными путями. Но общее направление их изменений зависит от социальных факторов.

Об этом легко забыть, ведь наш непосредственный опыт повседневной бюрократизации полностью отражается в новых информационных технологиях: Facebook, банки в смартфоне, Amazon, PayPal, бесконечные мобильные устройства, которые уменьшают мир вокруг нас до размеров карт, форм, кодов и графиков. Тем не менее сделали все это возможным как раз те ключевые договоренности, о которых я говорю в этой книге и которые в 1970-е и 1980-е годы начали оформляться в союз между финансовыми и корпоративными бюрократами, на чьей основе и возникла новая корпоративная культура с ее способностью наводнять сферы образования, науки и правительства до такой степени, что государственная и частная бюрократии в конечном итоге слились в массу бумажной волокиты, предназначенной для обеспечения прямого вымогательства. Это не продукт новых технологий. Наоборот, на появление соответствующих реалий ушли десятилетия. В 1970-е годы компьютеры еще были чем-то вроде развлечения. Банки и правительственные учреждения охотно их устанавливали, но большинство клиентов воспринимало их как само воплощение бюрократического идиотизма; когда что-нибудь шло наперекосяк, обычной реакцией было закатывание глаз и выплескивание обвинений в адрес «какого-нибудь компьютера». Сорок лет спустя, после бездонных инвестиций в исследования в сфере информационных технологий, мы достигли точки, когда компьютеры, используемые банкирами, являются самым воплощением непогрешимой, волшебной эффективности.

Взять хотя бы банкоматы. За последние тридцать лет я не могу припомнить ни одного случая, когда бы я запросил в банкомате деньги и получил не ту сумму. Я не смог найти никого, с кем бы такое произошло. Это настолько справедливо, что после президентских выборов 2000 года в США, когда общественное мнение потчевали новостями о том, что ожидаемая статистическая погрешность у машины для голосования одного типа равна 2,8 %, а у машины другого типа – 1,5 %, некоторые осмелились заметить, что в стране, считающей себя государством победившей демократии, где выборы – это главное таинство, мы миримся с тем фактом, что машины для голосования регулярно ошибаются в подсчете голосов, тогда как каждый день сотни миллионов операций в банкоматах протекают с нулевой погрешностью. Что это говорит о том, что действительно важно американцам как нации?

Финансовые технологии с тех пор проделали путь от нелепых ошибок до такой степени надежности, что теперь они могут стать хребтом нашей социальной реальности. Вам никогда не приходится задумываться о том, выдаст ли вам банкомат правильную сумму денег. Если он работает, то ошибки не будет. Это придает финансовой абстракции вид непреложного факта – «подручности», как говорил Мартин Хайдеггер; она является столь неотъемлемой частью практической инфраструктуры наших повседневных замыслов и дел, что нам никогда не доводится о ней задумываться. Тем временем физическая инфраструктура вроде дорог, эскалаторов, мостов и подземных магистралей на наших глазах приходит в негодность, а ландшафт вокруг крупных городов усеян футуристическими объектами, которые ныне покрыты грязью, источают вонь или вообще заброшены. Ничего из этого не произошло. Это вопрос национальных приоритетов: результат политических решений, перераспределяющих средства от сохранения ландшафта к научным исследованиям определенного рода. Это мир, порожденный бесконечными документами об «образах», «качестве», «лидерстве» и «инновациях». Направленность технологических изменений показывает, что они не создали нынешнюю

ситуацию, а скорее являются производной от финансовой власти.

3. Всегда помните, что в конечном счете речь идет о ценности и стоимости (или: всякий раз, когда кто-нибудь утверждает, что его главная ценность – это рациональность, он говорит это только потому, что не хочет признавать, что́ на самом деле является для него главной ценностью)

Философия «раскрытия способностей», на основе которой сложилась бóльшая часть этого нового бюрократического языка, утверждает, что мы живем в безвременном настоящем, что история ничего не значит и мы просто создаем мир вокруг нас силой воли. Это разновидность индивидуалистического фашизма. В 1970-е, когда эта философия стала популярной, определенные консервативные христианские теологи размышляли в том же ключе: электронные деньги они рассматривали как продолжение созидательной власти Господа, которая находит свое материальное воплощение благодаря одухотворенным предпринимателям. Легко заметить, что это ведет к созданию мира, в котором финансовые абстракции считаются краеугольным камнем реальности, а окружающая нас действительность зачастую выглядит словно объемная распечатка с чьего-то компьютерного экрана. На самом деле ощущение порожденного цифровыми технологиями мира, который я описываю, можно рассматривать как идеальную иллюстрацию другого социального закона (по крайней мере, мне кажется, что его можно считать законом), который гласит, что если люди, придерживающиеся самых бредовых идей, получают достаточную власть в обществе, то они, осознанно или нет, ухитрятся создать такой мир, существование в котором будет тысячами разных тонких способов усиливать впечатление, что эти идеи самоочевидны и истинны.

В странах Северной Атлантики все это стало кульминацией очень долгих усилий по трансформации массовых представлений об истоках стоимости. Большинство американцев, например, раньше было готово подписаться под наспех сформулированной версией трудовой теории стоимости. Интуитивно она имела смысл в мире, где почти все население состояло из крестьян, ремесленников или лавочников: считалось, что хорошие вещи в жизни существуют потому, что люди взяли на себя труд их изготовить; для этого им нужно было

применить свои мозги и мускулы, как правило примерно в равных пропорциях. В середине XIX века даже ведущие политики часто говорили языком, который, казалось, был напрямую заимствован у Карла Маркса. Например, Авраам Линкольн:

“Труд предшествует капиталу и не зависит от него. Капитал – это лишь плод труда, он никогда не мог бы существовать, если бы не существовал труд. Труд превосходит капитал и заслуживает намного большего уважения³⁴.”

Становление бюрократического капитализма в Позолоченный век сопровождалось сознательным стремлением новых магнатов отказаться от этого языка и распространить философию, которая в те времена считалась совершенно новой – сталелитейный магнат Эндрю Карнеги называл ее «Евангелием от богатства» – и которая гласила, что стоимость проистекала от самого капитала. Карнеги и его союзники запустили щедро финансируемую кампанию по распространению нового евангелия не только в Ротари-клубах и торговых палатах по всей стране, но и в школах, церквях и общественных организациях³⁵. Главный их довод заключался в том, что сама эффективность новых гигантских компаний, управляемых этими людьми, может создать такое материальное изобилие, которое позволит американцам осознать себя через то, что они потребляют, а не через то, что они производят. С этой точки зрения стоимость в конечном счете представляет собой производную от совершенно бюрократической структуры новых конгломератов.

Одна из идей, которую мы почерпнули в ходе участия в мероприятиях Глобального движения за справедливость, состоит в том, что политика, по сути, вращается вокруг ценностей и стоимости; но еще и в том, что те, кто создает разветвленные бюрократические системы, почти никогда не признают, в чем их ценности заключаются. Так было во времена Карнеги, так происходит и сейчас. Обычно, подобно баронам-разбойникам начала минувшего столетия, они настаивают на том, что они действуют, руководствуясь эффективностью или «рациональностью». Но на самом деле этот язык всегда оказывается осознанно расплывчатым и даже бессмысленным. Термин «рациональность» это прекрасно показывает. «Рациональный» человек – тот, кто способен устанавливать базовые логические связи и формировать небредовую картину мира. Иными словами, не сумасшедший. Те, кто утверждает, что их политика основана на рациональных принципах (и это справедливо и для левых, и для правых), уверяют, что всякий, кто с этим не согласен, безумен: трудно представить себе более высокомерную точку зрения. Или же они используют «рациональность» в качестве синонима «технической эффективности» и потому сосредотачивают внимание на том, как они делают что-то, поскольку не собираются говорить, что именно они делают. Такой подход особенно характерен для неоклассической экономики. Когда экономисты пытаются доказать, что «нерационально» голосовать на всеобщих выборах (потому что затраченное усилие перевешивает возможную выгоду для отдельного избирателя), они используют этот термин потому, что не хотят сказать: «Нерационально – по мнению тех, для кого участие в жизни общества, политические идеалы или общественное благо не являются ценностями самими по себе и кто рассматривает общественную деятельность исключительно с точки зрения собственной выгоды». Нет ни одной причины, по которой человек не мог бы рационально считать, что голосование – это наилучший способ продвижения своих политических идеалов. Однако, исходя из

представлений экономистов, всякий, кто так поступает, вполне вероятно просто, выжил из ума.

Иными словами, рассуждения на тему рациональной эффективности становятся способом избежать разговоров о том, что вообще такое эффективность; то есть в чем заключаются окончательные иррациональные устремления, удовлетворение которых считается конечной целью человеческого поведения. Это еще одно место, где рынки и бюрократии говорят на одном языке. И те и другие утверждают, что действуют во имя индивидуальной свободы и индивидуальной самореализации через потребление. В XIX веке даже сторонники старого прусского бюрократического государства вроде Гегеля или Гёте настаивали на том, что его авторитарные действия можно было оправдать тем, что они позволяли гражданам быть совершенно спокойными за свою собственность, а значит, иметь свободу делать в своих домах все, что им заблагорассудится: заниматься искусством, религией, упражняться в прозе или философствовать или же просто самим решать, какое пиво пить, какую музыку слушать и какую одежду носить. Когда в США зародился бюрократический капитализм, он тоже искал себе оправдания в потребительских терминах: можно объяснить требования к рабочим отказаться от всякого контроля над условиями труда, если им обеспечивается более широкий ассортимент дешевых товаров, которыми они могут пользоваться дома³⁶. Всегда считалось, что есть тесная взаимосвязь между безличной организацией, функционирующей по строгим правилам – будь то в государственной сфере или в области производства, – и полной свободой самовыражения в клубах, кафе, на кухнях или семейных пикниках (изначально эта свобода распространялась, разумеется, на мужчин – глав семейств; с течением времени она стала достоянием каждого, по крайней мере, в теории).

Самым значимым наследием господства бюрократических форм организации в последние двести лет является то, что оно создало впечатление, будто это интуитивное разделение между рациональными, техническими средствами и иррациональными целями, для достижения которых они, само собой разумеется, применяются. Это работает на национальном уровне, где государственные служащие гордятся тем, что могут найти самые эффективные средства для воплощения любых идей, что взбредают в голову правителям их страны: они могут заключаться в развитии культуры, имперских завоеваниях, построении подлинно эгалитарного общественного порядка или буквального применения библейских заветов. Это работает и на индивидуальном уровне, где все мы считаем очевидным, что люди отправляются на рынок, чтобы просто рассчитать самый эффективный способ собственного обогащения; но, когда они получают деньги, ничего не говорится о том, что они могут решить с ними сделать: купить особняк или гоночную машину, начать собственное расследование похищений людей инопланетянами или же просто потратить их на своих детей. Все это кажется настолько очевидным, что нам трудно вспомнить, что в подавляющем числе когда-либо существовавших человеческих обществ такое разделение просто не имело смысла. В большинстве стран и эпох то, как человек делает что-либо, считается окончательным выражением того, чем он является³⁷. Однако кажется, будто в тот момент, когда мир разделяют таким образом на две сферы (на область исключительно технической компетенции и на обособленную область сущностных ценностей), каждая из них неизбежно вторгается в другую. Кто-то заявит, что рациональность или даже эффективность сами по себе являются ценностями и даже сущностными ценностями и что мы обязаны каким-то образом создать «рациональное» общество (что бы это ни значило).

Другие станут утверждать, что жизнь должна быть подобна искусству или религии. Но все такие движения исходят из того самого разделения, которое они стремятся преодолеть.

При масштабном рассмотрении не имеет особого значения, пытается ли кто-то реорганизовать мир на основе бюрократической эффективности или рыночной рациональности: фундаментальные принципы у них одни и те же. Это помогает объяснить, почему переход от первой ко второй осуществляется так просто, как это было в случае бывших советских чиновников, которые бодро переключились от полного государственного контроля над экономикой на тотальную маркетизацию – и заодно, в полном соответствии с Железным законом, сумели резко увеличить общее число бюрократов в стране³⁸. Или объяснить, как эти два явления могут слиться в практически единое целое, как происходит в нынешнюю эпоху всеобщей бюрократизации.

Для всякого, кто когда-либо был беженцем или кому приходилось заполнять сорокастраничное заявление, чтобы устроить дочь в лондонскую музыкальную школу, мысль о том, что бюрократия имеет что-то общее с рациональностью и уж тем более с эффективностью, возможно покажется странной. Но именно так она выглядит, если смотреть на нее сверху. На самом деле внутри самой системы алгоритмы и математические формулы, через призму которых она смотрит на мир, становятся не просто мерами стоимости, но и источниками стоимости сами по себе³⁹. В конце концов, бюрократы во многом занимаются оценкой вещей. Они постоянно аттестуют, проверяют, измеряют, взвешивают относительные достоинства различных планов, предложений, заявлений, программ действий или кандидатов на повышение. Рыночные реформы лишь усиливают данную тенденцию, и происходит это на всех уровнях. Бедным приходится испытывать все это на своей шкуре, потому что их постоянно контролирует бесцеремонная армия педантов и моралистов, которые оценивают их способности к воспитанию детей, инспектируют их кухни, чтобы установить, действительно ли они живут вместе со своими партнерами, определяют, достаточно ли усердно они пытались найти работу или достаточно ли плохо их физическое состояние, чтобы признать их негодными к занятию трудом. Все богатые страны сегодня держат легионы чиновников, чья главная задача заключается в том, чтобы заставлять бедных чувствовать себя неполноценными. Но культура оценивания еще больше распространена в мире профессионалов, где бал правят диплом и культура проверок и где ничто не считается реальным до тех пор, пока это не измерят количественно, не сведут в таблицу, не введут в какой-нибудь интерфейс или не включат в квартальный отчет. Этот мир не просто представляет собой продукт финансиализации, а является ее продолжением. Ведь что такое мир секьюритизированных деривативов, обеспеченных долговых обязательств и прочих экзотических финансовых инструментов, если не апофеоз принципа, гласящего, что стоимость – это конечный продукт бумажной волокиты и верхушка горы оценочных формуляров, которая начинается с неприятного социального работника, определяющего, достаточно ли вы бедны, чтобы получить разрешение на скидку при покупке лекарства для ребенка, и заканчивается людьми в костюмах, занимающимися приемом ставок на то, как скоро вы прекратите выплачивать ипотечный кредит.

Критика бюрократии, адекватная нынешней эпохе, должна показать, как все эти нити – финансиализация, насилие, технологии, слияние государственного и частного – сплетаются в единую, самоподдерживающуюся сеть. Процесс финансиализации подразумевал, что увеличивающаяся доля корпоративных доходов обретает форму извлечения прибыли в том или ином виде. Поскольку он мало чем отличается от узаконенного вымогательства, ему сопутствует все возрастающее нагромождение правил и предписаний и все более утонченных, повсеместно проявляющихся угроз применения насилия для того, чтобы обеспечить их соблюдение. Действительно, они настолько вездесущи, что мы уже не осознаем, что нам угрожают, потому что не в состоянии представить, как может быть иначе. В то же время часть доходов от извлечения прибыли передается избранным группам профессионалов или пускается на создание новых кадров корпоративных бюрократов, выполняющих бумажную работу. Это способствует феномену, который я описывал в другой работе: наблюдающемуся в последние десятилетия постоянному росту искусственных, бессмысленных, «бестолковых» профессий вроде координаторов стратегического мышления, консультантов по кадровым ресурсам, юристов-аналитиков и многих других, хотя в глубине души даже люди, сами занимающие такие должности, порой убеждены, что они никак не содействуют развитию компании. В результате такая работа оказывается лишь продолжением базовой логики классовой перестройки, которая началась в 1970–1980-е годы и суть которой выражается в том, что корпоративная бюрократия становится продолжением финансовой системы.

Время от времени вы натываетесь на конкретный пример, расставляющий все по местам. В сентябре 2013 года я посетил чайную фабрику под Марселем, которую в тот момент оккупировали ее рабочие. Их противостояние с местной полицией тянулось уже больше года. Что привело к такой ситуации? Мужчина средних лет, показавший мне фабрику, объяснил, что, хотя формально проблема заключалась в решении о переносе производства в Польшу, где рабочая сила стоит дешевле, главный вопрос состоял в том, как распределять доходы. Самые пожилые и опытные из более чем сотни сотрудников годами экспериментировали, повышая эффективность гигантских машин для упаковки чайных пакетиков. Производительность выросла, а с ней выросли и доходы. Но на что собственники пустили эти деньги? Может, в награду они подняли рабочим зарплату? В прежнюю кейнсианскую эпоху 1950–1960-х годов почти наверняка так бы и произошло. Но не теперь. Может, они наняли больше рабочих и расширили производство? Опять нет. Они взяли в штат менеджеров среднего звена.

Как мне объяснил рабочий, долгие годы на фабрике было только два управляющих: босс и кадровик. Когда прибыль начала увеличиваться, стало появляться все больше людей в костюмах, пока их количество не доросло почти до дюжины. У всех них были мудреные специальности, но дела для них не нашлось, поэтому они в основном слонялись по территории и разглядывали рабочих, вырабатывая критерии для их оценки и составляя планы и отчеты. Потом им пришла в голову мысль перевести производство за рубеж – прежде всего, как мне сказал рабочий, потому, что эта идея была возможностью оправдать задним числом их существование, хотя управленцев, составивших план, можно было бы перевести на более перспективное предприятие. Вскоре рабочие захватили здание, и по его периметру выстроились толпы полицейских из отдела по борьбе с беспорядками.

Иными словами, бюрократии остро не хватает левой критики. Если быть точным, эта книга не представляет собой ее набросок и ни в коей мере не является попыткой разработать общую теорию бюрократии, написать историю бюрократии или даже историю нынешней эпохи тотальной бюрократии. Это сборник эссе, каждое из которых показывает, в каких направлениях левая критика бюрократии может развиваться. В первом речь пойдет о насилии, во втором – о технологиях, в третьем – о рациональности и стоимости.

Главы не образуют единого целого. Наверное, можно сказать, что они посвящены одной теме, но скорее представляют собой попытку начать разговор, который уже давно назрел.

Перед всеми нами стоит проблема. Бюрократические приемы, привычки и мировоззрение поглощают нас. Наша жизнь стала строиться вокруг заполнения бланков. При этом язык, на котором мы должны говорить об этих вещах, не просто не годится для этих целей – вполне вероятно, что он был создан для того, чтобы усугубить трудности. Мы обязаны найти средства, чтобы заявить о том, против чего именно в этом процессе мы возражаем, чтобы честно обсуждать насилие, с которым он сопряжен, но в то же время чтобы понять, что в нем есть привлекательного, что его поддерживает, какие элементы несут в себе возможности для освобождения и создания подлинно свободного общества, какие из них следует считать неизбежной ценой за жизнь в любом сложно устроенном обществе, а какие можно и нужно полностью уничтожить. Если эта книга хоть сколько-нибудь послужит толчком к такому обсуждению, она внесет важный вклад в современную политическую жизнь.

ГЛАВА I. Мертвые зоны воображения. Очерк о структурной глупости

Позвольте начать с одной истории о бюрократии.

В 2006 году у моей мамы случилась череда инсультов. Вскоре стало ясно, что она не сможет жить дома без посторонней помощи. Поскольку ее страховка не включала домашний уход, несколько социальных работников посоветовали нам подать заявление на получение бесплатной медицинской помощи. Но для этого стоимость ее совокупного имущества не должна была превышать сумму в шесть тысяч долларов. Мы сумели перевести ее сбережения (подозреваю, что с чисто технической точки зрения это была мошенническая операция, хотя и весьма специфическая, потому что правительство нанимает тысячи социальных работников, главная обязанность которых, похоже, заключается в том, чтобы рассказывать гражданам, как совершать это мошенничество), но вскоре после у нее случился еще один, очень тяжелый инсульт, и ее отвезли в санаторий для долгосрочной реабилитации. Когда она поправилась, ей был необходим домашний уход, но существовала одна проблема: ее пенсионное пособие выплачивалось непосредственно ей, а она едва могла поставить подпись, поэтому до тех пор, пока у меня не было доверенности на распоряжение ее счетом и я не мог оплачивать ее ежемесячные счета, деньги накапливались, и она могла лишиться права на получение бесплатной медицинской помощи, даже несмотря на то, что я заполнил уйму документов для того, чтобы поставить ее в очередь.

Я пошел в ее банк, взял соответствующие бланки и отнес их в санаторий. Документы нужно было заверить у нотариуса. Медсестра на этаже сообщила, что в санатории есть нотариус, но к ней нужно записаться; она взяла телефон и связала меня с человеком с бездушным голосом, который перевел меня к нотариусу. Нотариус сказала, что сначала я должен получить разрешение от главы социальной службы, и повесила трубку. Я записал его имя и номер кабинета, спустился на лифте на другой этаж и пошел к нему – лишь для того чтобы обнаружить, что главой социальной службы и был тот самый обладатель бездушного голоса, направивший меня к нотариусу. Глава социальной службы взял трубку, сказал: «Марджори, это был я, вы заморочили голову этому человеку, да и мне тоже» – и, сделав виноватый жест, записал меня на прием в начале следующей недели.

На следующей неделе нотариус явилась в назначенное время, проводила меня наверх, убедилась, что я заполнил свою часть бланка (об этом мне напомнили несколько раз), и затем, в присутствии моей матери, стала заполнять свою. Я был немного озадачен тем, что

она попросила что-то подписать только меня, но не мою маму, но решил, что она знает, что делает. На следующий день я отнес этот документ в банк, где женщина в окошке бросила на него взгляд, спросила, почему моя мама его не подписала, и показала его своему менеджеру, который сказал мне, что я должен его забрать и сделать все по форме. Оказалось, что на самом деле нотариус понятия не имела об этой процедуре. Так что я взял новый набор бланков, тщательно заполнил свою часть каждого из них и снова записался на прием. В назначенный день нотариус появилась и после нескольких неуклюжих реплик о том, как трудно иметь дело с этими банками (почему каждому банку обязательно нужно иметь собственную форму доверенности, полностью отличающуюся от других?), отвела меня наверх. Я подписал, моя мама подписала – с трудом, в тот момент ей было тяжело даже держаться в кресле, – и на следующий день я вернулся в банк. Другая женщина в другом окошке просмотрела бланки и спросила, почему я расписался в строке, где должно быть указано мое имя и поставил имя на той строке, где должна была стоять моя подпись.

“ – Разве? Вообще я сделал ровно то, что мне сказала нотариус.

– Но тут же ясно написано «подпись».

– А, ну да. Наверное, она ошиблась. В очередной раз. Ну... вся информация указана, так ведь? Только эти строчки перепутаны. Разве это проблема? Дело довольно срочное, и мне бы не хотелось ждать нового приема.

– Вообще, обычно мы не принимаем эти бланки, если не присутствуют все подписавшие их лица.

– У моей мамы был инсульт. Она прикована к постели. Именно поэтому мне в первую очередь нужна доверенность.

Она сказала, что посоветуется с менеджером, и вернулась через десять минут. Менеджер, которого я прекрасно слышал, заявил, что банк не может принять бланки в таком виде и, к тому же, даже если бы они были заполнены правильно, мне все равно нужно письмо от врача моей мамы с подтверждением, что она вменяема и способна подписывать такие документы.

Я заметил, что раньше мне никто не говорил о таком письме.

– Что? – резко рявкнул менеджер. – Кто дал вам эти бланки и не сказал о письме?

Поскольку виновником был один из самых отзывчивых сотрудников банка, я уклонился от ответа⁴⁰, заметив, что на сберегательной книжке было вполне четко напечатано: «Доверительное управление поручается Дэвиду Греберу». Он, разумеется, возразил, что это относилось бы к делу, только если бы доверителя не было в живых.

Вскоре эта проблема решилась сама собой: моя мама умерла всего несколько недель спустя.

Тогда этот опыт привел меня в полное замешательство. До этого я вел богемный образ жизни исследователя и не сталкивался с подобными вещами. Я стал спрашивать своих друзей: неужели обычная жизнь значительного количества людей проходит в каждой-дневной бесцельной беготне с ощущением того, что ты идиот? И они попадают в ситуации, в которых действительно начинают поступать по-идиотски? Большинство из них склонялось к тому, что именно так это и выглядит. Разумеется, некомпетентность нотариуса выходила за рамки. Тем не менее вскоре мне пришлось провести целый месяц, разбираясь с многочисленными последствиями действий какого-то анонимного чиновника из нью-йоркской службы регистрации транспортных средств, который записал мое имя как «Дэйд», не говоря уже о служащем компании Verizon, написавшем мою фамилию как «Грюбер». Частная и государственная бюрократия – неважно, по каким историческим причинам, – организованы таким образом, чтобы значительная часть служащих была не способна решать стоящие перед ними задачи так, как требуется. Именно это я имел в виду, когда говорил, что можно с уверенностью сказать, что бюрократии представляют собой утопические формы организации. В конце концов, разве не это мы всегда говорим об утопистах: они наивно верят, что человеческую природу можно усовершенствовать, и отказываются иметь дело с настоящими людьми. Что именно, о чем нам не рассказывают, заставляет их устанавливать нереальные стандарты и затем обвинять людей в том, что они им не соответствуют?⁴¹ Но все бюрократии действуют так: сначала они выдвигают разумные, на их взгляд, требования, а потом, обнаружив, что они не разумны (потому что значительное число людей оказываются не способны выполнять то, чего от них ждут), заключают, что проблема состоит не в самих требованиях, а в несовершенстве каждого конкретного человека, которому не удается им соответствовать.

Возможно, на чисто личном уровне самым неприятным было то, что заполнение этих бланков меня по-своему оупляло. Как я мог не заметить, что поставил свою фамилию на строчке, где было указано «подпись»? Это было написано прямо там! Я предпочитаю считать, что в целом я не такой уж тупой. Отчасти карьеру я сделал, убеждая других, что я умный. И тем не менее я совершал откровенно глупые вещи, причем не потому, что был невнимателен: на самом деле, я потратил немало умственной и эмоциональной энергии, чтобы решить этот вопрос. Проблема, как я понял, заключалась не в потраченной энергии, а в том, что большая ее часть ушла на постоянные попытки повлиять на любого человека, который обладал надо мной хоть какой-то бюрократической властью, когда на деле все, что от меня требовалось, это правильно понять пару латинских слов и четко выполнить кое-какие чисто механические действия. Потратив так много времени на заботу о том, чтобы не создать впечатление, будто я пытаюсь уязвить нотариуса ее некомпетентностью, или на размышления о том, как вызвать сочувствие у разных банковских служащих, я стал хуже замечать, когда они говорили мне разные глупости. Это была явно ошибочная стратегия, поскольку люди, с которыми я общался, не относились к числу тех, кто обладал властью менять правила; более того, если бы я встретил кого-нибудь, у кого была такая власть, он все равно прямо или косвенно дал бы мне понять, что если бы я начал жаловаться, пусть даже на чисто структурный абсурд, единственным результатом стало бы то, что я создал бы проблемы какому-нибудь сотруднику низшего звена.

Поскольку я антрополог, мне показалось все это на удивление знакомым. Мы, антропологи, сделали своей изюминкой изучение ритуалов, которыми сопровождаются рождение, брак,

смерть и тому подобные обряды перехода. Особенно нас занимают социально эффективные ритуальные жесты, когда само произнесение или совершение чего-либо делает это социальным фактом (вспомните фразы вроде «Извините», «Сдаюсь» или «Я объявляю вас мужем и женой»). Поскольку люди – социальные существа, рождение и смерть никогда не бывают просто биологическими событиями. Обычно требуется провести масштабную работу, чтобы превратить новорожденного младенца в человека, то есть в кого-то, у кого есть имя, социальные отношения (мать, отец) и дом, перед кем у других есть обязанности и кто сам однажды тоже будет нести обязанности перед другими. Обычно большая часть этой работы осуществляется посредством ритуалов. Как заметили антропологи, такие ритуалы иногда сильно различаются по форме и содержанию: они могут включать в себя крещение; миропомазание; окуривание; первую стрижку волос; изоляцию; провозглашение; изготовление, демонстрацию, сжигание и погребение ритуальных атрибутов; заклинания. Со смертью дело обстоит еще сложнее, потому что те социальные отношения, которые человек создал в течение жизни, нужно постепенно разорвать, перестроить. Иногда на это уходят годы и требуется провести повторяющиеся погребения (и даже перезахоронения), сжигание, отбеливание и перегруппировку костей, пиры и церемонии до того, как человек окончательно исчезнет. В большинстве ныне существующих обществ эти действия могут выполняться или нет, но именно бумажная волокита больше, чем любые другие формы ритуалов, является социально эффективной в том смысле, что она действительно осуществляет изменение. Например, моя мама хотела, чтобы ее кремировали без церемонии; тем не менее мое главное воспоминание о погребальной конторе – это полный, доброжелательный клерк, ознакомивший меня с четырнадцатистраничным документом, который он должен был заполнить, чтобы получить свидетельство о смерти, написанное шариковой ручкой на бумаге с копиркой так, чтобы получилось три экземпляра. «Сколько часов в день у вас уходит на заполнение таких формуляров?» – спросил я. «Я только этим и занимаюсь», – вздохнул он, придерживая руку, забинтованную из-за начинающегося туннельного синдрома. Он должен был это делать. Без этих формуляров ни моя мама, ни любой другой человек, кремированный в этом учреждении, не мог считаться юридически (а значит, и социально) умершим.

«Тогда почему, – думал я, – нет толстых этнографических трудов по американским или британским обрядам перехода с длинными главами, посвященными формулярам и бумажной волоките?»

Ответ очевиден. Бумажная волокита – скучное дело. Можно описывать сопровождающий ее ритуал. Можно наблюдать, как люди говорят или реагируют на нее. Но когда дело доходит до самой бумажной волокиты, то о ней можно сказать мало интересного. Как составлен формуляр? А как насчет цветовой схемы? Почему они решили запрашивать одни сведения, а не другие? Почему место рождения, а не, скажем, место, где вы ходили в начальную школу? Что такого важного в подписи? Но на этом даже у самого изобретательного специалиста вопросы заканчиваются.

На самом деле можно пойти дальше. Бумажная волокита предназначена быть скучной. И с течением времени становится все скучнее. Средневековые хартии, украшенные каллиграфией и геральдическими знаками, нередко были довольно красивыми. Даже в XIX веке это отчасти сохранялось: у меня есть копия свидетельства о рождении моего деда

(документ выдали в Спрингфилде, штат Иллинойс, в 1858 году): оно было разноцветным, с готическими буквами, завитками и херувимчиками, а также целиком написано по-немецки. Свидетельство о рождении моего отца, оформленное в Лоуренсе, штат Канзас, в 1914 году, напротив, было одноцветным и безо всяких украшений – одни строки и квадраты, хотя их и заполнили красивым почерком. В моем собственном свидетельстве о рождении, выданном в Нью-Йорке, в 1961 году, нет и этого: оно напечатано на машинке, проштамповано и лишено всякой индивидуальности. Но, разумеется, компьютерные образцы, используемые сегодня во множестве формуляров, еще скучнее. Создатели этих документов как будто пытались постепенно убрать из них любую мало-мальски глубокую или отдаленно символическую деталь.

Неудивительно, что все это может привести антрополога в отчаяние. Антропологи занимаются глубокими феноменами. Инструменты интерпретации, которыми мы располагаем, лучше подходят для того, чтобы исследовать сложные сети значений и смыслов – мы пытаемся понять запутанный символизм ритуалов, социальные драмы, поэтические формы или системы родства. Все эти явления объединяет тот факт, что они, с одной стороны, бесконечно разнообразны, а с другой – не ограничены во времени. Если бы кто-то решил выявить все значения, мотивы или ассоциации, заключенные в одном-единственном румынском ритуале сбора урожая, в обвинении в ведовстве у занде или в мексиканской семейной саге, то он мог бы легко потратить на это всю жизнь – а то и несколько жизней, если бы он собрался еще и проследить всю палитру взаимосвязей с другими элементами в более широких социальных или символических областях, которые такая работа всегда открывает. Бумажная волокита, напротив, разработана так, чтобы быть максимально простой и сдержанной. Даже когда формуляры сложны или умопомрачительно сложны, их замысловатость складывается из наслоений очень простых, но внешне противоречивых элементов, наподобие лабиринта, составленного из бесконечного наложения двух или трех простейших геометрических мотивов. И, как и лабиринт, бумажная волокита не открывает ничего другого, выходящего за ее рамки. В результате интерпретировать особо нечего. Клиффорд Гирц прославился своим «толстым описанием» петушиных боев на острове Бали, в котором он пытался показать, что если бы кто-то был способен раскрыть все, что происходит в одной конкретной схватке, он смог бы понять все балийское общество: в этой борьбе заключены представления о личности, обществе, иерархии, природе, всех ключевых страстях и дилеммах человеческого существования. Это просто невозможно проделать на основе заявления на выдачу ипотеки вне зависимости от того, насколько этот документ подробный; и даже если бы какая-нибудь мятежная душа взялась писать такой анализ – просто чтобы доказать, что это реально, – еще труднее представить, что кто-нибудь стал бы это читать.

На это могут возразить: но разве великие писатели не создали убедительную литературу о бюрократии? Конечно, это так. Но они сумели ее создать, сосредоточившись на самой заикленности и пустоте бюрократии – не говоря уже о ее идиотизме – и написав произведения, облеченные в такую же запутанную, бессмысленную форму. Именно поэтому почти все великие литературные творения на эту тему обретают оболочку комедии ужасов.

«Процесс» Франца Кафки, конечно, является парадигмой (как и «Замок»), но не составит труда назвать и другие шедевры, от «Дневника, найденного в ванне» Станислава Лема, который очень напоминает воззрения Кафки, до «Дворца сновидений» Исмаила Кадаре, «Книги имен» Жозе Сарاماго и любых книг, о которых можно сказать, что они были сотворены бюрократическим духом, как большинство произведений Итало Кальвино или Борхеса. Романы Джозефа Хеллера «Уловка-22» о военной бюрократии и «Что-то случилось» о бюрократии корпоративной считаются современными шедеврами этого жанра, как и незаконченный роман Дэвида Фостера Уоллеса «Бледный король», представляющий собой размышление о природе скуки в стенах кабинета Службы внутренних доходов США на Среднем Западе. Интересно, что все эти художественные произведения не только подчеркивают комическую бессмысленность бюрократической жизни, но и примешивают к ней оттенок насилия. У одних авторов (например, у Кафки и Хеллера) он более очевиден, чем у других, но почти всегда он лежит чуть ли не на поверхности. Более того, современные истории, непосредственно посвященные насилию, также зачастую превращаются в сказания о бюрократии, поскольку в конечном счете большинство проявлений крайнего насилия имеют место в бюрократической среде (в армии, тюрьмах) или же они практически сразу обрастают бюрократическими процедурами (преступления).

К тому же великие писатели знают, что делать с вакуумом. Они его используют. Они смотрят в пропасть, пока пропасть не начинает смотреть на них. Социальная теория, напротив, вакуума не выносит – по крайней мере, это так, если ее подход к бюрократии хоть на что-то годится. Глупость и насилие – как раз те элементы, о которых она склонна говорить менее всего⁴².

Недостаточность критической работы тем более бросается в глаза потому, что, на первый взгляд, ученые как раз и находятся в том положении, чтобы говорить об абсурдности бюрократической жизни. Конечно, отчасти это так потому, что они сами все больше становятся бюрократами. «Административные обязанности»: посещение заседаний комитетов, заполнение документов, чтение и составление сопроводительных писем, удовлетворение прихотей мелких начальников – отнимают у них все больше времени. Но ученые еще и бюрократы поневоле – в том смысле, что даже когда так называемое администрирование начинает составлять основную часть работы профессоров, к нему всегда относятся как к чему-то навязанному, а не к тому, в чем они на самом деле специализируются, и не к тому, что их по-настоящему характеризует⁴³. Они – исследователи, люди, которые изучают, анализируют и интерпретируют разные вещи, даже несмотря на то, что все они скорее становятся пытливыми душами, заточенными в бюрократическом теле. Вы можете подумать, что ответом ученых станет изучение, анализ и интерпретация самого этого феномена: как так получается, что мы тратим все больше и больше времени на бумажную волокиту? В чем вообще ее смысл? Какая социальная динамика скрывается за ней? И все же по какой-то причине этого никогда не происходит⁴⁴.

Я убедился на своем опыте: когда ученые собираются вокруг кулера с водой (или преподавательского эквивалента кулера с водой, в роли которого обычно выступает кофемашина), они редко говорят о своей «реальной» работе и преимущественно жалуются на административные обязанности. Но в те редкие мгновения, когда им позволено размышлять о более глубоких материях, эти обязанности, похоже, являются последним, о

чем им хочется думать.

Но я подозреваю, что здесь кроется нечто еще более глубокое – что-то, что отражает саму природу университетов и причины, почему они существуют.

Рассмотрим в качестве примера необычайное влияние, которое в послевоенный период обрели в американских социальных науках два европейских теоретика: это немецкий социолог Макс Вебер в 1950-е и 1960-е годы, а затем французский историк и социальный философ Мишель Фуко. Оба добились в Соединенных Штатах своего рода интеллектуальной гегемонии, которой им так и не удалось достичь у себя на родине. Что сделало их столь привлекательными для американских ученых? Бесспорно, их популярность во многом обусловлена той легкостью, с которой каждого из них можно провозгласить эдаким анти-Марксом, а их теории (как правило, в чрезвычайно упрощенной форме) представить как доводы в пользу того, что власть – это не только и не столько вопрос контроля над производством, сколько всепроникающая, многогранная и неминуемая черта жизни любого общества.

Но, на мой взгляд, их привлекательность во многом была обусловлена еще и их отношением к бюрократии. Действительно, иногда кажется, что в истории XX века они были двумя единственными умными людьми, которые верили, что власть бюрократии зиждется на ее эффективности. То есть что бюрократия реально работает. Вебер рассматривал бюрократические формы организации как само воплощение Разума в человеческих делах: они настолько превосходили любую альтернативную форму организации, что грозили поглотить все и заточить человечество в безрадостную «железную клетку», лишенную духа и харизмы. Фуко был большим бунтарем, но в том смысле, что приписывал бюрократической власти больше, а не меньше эффективности. В его трудах о сумасшедших домах, больницах и тюрьмах абсолютно все аспекты человеческой жизни – здоровье, сексуальность, работа, нравственность и даже представления об истине – сами по себе превращались в ничто и существовали лишь как простые производные от той или иной формы профессионального или административного дискурса. Используя такие понятия, как «управленчество» и «биовласть», он утверждал, что государственная бюрократия намного глубже определила параметры человеческого существования, чем Вебер мог себе представить. По Фуко, все виды знания становились видами власти, определяющими наш разум и тело посредством, прежде всего, административных инструментов.

Трудно избавиться от подозрения, что своей популярностью Вебер и Фуко во многом обязаны тому факту, что в этот период американская университетская система все больше сосредотачивалась на подготовке чиновников для имперского административного аппарата, функционирующего в глобальном масштабе. Сразу после Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты начали выстраивать свой мировой управленческий аппарат, об этом зачастую говорилось напрямую. Социологи вроде Толкотта Парсонса и Эдварда Шилза⁴⁵ были тесно связаны с истеблишментом холодной войны в Гарварде, и упрощенная версия Вебера, которую они создали, очень скоро была упрощена еще больше и принята чиновниками Государственного департамента и Всемирного банка в качестве «теории развития»: ее стали активно распространять как альтернативу марксистскому историческому материализму в странах глобального Юга, за которые шла борьба. В это же

время даже такие антропологи, как Маргарет Мид, Рут Бенедикт и Клиффорд Гирц, тесно и без зазрения совести сотрудничали с аппаратом военной разведки и даже с ЦРУ46. Все это изменилось, когда началась война во Вьетнаме. О такого рода соучастии стало известно в ходе университетских выступлений против войны, и Парсонс, а вместе с ним и Вебер, стал рассматриваться как само воплощение того, что радикалы отвергали.

Когда Вебера свергли с пьедестала, было неясно, кто придет ему на смену. Какое-то время большой интерес вызывал немецкий марксизм: Адорно, Беньямин, Маркузе, Лукач, Фромм. Но затем внимание переключилось на Францию, где восстание мая 1968 года привело к расцвету чрезвычайно креативной социальной теории – во Франции это называли просто «мышлением 68-го года», – которая была одновременно радикальной по темпераменту и враждебной почти всем традиционным проявлениям политики левых, от организации профсоюзов до бунтов47. В моду входили то одни, то другие теоретики, но в течение 1980-х годов Фуко сумел обеспечить себе такое положение, которое не удавалось занять никому – даже Веберу – ни до, ни после. Или, по крайней мере, он занял такое положение в тех дисциплинах, которые так или иначе считались оппозиционными. В конце концов, наверное, было бы правильнее говорить о возникновении некоего разделения исследовательского труда в рамках американской системы высшего образования: оптимистическую сторону занял переименованный Вебер (в еще более упрощенной форме), чьи идеи под вывеской «теории рационального выбора» использовали для подготовки бюрократов, а пессимистическую сторону отдали на откуп последователям Фуко. Последний, в свою очередь, господствовал именно в тех областях, в которых оказались бывшие университетские радикалы и те, кто ассоциировал себя с ними. Эти области были практически полностью лишены всякого доступа к политической власти и оказывали все меньше влияния на социальные движения – эта отстраненность придала пестуемой Фуко связке «власть/знание» (предположение, что формы знания также являются формами социальной власти, более того, самыми важными ее формами) особую привлекательность.

Безусловно, любой такой карманный исторический обзор будет носить несколько карикатурный и нечестный характер. Тем не менее я уверен, что зерно истины в нем есть. Дело не только в том, что ученые занимаются глубокими темами, где их навыки интерпретации оказываются наиболее востребованными, но еще и в том, что мы все больше склонны смешивать то, что интересно, с тем, что важно, и считать, что глубокие места – это еще и места сосредоточения власти. Власть бюрократии показывает лишь то, насколько часто происходит обратное.

Но в этом очерке говорится не только и не столько о бюрократии. Он посвящен в первую очередь насилию. Я хочу показать, что ситуации, созданные насилием – особенно структурным насилием, под которым я понимаю формы всепроникающего социального неравенства, в конечном счете, подкрепляемого угрозой нанесения физического вреда, – неизбежно порождают умышленную слепоту, которую мы обычно ассоциируем с бюрократическими процедурами. Грубо говоря, проблема не в том, что бюрократические процедуры сами по себе полны идиотизма, и даже не в том, что они порождают такое поведение, которое сами же определяют как глупое – хотя именно это они и делают, – а в том, что они представляют собой способы управления социальными условиями, которые уже глупы, поскольку основаны на структурном насилии. Этот подход, на мой взгляд, способен

рассказать нам многое и о том, как бюрократия проникла во все сферы нашей жизни, и о том, почему мы этого не замечаем.

Я признаю, что этот акцент на насилии может показаться странным. Мы не привыкли видеть институты, построенные на насилии, в санаториях, банках или даже в страховых медицинских организациях – разве что в самом абстрактном и метафорическом смысле. Но насилие, которое я имею в виду, не абстрактно. Я не говорю о концептуальном насилии. Я говорю о насилии в буквальном смысле: таком, когда, скажем, один человек бьет другого по голове деревянной палкой. Все эти институты задействованы в распределении ресурсов в рамках системы прав собственности, которая регулируется и гарантируется правительством через систему, покоящуюся, в конечном счете, на угрозе применения силы. «Сила», в свою очередь, это лишь эвфемизм, обозначающий насилие, то есть способность позвать людей в униформе, готовых угрожать другим тем, что они будут бить их по голове деревянными палками.

Любопытно, насколько редко люди, живущие в промышленных демократиях, размышляют над этим фактом или как мы инстинктивно пытаемся принизить его значение. Именно поэтому, например, студенты могут просиживать целыми днями в университетских библиотеках, изучая теоретические трактаты, написанные под влиянием Фуко и посвященные снижающей роли принуждения как фактора современной жизни, и при этом даже не задумываясь о том, что если бы они стали настаивать на своем праве войти в библиотеку, не показывая действующее удостоверение с печатью, то вскоре были бы вызваны вооруженные люди, чтобы удалить их физически, с применением любой необходимой силы. Кажется, что чем больше мы позволяем устанавливать бюрократический контроль над разными сторонами нашего существования, тем больше всякий, кого это касается, проявляет склонность недооценивать тот факт (совершенно очевидный тем, кто управляет системой), что все в ней, в конечном счете, зависит от угрозы нанесения физического вреда.

Действительно, само использование термина «структурное насилие» наглядно это подтверждает. Когда я только начинал работать над этим очерком, я считал само собой разумеющимся, что данный термин обозначает фактическое насилие, которое действует в косвенной форме. Представьте, если хотите, какое-нибудь воинственное племя (назовем его альфа), которое внезапно появляется из пустыни и захватывает часть земли, где обитают мирные крестьяне (назовем их омега). Вместо того чтобы требовать дань, они завладевают всей плодородной землей, добиваются для своих детей привилегированного доступа к большинству видов практического образования, в то же время создают религиозную идеологию, согласно которой они – высшие существа, более утонченные, красивые и умные, а омега, принужденные работать на их поместьях, были прокляты божественными силами за какой-нибудь ужасный грех и стали глупыми, уродливыми и подлыми. Возможно, омега смиряются со своим бесчестьем и начнут действовать так, будто они действительно верят, что в чем-то виноваты. Вероятно, в каком-то смысле они и правда в это верят. Но в принципе, вопрос о том, верят они в это или нет, не так уж важен. Вся эта структура –

результат насилия и может поддерживаться только за счет постоянной угрозы его применения, то есть за счет того факта, что омега прекрасно понимают, что в ответ на любой прямой вызов системе собственности или системе доступа к образованию будут обнажены мечи и головы почти наверняка полетят с плеч. В таких случаях то, что мы выражаем в категориях «верований», является психологическими приемами, которые люди вырабатывают, чтобы примириться с этими реалиями. Мы понятия не имеем, как бы действовали омега и что бы они думали, если бы контроль альфа над средствами насилия по каким-то причинам исчез.

Когда я впервые стал использовать словосочетание «структурное насилие», я как раз и имел в виду структуры, способные создаваться и поддерживаться только за счет угрозы применения насилия, даже если для их обычного, повседневного функционирования физическое насилие не требуется. Если задуматься над этим вопросом, то же можно сказать о большинстве феноменов, которые обычно связываются со «структурным насилием» в литературе, – расизме, сексизме, классовых привилегиях, – даже если их фактическое функционирование устроено намного сложнее.

Здесь я, вероятно, больше исходил из прочитанной мной феминистской литературы, которая часто говорит о структурном насилии в этом ключе⁴⁸. К примеру, хорошо известно, что уровень посягательств сексуального характера резко возрастает именно тогда, когда женщины начинают бросать вызов гендерным «нормам» на работе, в поведении или в манере одеваться. Это аналог ситуации, когда завоеватели вдруг снова обнажают мечи. Но исследователи по большей части этот термин так не используют. Сегодня его обычно связывают с «исследованиями мира» 1960-х годов, обозначая им «структуры», которые, как утверждается, приводят к тем же последствиям, что и насилие, даже несмотря на то, что они никак не подразумевают насильственных действий⁴⁹. Список этих структур практически такой же (расизм, сексизм, бедность и все остальное), но суть их заключается в том, что система патриархата, действующая в условиях полного отсутствия домашнего насилия или сексуальных посягательств, или система расизма, ни в коей мере не подкрепленная защищаемыми правительством правами собственности, могла бы существовать – несмотря на то, что, насколько мне известно, подобные примеры нигде не наблюдались⁵⁰. И вновь совершенно неясно, зачем прибегать к такого рода аргументам, если только те, кто их выдвигает, не утверждают, что вопрос вовсе не в физическом насилии и что на самом деле не его нужно рассматривать. Прямая постановка вопроса о насилии, видимо, означала бы открывание ряда дверей, которые многие ученые предпочитают держать закрытыми.

По большей части эти двери прямиком ведут к проблеме того, что мы называем «государством», – и бюрократических структур, посредством которых оно осуществляет свою власть. Является ли претензия государства на обладание монополией на насилие конечной проблемой или государство представляет собой ключевую часть любого возможного решения? Является ли предосудительной сама практика выработки правил и дальнейшей угрозы причинения физического вреда в адрес того, кто им не следует; или же предосудительно лишь то, что власти неправильно применяют эту угрозу? Рассмотрение расизма, сексизма и всего остального в качестве нагромождения абстрактных структур – это лучший способ полностью уйти от обсуждения этих вопросов.

Во многих сельских общинах, которые антропологи изучали подробнее всего и где современные административные приемы считаются чем-то навязанным извне, ситуация очень похожа на мой пример с альфой и омегой. Обычно мы так или иначе имеем дело с покоренным населением, то есть с людьми, которые прекрасно осознают, что нынешнее положение дел является следствием насилия. В результате никому и в голову не придет отрицать, что, по сути своей, правительство – это институт принуждения, даже если они и готовы согласиться с тем, что в определенных отношениях оно действует в их интересах. Например, в сельских районах Мадагаскара, где я проводил полевые исследования, каждый считал само собой разумеющимся, что государства действуют прежде всего путем внушения страха. Это касалось и старых малагасийских царств, и последовавшего за ними французского колониального режима, и ее нынешнего малагасийского наследника, который рассматривался как слегка переименованная версия того же самого. С другой стороны, страх внушался спорадически, поскольку на протяжении большей части времени государство или его представители просто отсутствовали. Правительство практически не играло никакой роли в регулировании деталей повседневной жизни: не существовало строительных норм, законов об открытой таре, обязательной регистрации и страхования транспортных средств, правил относительно того, кто мог покупать или продавать, строить, курить, пить или есть что бы то ни было, или того, где люди могли играть музыку или разводить животных. Даже если такие законы и были, все равно никто не знал, в чем они заключались, потому что никому, в том числе и полиции, не приходило в голову их применять даже в городах, не говоря уже об окружающей их сельской местности, где подобные вопросы полностью регулировались обычаями, собраниями общин или магическими табу. При таких условиях совершенно очевидно, что главной функцией правительственной бюрократии была регистрация налогооблагаемой собственности и поддержание инфраструктуры, позволявшей сборщикам налогов появляться и забирать свое.

Эта ситуация создала определенные интересные дилеммы для моего исследования. Прежде чем отправиться в сельскую местность, я проделал большую работу в малагасийских национальных архивах. В XIX веке Королевство Имерина пригласило иностранных миссионеров для подготовки гражданских служащих; в результате их отчеты сохранились, равно как и те, что относились к временам колониального режима. В итоге для периода с 1875 по 1950 год у меня было множество информации по общине, которую я изучал: данные переписей, протоколы школ и прежде всего точные цифры, касающиеся размеров каждой семьи и принадлежащей ей земли и скота, а в более ранний период и рабов. Но сразу же по приезду я обнаружил, что большинство людей считали, что именно это, скорее всего, и будет спрашивать чужак из мира капитала, и потому отвечали на такие вопросы неохотно. Они были готовы говорить практически обо всем остальном. В результате я собрал совершенно разнородные данные для двух исторических периодов.

По мере того как я лучше узнавал людей, я постепенно понимал, что дело было не в том, что правительство не регулировало их повседневную жизнь – в самых важных вопросах правительство вообще ничего не делало. В малагасийской истории государственная власть обнаруживает тенденцию прибывать и убывать, и в тот момент она как раз убывала.

Конечно, существовали правительственные учреждения, где сидели люди, записывавшие и регистрировавшие разные вещи, но это скорее было показной работой – платили им очень мало, расходных материалов они не получали (бумагу им приходилось покупать самостоятельно), все врал о размерах своего имущества, а налогов не платил вообще никто. Полиция просто патрулировала шоссе и не совала нос в сельскую местность. Но все говорили о правительстве так, как будто оно реально существовало, надеясь, что чужаки ничего не заметят, поскольку, в противном случае, кто-нибудь в каком-нибудь столичном ведомстве мог решить, что с этой ситуацией нужно что-то делать. Так что на одном уровне бюрократическая власть практически не влияла на людей. На другом она пронизывала все.

Отчасти это объяснялось изначальным воздействием завоевания, произошедшего за сотню лет до того. В свое время многие жители Королевства Имерина были рабовладельцами. Важно помнить, что никто никогда не находит рабовладельческие взаимоотношения нравственными – это всего лишь отношения простой произвольной силы: хозяин может приказать рабу делать все, что пожелает, и раб ничего не может с этим поделать⁵¹. Когда в 1895 году французы уничтожили Королевство Имерина и установили контроль над Мадагаскаром, они одновременно положили конец рабству и создали правительство, которое даже не пыталось делать вид, что его основой является общественный договор или воля управляемых, а зиждилось на превосходстве в огневой мощи. Неудивительно, что большинство малагасийцев пришло к выводу, что их всех фактически обратили в рабство. Это оказало глубокое влияние на то, как люди стали общаться друг с другом. Вскоре любые отношения господства, то есть любые продолжительные отношения между взрослыми людьми, в которых один видит подавление своей воли, стали считаться предосудительными с точки зрения нравственности, поскольку в них разглядели разновидности рабства или государства. Настоящие малагасийцы так не поступали. Поэтому, хотя малагасийское правительство было далеко, его тень присутствовала повсюду. В общине, что я изучал, подобные ассоциации чаще всего всплывали, когда люди говорили о крупных рабовладельческих семействах XIX века, чьи отпрыски стали костяком колониальной администрации в основном (это всегда подчеркивалось) вследствие их тяги к образованию и навыкам бумажной работы, а потомки преимущественно работали в шикарных кабинетах в столице, вдали от забот и обязанностей сельской жизни. В других контекстах, прежде всего в бюрократических, отношения подчинения были лингвистически кодифицированы: они прочно ассоциировались с французским языком; малагасийский, напротив, считался языком, предназначенным для размышлений, объяснений и согласованного принятия решений. Мелкие чиновники, стремившиеся навязать свой произвольный диктат, практически всегда переходили на французский.

Мне особенно запомнился один случай: обходительный чиновник низшего звена, с которым я много раз беседовал по-малагасийски, однажды разволновался, увидев, что я пришел ровно в тот момент, когда все, судя по всему, решили пойти домой смотреть футбольный матч (как я упоминал, в своих кабинетах они ничего не делали).

“ – Офис закрыт, – заявил он по-французски, вставая в нехарактерную для него формальную позу. – Если у вас есть какое-то дело, вы должны

вернуться завтра в восемь утра.

Меня это удивило. Он знал, что мой родной язык – английский; он был в курсе, что я свободно говорю по-малагасийски; но он не мог знать, что я еще и понимаю разговорный французский. Я изобразил смятение и ответил по-малагасийски:

– Извините, я вас не понимаю.

В ответ он еще больше выпятил грудь и повторил мне то же самое немного медленнее и громче. Я снова притворился, что не улавливаю суть.

– Не понимаю, – сказал я, – почему вы говорите со мной на языке, которого я не знаю?

Он опять повторил свои слова.

Он оказался совершенно неспособен повторить мне эту фразу на местном языке, да и вообще сказать мне что-либо по-малагасийски. Я подозревал, что так было потому, что, если бы он переключился на язык повседневного общения, он не чувствовал бы, что может говорить так резко. Позднее другие люди подтвердили мне, что суть заключалась именно в этом: если бы он говорил по-малагасийски, ему бы пришлось объяснять мне, почему офис закрывается в столь необычное время. По-малагасийски французский язык можно назвать *ny teny baiko*, или «язык приказов». Он использовался в обстоятельствах, где не нужно было давать объяснения, рассуждать и договариваться, поскольку эти обстоятельства определялись допущением о неравном доступе к откровенной физической силе. В данном случае настоящие средства для применения такой силы уже отсутствовали. Чиновник не мог да и не хотел вызывать полицию – ему просто было надо, чтобы я ушел, что я и сделал, подразнив его какое-то время своими языковыми играми. Но без обращения к тени колониального государства он не мог добиться того поведения, которое такая власть делает возможным.

Для большинства жителей Мадагаскара бюрократическую власть отчасти оправдывала ее связь с образованием, которое пользовалось почти повсеместным уважением. Вступить в мир правительства, кабинетов и полицейских участков означало попасть в мир романов, мировой истории, технологий и возможности заморских путешествий. Поэтому она не считалась несправимо плохой или абсурдной.

Но малагасийское государство не было и особо жестоким. Вместе с тем сравнительный анализ показывает, что существует прямая связь между уровнем насилия, применяемого бюрократической системой, и степенью абсурдности и невежества, которые оно порождает. Кейт Брекенридж, например, на протяжении некоторого времени изучала характерные для колониальной Южной Африки режимы «власти без знаний»⁵², где принуждение и бумажная волокита в значительной степени заменили необходимость понимать африканских подданных. Например, установлению апартеида, начавшемуся в 1950-е годы, предшествовало введение новой паспортной системы, которая была призвана упростить прежние правила, обязывавшие африканских рабочих предъявлять множество документов

при заключении трудовых договоров. Их должна была заменить одна личная книжка, где указывались их «имена, место рождения, отпечатки пальцев, статус налогоплательщика и официальное разрешение на проживание и работу в городах» и ничего больше⁵³. Правительственные чиновники увидели в этой системе инструмент рационализации администрации, полиция – средство, позволявшее избавиться ее от необходимости непосредственно общаться с африканскими рабочими. Со своей стороны, африканские рабочие ровно по тем же причинам называли этот документ не иначе как «идиотским паспортом».

Блестящая этнографическая работа Эндрю Мэтьюса о мексиканской службе лесозаготовок в штате Оахака также показывает, что почти тотальное неравенство в доступе к власти между правительственными чиновниками и местными крестьянами позволяет лесничим оставаться в своего рода идеологическом коконе и придерживаться однобоких представлений о лесных пожарах (к примеру), благодаря чему они являются практически единственными людьми в Оахаке, не понимающими, к каким последствиям приводят их предписания⁵⁴.

Связь между принуждением и абсурдом можно проследить даже по тому, какие слова используются в английском языке, когда речь заходит о бюрократии: например, обратите внимание, что большинство разговорных терминов, обозначающих бюрократическое безрассудство – SNAFU^[2], Catch-22^[3] и тому подобные, – заимствованы из сленга военных. Вообще политологи давно заметили «отрицательную корреляцию», как это называл Дэвид Аптер⁵⁵, между принуждением и информацией, то есть в то время, как относительно демократические режимы утопают в данных, поскольку политические власти заваливают все объяснениями и требованиями, – чем режим авторитарнее и репрессивнее, тем меньше у людей причин вообще о чем-либо говорить, – именно поэтому эти режимы так сильно нуждаются в шпионах, разведывательных ведомствах и тайной полиции.

Предоставляемая насилем возможность принимать произвольные решения, избегая тем самым обсуждений, разъяснений и пересмотров, характерных для более эгалитарных социальных отношений, разумеется, позволяет его жертвам считать процедуры, основанные на насилии, глупыми или неразумными. Почти все из нас способны поверхностно представить себе, что другие думают или чувствуют, просто прислушиваясь к их голосу или обращаясь к языку тела – обычно нетрудно разгадать непосредственные намерения и мотивы людей, но для того чтобы проникнуть дальше этого поверхностного уровня, нужно проделать большую работу. Повседневная социальная жизнь в значительной степени складывается из попыток расшифровать мотивы и восприятие других личностей. Назовем это «интерпретативной работой». Можно было бы сказать, что те, кто полагаются на страх применения силы, не обязаны заниматься интерпретативной работой и в целом они ею и не занимаются.

Как антрополог я знаю, что ступаю здесь на опасную почву. Говоря о насилии, антропологи подчеркивают ровно противоположный аспект, а именно то, что насильственные действия

коммуникативны, исполнены смысла и даже могут походить на поэзию⁵⁶. Всякого, кто утверждает обратное, скорее всего, немедленно обвинят в своего рода мещанстве: «Вы правда считаете, что насилие не обладает символической властью и что пули и бомбы ничего не сообщают?» Так вот, чтобы было ясно: нет, я этого не утверждаю. Но, на мой взгляд, это не самый важный вопрос. Во-первых, потому, что это предполагает, что «насилие» прежде всего имеет отношение к насильственным действиям – тычкам, затрещинам, – нанесению ножевых ранений или взрывам, – а не к угрозе применения насилия и не к той разновидности социальных отношений, которую делает возможной такая угроза⁵⁷. Во-вторых, потому, что в этой области антропологи и ученые в принципе особенно часто становятся жертвами смешения глубины интерпретации и социального смысла. То есть они автоматически полагают, что самое интересное в насилии является еще и самым важным.

Давайте разберем эти соображения по пунктам. Справедливо ли говорить, что насильственные действия в целом являются также действиями коммуникации? Конечно. Но это справедливо и для любого другого действия, совершаемого человеком. Меня поражает, что в насилии важно то, что это, наверное, единственный вид человеческого действия, который содержит в себе возможность социальных последствий, даже не будучи коммуникативным. Если выразиться точнее, то насилие вполне может быть единственным доступным для людей способом сделать что-либо, что окажет относительно предсказуемое воздействие на действия другого человека, которого они не понимают. Предпринимая любые иные попытки повлиять на действия других, вы должны хоть немного понимать, что это за люди, что они о вас думают, чего они хотят в данной ситуации, что им нравится и что их отталкивает и так далее. Ударьте их по голове посильнее, и все это потеряет значение.

На самом деле, покалечив или убив кого-то, можно добиться лишь очень ограниченных результатов. Но они достаточно реальны, и, что самое важное, можно заранее точно понять, какими они будут. Любое альтернативное действие не способно привести к каким-либо предсказуемым результатам, если только оно не обращается к неким общим смыслам. Более того, хотя попытки повлиять на других при помощи угрозы применения насилия требуют некоторого взаимопонимания, это взаимопонимание может быть минимальным. Чаще всего человеческие отношения, особенно продолжительные, например, между давними друзьями или давними врагами, крайне сложны и имеют собственную историю и смысл. Их поддержание требует постоянной и зачастую тонкой работы воображения, бесконечных попыток увидеть мир с другой точки зрения. Это то, что я обозначил термином «интерпретативная работа». Угрозы нанесения физического вреда другим дают возможность избавиться от всего этого. Они позволяют установить намного более простые и схематичные отношения («Перейди через эту черту, и я тебя пристрелю», «Если кто-нибудь из вас произнесет хоть еще одно слово, вы все отправитесь за решетку»). Разумеется, именно поэтому насилие часто является излюбленным оружием тупиц. Его даже можно было бы назвать их козырной картой, поскольку (и в этом, безусловно, заключается одна из трагедий человеческого существования) это такая разновидность тупости, на которую труднее всего дать умный ответ.

Здесь я должен ввести одну ключевую деталь. Тут все зависит от баланса сил. Если две стороны вовлечены в более или менее равное насильственное столкновение – допустим,

генералы, командующие противоборствующими армиями, – у них есть веская причина попытаться понять мысли другого. Лишь тогда, когда одна сторона обладает подавляющим перевесом в средствах причинения физического вреда, это становится излишним. Но это ведет к очень глубоким последствиям, поскольку означает, что самый характерный результат насилия, а именно его способность уходить от необходимости вести «интерпретативную работу», проявляется наиболее ярко тогда, когда само насилие менее очевидно, то есть когда вероятность откровенных насильственных действий невелика. Именно такие случаи и являются тем, что я определил как ситуации структурного насилия, или систематические неравенства, подкрепленные в конечном счете угрозой применения силы. По этой причине ситуации структурного насилия порождают сильно искривленные структуры воображаемой идентификации.

Зачастую эти последствия проявляются тогда, когда структуры неравенства укоренены особенно сильно. Гендерная сфера и здесь служит классическим примером. Например, в американских комедиях положений 1950-х годов неизменно повторялись шутки о том, что женщин понять невозможно. Эти шутки (которые, разумеется, произносили мужчины) всегда изображали женскую логику как что-то чуждое и недоступное. Посыл их всегда был таким: «Вы должны их любить, но кто на самом деле может понять, как эти существа думают?» Ни у кого и мысли не возникало о том, что женщинам может быть трудно понять мужчин. Причины этого очевидны. У женщин не оставалось выбора, кроме как понимать мужчин. В Америке 1950-х годов был распространен идеал патриархальной семьи, живущей на доходы мужа, и среди наиболее зажиточных граждан этот идеал часто воплощался в жизнь. У женщин, не имевших доступа к доходам или ресурсам, разумеется, не было выбора, кроме как тратить много времени и сил на то, чтобы разбираться в том, что происходило в головах у мужчин⁵⁸.

Такая риторика о загадках женского пола – извечная черта подобных патриархальных структур. Обычно ей сопутствует представление о том, что, хотя женщины нелогичны и понять их нельзя, у них все же есть какая-то таинственная, почти мистическая мудрость («женская интуиция»), недоступная мужчинам. И конечно, нечто подобное происходит в любых отношениях, основанных на крайнем неравенстве: крестьян, например, всегда изображают туповатыми простаками, но по-своему мистически мудрыми. Поколения писательниц – здесь в голову сразу приходит Вирджиния Вулф («На маяк») – описывали обратную сторону таких структур, а именно постоянные усилия, которые женщинам приходится совершать для того, чтобы поддерживать и подправлять эго забывчивых и заносчивых мужчин, и которые требуют непрерывного труда воображаемой идентификации, или интерпретативной работы. И эта работа ведется на всех уровнях. Предполагается, что женщины должны постоянно и везде представлять, как та или иная ситуация будет выглядеть с мужской точки зрения. При этом никто не ждет, что мужчины станут поступать так же. Такая модель поведения настолько укоренилась, что на любое замечание, что они могли бы действовать иначе, многие мужчины реагируют так, как если бы это было актом насилия. Например, среди школьных преподавателей литературы в Америке популярно упражнение, в котором студентов просят вообразить, что они на день стали представителями противоположного пола, и описать, как бы прошел этот день. Результаты оказываются на удивление однообразными. Все девушки пишут длинные и подробные сочинения, показывающие, что они много времени размышляли на эту тему. Значительная

часть юношей, как правило, вообще отказывается от такого задания. Те, кто все-таки его выполняют, дают понять, что у них нет никакого представления о том, что значит быть девушкой, и возмущаются самому предположению, что они должны об этом думать⁵⁹.

Всякому, кто знаком с теорией феминистской местоположенности или с критической расовой теорией, ничто из того, что я говорю, не ново. Изначально я опирался на более широкие размышления, изложенные в этом отрывке из работы Белл Хукс:

“ Хотя в Соединенных Штатах никогда не существовало официального учреждения чернокожих, которое решило бы изучать белых с точки зрения антропологии и/или этнографии, еще со времен рабства чернокожие, общаясь друг с другом, делятся «специальными» знаниями о белых, собранными на основе их пристального рассмотрения. Специальными их называют потому, что эти знания не были полностью изложены в письменном виде – они нужны были, чтобы помочь чернокожим выстоять и выжить в обществе, где господствуют белые. Долгие годы чернокожие слуги, работавшие в домах белых, выступали в роли информаторов, которые поставляли сегрегированным общинам знания – детали, факты, психоаналитическое прочтение белого «другого»⁶⁰.

Если в феминистской литературе и есть ограничения, то, на мой взгляд, заключаются они в том, что она слишком великодушна, поскольку предпочитает обращать больше внимания на наблюдения угнетаемых, чем на слепоту или сумасбродство угнетателей⁶¹.

Можно ли разработать общую теорию интерпретативной работы? Вероятно, нам следует начать с признания того, что здесь есть два ключевых элемента, которые связаны между собой, но формально их необходимо различать. Первый – это процесс воображаемой идентификации как форма знания, тот факт, что в отношениях господства работа по пониманию того, как устроены данные социальные отношения, обычно возложена на подчиненных. Например, всякий, кто когда-нибудь работал на кухне ресторана, знает, что, если что-то идет не так и разгневанный босс приходит разбираться в чем дело, он вряд ли будет проводить подробное расследование и вообще обращать внимание на сотрудников, каждый из которых спешит изложить свою версию произошедшего. Скорее всего, он велит им всем заткнуться и произвольно реконструирует историю, которая позволит ему сразу вынести решение: «Ты, Джо, не должен был совершать таких ошибок, а ты, Марк, здесь новенький, ты, поди, дал маху – еще раз такое сделаешь, будешь уволен». Задача разбираться в том, что на самом деле произошло, чтобы такого больше не повторилось, поручается тем, у кого нет власти нанимать и увольнять. То же обычно происходит в долгосрочных отношениях: всем известно, что слуги, как правило, многое знают о семьях своих хозяев, но хозяева почти никогда ничего не знают о семьях слуг.

Второй элемент – модель, вытекающая из сочувственной идентификации. Любопытно, что феномен, который мы сегодня называем «усталостью от сострадания», первым описал Адам Смит в «Теории нравственных чувств». Люди, отмечал он, обычно склонны не только соотносить себя с себе подобными на уровне воображения, но и, как следствие,

сопереживать радостям и горестям других. Однако бедные находятся в таком ужасном положении, что наблюдатели, проявляющие сострадание в других случаях, чувствуют себя подавленными и, сами того не осознавая, вынуждены полностью затушевывать их существование. В результате те, кто находится внизу социальной лестницы, подолгу размышляют о мнении тех, кто стоит наверху, и заботятся о них, при этом обратного не происходит почти никогда.

Идет ли речь о хозяевах и слугах, мужчинах и женщинах, работодателях и наемных рабочих, богатых и бедных – структурное неравенство, которое я назвал структурным насилием, неизбежно создает сильно искаженные структуры воображения. Поскольку, на мой взгляд, Смит правильно отмечал, что воображение порождает сочувствие, жертвы структурного насилия в результате заботятся намного больше о тех, кто получает из него выгоду, и никак не наоборот. Наряду с самим насилием, это, возможно, единственная могучая сила, сохраняющая подобные отношения.

Здесь я могу вернуться к вопросу о бюрократии.

В современных промышленных демократиях законное применение насилия поручено тем, кого обозначают эвфемизмом «правоохранители», прежде всего полицейским. Я говорю «эвфемизм», потому что поколения социологов, писавших о полиции, отмечали: лишь очень небольшая доля того, чем занимается полиция, связана с правоохранительной деятельностью и вообще с какими-либо уголовными делами. То, что она делает, в основном сопряжено с регулированием или, если выразиться несколько строже, с научным применением физической силы или с угрозой применения физической силы для того, чтобы содействовать решению административных проблем². Иными словами, полицейские тратят большую часть времени на принуждение к исполнению бесконечных правил и предписаний относительно того, кто может покупать, продавать, строить, курить, пить или есть что бы то ни было в местах вроде маленьких городков или деревень Мадагаскара.

Итак, полиция – это бюрократы с оружием.

Это очень хитроумная штука, если задуматься. Ведь когда большинство из нас думает о полицейских, мы не рассуждаем о том, что они принуждают к исполнению правил. Мы считаем, что они борются с преступлениями, а когда мы думаем о «преступлениях», то в голову приходит прежде всего преступления насильственные³. Хотя, по существу, полиция делает в основном ровно противоположное: она использует угрозу применения силы в ситуациях, которые изначально не имеют с этой угрозой ничего общего. Я постоянно обнаруживаю это в общественных дискуссиях. Когда люди пытаются привести в пример гипотетическую ситуацию, в которую оказывается вовлечена полиция, они почти всегда представляют какой-нибудь акт межличностного насилия: ограбление или нападение. Но достаточно лишь на секунду задуматься, чтобы понять, что, когда физические нападения действительно происходят даже в крупных городах вроде Марселя, Монтевидео или Миннеаполиса, будь то домашнее насилие, столкновения между бандами или пьяные драки,

полиция к ним отношения не имеет. Полицию могут вызвать только тогда, когда кто-нибудь умирает или получает настолько тяжелые ранения, что его нужно отвезти в больницу. И то лишь потому, что, когда дело доходит до вызова «скорой», нужно заполнять бумаги; если кого-то кладут в больницу, должна быть указана причина получения ранения, становятся важны обстоятельства, полиция обязана составлять отчеты. А если кто-то умирает, есть целый ворох формуляров, включая муниципальную статистику. Так что единственная борьба, в которую полиция точно оказывается вовлеченной, это та, что порождает бумажную работу того или иного рода. Подавляющее большинство случаев ограбления или краж со взломом даже не регистрируется, если только не нужно заполнять документы о страховании или заменять утраченные бумаги, которые можно заменить, только если имеется составленный по форме полицейский отчет. Поэтому к большинству преступлений с применением насилия полиция не имеет отношения.

С другой стороны, попробуйте проехать по улицам одного из этих городов на машине без номеров. Мы все знаем, что произойдет. Практически мгновенно появятся офицеры в униформах, вооруженные дубинками, пистолетами и/или электрошокерами, и, если вы просто откажетесь следовать их указаниям, они почти наверняка применят насилие.

Почему у нас такая путаница относительно того, что полиция делает на самом деле? Очевидная причина заключается в том, что в последние пятьдесят лет или около того в популярной культуре полиция стала навязчивым предметом воображаемой идентификации. Дошло до того, что в современной промышленной демократии гражданин нередко проводит по нескольку часов в день за чтением книг, просмотром фильмов и телепрограмм, которые предлагают им взглянуть на мир с точки зрения полиции и опосредованно участвовать в ее подвигах. И эта воображаемая полиция действительно тратит большую часть времени на борьбу с уголовной преступностью или на устранение последствий ее деятельности.

Все это как минимум ставит под сомнение беспокойство Вебера относительно железной клетки, то есть относительно опасности того, что безликие технократы так хорошо организуют современное общество, что в нем полностью исчезнут харизматичные герои, волшебство и романтика⁶⁴. Действительно, получается, что бюрократическое общество проявляет тенденцию к созданию собственных уникальных харизматичных героев. С конца XIX века они облакались в форму бесконечной вереницы мистических детективов, полицейских и шпионов – все эти персонажи работают как раз там, где бюрократические структуры, упорядочивающие информацию, прибегают к физическому насилию. В конце концов, бюрократия существовала тысячи лет и бюрократические общества, от Шумера и Египта до императорского Китая, создали великую литературу. Однако современные общества Северной Атлантики первыми породили такие жанры, в которых сами герои являются бюрократами или действуют исключительно в бюрократической обстановке⁶⁵.

Меня поражает, что изучение роли полиции в нашем обществе дает возможность дополнить социальную теорию интересными аспектами. Конечно, я признаю, что в настоящем очерке я не выказывал особенной любезности по отношению к ученым и к большей части их привычек и предпочтений. Меня бы не удивило, если бы кто-нибудь счел написанное аргументом в пользу бессмысленности социальной теории – эдакие высокомерные фантазии о замкнутой в себе элите, автор которых отказывается признавать простые реалии власти.

Но я говорю вовсе не об этом. Данное эссе само по себе является упражнением в социальной теории и, если бы я не думал, что такие упражнения могут пролить свет на сферы, остающиеся неясными, я бы не стал его писать. Вопрос в том, какого рода эти упражнения и какую цель они преследуют.

Здесь многое можно увидеть, сравнив бюрократическое и теоретическое знание. Первое сосредоточено на схематизации. На практике бюрократические процедуры неизбежно игнорируют все тонкости реальной социальной жизни и сводят все к заранее разработанным механизмам или к статистическим формулам. Идет ли речь о бланках, правилах, статистике или вопросниках, это всегда упрощение. Как правило, это не сильно отличается от ситуации, когда босс заходит на кухню и произвольно и быстро решает, что пошло не так: речь всякий раз идет о применении примитивных, уже существующих образцов к сложным и зачастую запутанным ситуациям. В результате у тех, кто сталкивается с бюрократической администрацией, складывается впечатление, что они имеют дело с людьми, по какой-то произвольной причине решившими надеть очки, в которых они видят только два процента того, что находится у них перед глазами. Но нечто очень похожее происходит и в социальной теории. Антропологи любят называть то, что они делают, «толстым описанием», но на самом деле этнографическое описание, каким бы хорошим оно ни было, охватывает, в лучшем случае, два процента того, что происходит в каждой истории кровной вражды между нуэрами или в петушином бою на Бали. Теоретическая работа, опирающаяся на этнографические описания, обычно фокусируется лишь на крохотной части этого, выдергивая одну или две нити из бесконечно сложной ткани человеческого бытия и используя их как основу для обобщений, скажем, о динамике социального конфликта, природе эффективности или принципах иерархии.

Я не хочу сказать, что такого рода теоретическая редукция неправильна. Напротив, я убежден в том, что этот процесс необходим, если мы хотим сказать о мире что-то совершенно новое.

Возьмем, к примеру, роль структурного анализа, который в 1950–1960-е годы стал широко известен благодаря антропологам вроде Клода Леви-Стросса или историкам античности вроде Поля Вернана. Сегодня структурный анализ не в моде и считается среди ученых безнадежно устаревшим – большинство антропологов находят все произведения Клода Леви-Стросса смешными. Мне это кажется ошибкой. Конечно, когда структурализм провозглашали единственной грандиозной теорией мышления, языка и общества, дававшей ключ к познанию тайн человеческой культуры, это было и вправду нелепо, и отказ от него был оправданным. Но структурный анализ был не теорией, а приемом, и выкидывать его в окно, как многие делали, значит лишать себя одного из наших самых оригинальных инструментов. Ведь большое достоинство структурного анализа состоит в том, что он представляет собой практически универсальный прием, чтобы делать то, что должна делать всякая хорошая теория: обеспечивать такое упрощение и схематизацию комплексного материала, которые дают возможность сказать что-то неожиданное. К мысли о Вебере и героях бюрократии, изложенной несколькими абзацами выше, я пришел случайно, в ходе эксперимента, который я проводил, чтобы объяснить структурный анализ на одном семинаре в Йельском университете.

Основной принцип структурного анализа, как я говорил, гласит, что категории символической системы не изолированы – их стоит рассматривать не с точки зрения того, что они «означают», а с точки зрения их взаимоотношений. Сначала нужно определить сферу, а затем начать поиск элементов, которые представляют собой систематическую инверсию друг друга. Возьмем для примера вампиров. Сначала вы определяете их место: вампиры – это персонажи американских фильмов ужасов. Американские фильмы ужасов представляют собой своего рода космологию, свой универсум. Затем вы задаете вопрос: что в этом космосе противостоит вампиру? Ответ очевиден. Противоположностью вампиру выступает оборотень. На одном уровне они идентичны: и тот, и другой – монстры, которые могут вас укусить и превратить в подобное им существо. Но в других отношениях они являются инверсией друг друга. Вампиры богаты. Они, как правило, аристократы. Оборотни всегда бедны. Вампиры привязаны к определенным пространственным характеристикам: у них есть замки или склепы, где они скрываются в течение дня; оборотни обычно бездомные изгои, путешественники, находящиеся в движении. Вампиры контролируют других существ (летучих мышей, волков, людей, которых они гипнотизируют или обращают в рабство). Оборотни не способны контролировать даже себя. И все же – и в данном случае это решающий аргумент – каждый из них может быть уничтожен только посредством отрицающей его противоположности: вампиры – колом, простой заостренной палкой, что крестьяне используют для строительства забора; оборотни – серебряной пулей, то есть чем-то изготовленным в буквальном смысле из денег.

Наблюдая такие механизмы инверсии, мы можем понять, в чем заключается настоящий смысл этих символов: например, вампиры вовсе необязательно символизируют смерть или страх, скорее власть, а отношения господства создают одновременно привязанность и отвращение.

Разумеется, это очень простой пример. То, что я описал, лишь первая ступень – есть еще целый ряд более сложных дальнейших шагов: инверсии внутри инверсий, опосредованные термины, уровни иерархического охвата... Нет необходимости вникать в подробности всего этого. Я просто хочу сказать, что, даже совершив один шаг, можно обнаружить нечто, о чем в других условиях и помыслить было бы нельзя. Радикальное упрощение реальности подталкивает к мыслям, которые, скорее всего, нам и в голову бы не пришли, если бы мы просто попытались охватить мир во всей его сложности.

Я часто обращался к этому примеру, когда объяснял студентам структурный анализ. Им он всегда нравился. Однажды я предложил попытаться вместе выполнить такой анализ какого-нибудь персонажа поп-культуры, и кто-то упомянул Джеймса Бонда.

Мне это показалось разумным: Джеймс Бонд, безусловно, был своего рода мифическим героем. Но кто был его мифической противоположностью? Ответ скоро стал очевидным. Джеймс Бонд был структурной инверсией Шерлока Холмса. Оба они родом из Лондона, борются с преступностью, остаются вечными подростками со своими причудами, даже немного социопатами, но в других отношениях они полностью противоположны друг другу (рис. 4).

Рисунок 4.



Холмс асексуален, но испытывает пристрастие к кокаину и опиуму, Бонд одержим сексом, но не интересуется наркотиками, за исключением алкоголя. Холмс – любитель. Бонд – профессионал до мозга костей, у него словно нет жизни за пределами работы. И все же Холмс – любитель, который необычайно дисциплинирован и компетентен, намного больше, чем профессионалы из Скотленд-Ярда, тогда как Бонд – профессионал, который всегда позволяет себе быть рассеянным, засвечивается, попадает в руки врагов и не выполняет прямые приказы своего боссабб.

Тем не менее все это лишь служит прологом к ключевой инверсии, которая касается того, что они непосредственно делают: Шерлок Холмс ищет информацию о насильственных действиях, совершенных в прошлом в его стране, тогда как Джеймс Бонд ищет информацию о насильственных действиях, что должны произойти в будущем за ее пределами.

Разрабатывая эту схему, я осознал, что все в ней организовано вокруг отношения между информацией и насилием – и что и Шерлок Холмс, и Джеймс Бонд представляют собой

типичных героев бюрократии. Классический коп из телесериалов или герой любого из сотен фильмов о «копах-одиночках-которые-нарушают-все-правила», что Голливуд выдает на-гора начиная с 1960-х годов, представляет собой синтез этих двух персонажей – борцов с преступностью, действующих в рамках бюрократического порядка, в котором заключается весь смысл их существования несмотря на то, что они его постоянно нарушают⁶⁷.

Мне могут возразить, что все это – упрощение намного более богатой, сложной и насыщенной нюансами традиции популярной культуры. Разумеется. В этом и вся суть. Упрощение – это достоинство структурного анализа такого рода. Со своей стороны, я и Леви-Стросса считаю героическим персонажем, человеком, обладавшим настоящей интеллектуальной смелостью и следовавшим нескольким простым принципам до конца, вне зависимости от того, что порой они приводили к абсурдным или скудным результатам (история Эдипа на самом деле рассказывает о глазах и ногах; любая организация общества – это лишь система обмена женщинами), или, если хотите, от того, что иногда он таким образом насильственно искажал реальность. Потому что такое насилие – продуктивно. И никто от него не страдает.

Пока мы остаемся в рамках теории, я бы сказал, что упрощение необязательно является показателем глупости – оно может быть проявлением ума. И даже блестящего ума. Проблема возникает тогда, когда насилие перестает быть метафорическим. Вернемся от воображаемых копов к настоящим. Джим Купер, бывший сотрудник лос-анджелесской полиции, ставший социологом⁶⁸, отмечал, что подавляющее большинство тех, кого полиция бьет или подвергает жестокому обращению, в конечном итоге оказываются невиновными. «Грабителей копы не избивают», – пишет он. Причина этого, как объясняет он, проста: самый верный способ спровоцировать полицию на грубую реакцию – это оспорить ее право на то, что он называет «определением ситуации», то есть сказать: «Нет, это не та ситуация, в которой может произойти преступление, это ситуация, в которой гражданин, платящий вам зарплату, гуляет со своей собакой, убирайтесь отсюда», не говоря уже о фразе, что неизбежно повлечет за собой плачевные последствия: «Стойте, почему вы надеваете наручники на этого парня? Он же ничего не сделал!» Именно «пререкания» провоцируют избиения и воспринимаются как оспаривание любой административной процедуры (Мирно или воинственно настроенная толпа? Правильно или неправильно зарегистрированная машина?), которой следовал полицейский по собственному усмотрению. Полицейская дубинка – это та самая точка, где сходятся диктуемый государством бюрократический императив навязывания простой административной схемы и его монополия на принуждение. Это имеет смысл, только если бюрократическое насилие заключается в первую очередь в нападении на тех, кто настаивает на альтернативных схемах и истолкованиях. В то же время, если согласиться со знаменитым определением Жана Пиаже, согласно которому зрелый разум – это способность координировать многие точки зрения (или возможные точки зрения), то можно отчетливо увидеть, как, обращаясь к насилию, бюрократическая власть в буквальном смысле становится разновидностью детской глупости.

Без сомнения, этот анализ также является упрощением, но упрощением продуктивным. Я попытаюсь это доказать, применив некоторые из этих идей для понимания того, какая политика может сложиться в рамках бюрократического в своей основе общества.

Один из главных доводов этого очерка заключается в том, что структурное насилие создает искаженные структуры воображения. Те, кто находятся внизу, должны затрачивать немало энергии, чтобы понять социальную динамику того, что их окружает, в том числе и точку зрения тех, кто стоит наверху, тогда как последние могут особо не переживать о том, что происходит вокруг них. То есть бесправные выполняют не только большую часть физической работы, необходимой для поддержания жизнедеятельности общества, но и большую часть интерпретативной работы.

Судя по всему, это происходит везде, где встречается систематическое неравенство. Это справедливо и в Древней Индии, и в средневековом Китае и повсеместно в наши дни. И, видимо, это будет справедливо до тех пор, пока будет сохраняться структурное неравенство. Тем не менее наша бюрократическая цивилизация вводит и еще один элемент. Бюрократии, как я говорил, не столько сами являются проявлениями глупости, сколько выступают в роли организаторов глупости, то есть выстраивания отношений, которые характеризуются крайне неравными структурами воображения, существующими благодаря структурному насилию. Именно поэтому, даже если бюрократия создается из благих побуждений, она будет порождать абсурд. Это, в свою очередь, является причиной, почему я начал этот очерк именно так. У меня нет оснований полагать, что кто-либо вовлеченный в драму с доверенностью моей матери (даже банковский менеджер) не исходил из благих намерений. Однако результатом стали абсурд и бесконечная беготня.

Почему это происходит? Потому что даже самые благонамеренные бюрократии на самом деле опираются на очень схематичные и крайне ограниченные воззрения, характерные для власть имущих, превращая их в средства ограничения этой власти или смягчения ее наиболее вредоносных последствий. Конечно, бюрократическое вмешательство такого рода принесло миру много добра. Европейское социальное государство с его бесплатным образованием и системой всеобщего здравоохранения можно закономерно считать одним из величайших достижений человеческой цивилизации, как однажды заметил Пьер Бурдьё. Но в то же время, переняв ту упрямую слепоту, что характерна для власть имущих и наделяет их научным ореолом – например, приняв целый ряд допущений о смысле работы, семьи, соседства, знаний, здоровья, счастья или успеха, которые практически никак не связаны с настоящей жизнью бедняков или рабочих, не говоря уже о том, что сами они считают осмысленным, – оно обрекло себя на провал. И провал состоялся. Именно беспокойство, порожденное этой слепотой даже у главных выгодоприобретателей социального государства, позволило правым, начиная с 1980-х годов, добиться народной поддержки в пользу политики, уничтожающей даже самые успешные из этих программ.

А в чем выражалось это беспокойство? В основном в ощущении, что бюрократическая власть уже вследствие своей природы представляла собой своего рода войну против человеческого

воображения. Это становится особенно очевидно, если обратиться к молодежным бунтам, прокатившимся от Китая до Мексики и Нью-Йорка и достигшим кульминации в парижском восстании мая 1968 года. Все они были направлены в первую очередь против бюрократической власти; все исходило из того, что бюрократическая власть душит человеческую душу, творчество, товарищеский дух, воображение. Знаменитый лозунг «Вся власть – воображению!», написанный на стенах Сорбонны, преследует нас до сих пор: его бесконечно воспроизводят на плакатах и значках, в рекламных брошюрах и манифестах, в фильмах и текстах песен во многом потому, что он словно воплощает нечто очень важное – не просто повстанческий дух 1960-х, а самую суть того, что мы называем «левым» движением.

Это важно. Еще как важно. Потому что, на мой взгляд, то, что произошло в 1968 году, показывает противоречие, заложенное в самой левой мысли с момента ее появления, – несоответствие, которое в полной мере проявилось именно тогда, когда она добилась своего крупнейшего исторического успеха. Во введении я высказал предположение, что современной левой мысли недостает последовательной критики бюрократии. Но если вернуться к самым истокам – к возникшей во времена Французской революции идее о том, что политический спектр можно разделить на левое и правое крыло, – то становится очевидным, что левая мысль, по сути своей, и является критикой бюрократии, даже несмотря на то, что она неоднократно была вынуждена приспособливаться к бюрократическим структурам и мышлению, которым она изначально противостояла⁹.

В этом смысле нынешняя неспособность левых сформулировать критику бюрократии, которая была бы адресована тем, кто за них когда-то голосовал, отражает упадок левых в целом. Без такой критики радикальная мысль теряет свою жизненную основу, рассыпаясь на мелкие протесты и требования.

Кажется, что всякий раз, когда левые решают придерживаться надежного, «реалистичного» пути, они закапывают себя еще глубже. На мой взгляд, чтобы понять, как это происходит, не говоря уже о том, что с этим можно было бы сделать, придется пересмотреть определенные изначальные послышки – прежде всего, что вообще означает быть «реалистом».

“ Будьте реалистами - требуйте невозможного!

(еще один лозунг 1968 года)

До сих пор я говорил о том, как структурное насилие создает искаженные структуры воображения и как бюрократия становится инструментом управления такими ситуациями, а также о формах структурной слепоты и глупости, которые она неизбежно порождает. Даже в своем наиболее совершенном виде бюрократические процедуры становятся глупыми и оборачиваются против самих себя.

Почему движения, борющиеся с этими структурами, так часто сами создают бюрократии? Обычно для них это является определенным компромиссом. Нужно быть реалистами и не требовать слишком многого. Реформы социального государства представляются более

реалистичными, чем требования широкого распределения собственности; «переходный» этап государственного социализма кажется более реалистичным, чем резкий скачок к демократически организованным рабочим советам, обладающим властью, и так далее. Однако это поднимает другой вопрос. Когда мы говорим о том, что надо быть «реалистами», какую именно реальность мы имеем в виду?

Здесь, как мне кажется, будет уместно рассказать историю об одной группе активистов, в деятельности которой я участвовал.

С начала 2000 до конца 2002 года я работал в нью-йоркской группе прямого действия (ГПД), являвшейся тогда главным организатором массовых акций в Нью-Йорке в рамках Глобального движения за справедливость. Я называю ее «группой», но, строго говоря, ГПД была скорее децентрализованной сетью, действовавшей на основе принципов прямой демократии и опиравшейся на сложный, но довольно эффективный процесс достижения консенсуса. Группа играла центральную роль в работе над созданием новых организационных форм и существовала в чисто политическом поле. Никакими ресурсами, даже сколько-нибудь значительной казной, она не располагала.

И вот однажды кто-то подарил ГПД автомобиль.

Машина спровоцировала небольшой, но продолжительный кризис. Вскоре мы обнаружили, что с юридической точки зрения децентрализованная сеть ею владеть не может. Машины могут принадлежать частным лицам, корпорациям (которые являются фиктивными лицами) или правительствам. Но недопустимо, чтобы они принадлежали сетям. Если мы не были готовы учредить некоммерческую корпорацию (что потребовало бы полной реорганизации и отказа от большей части наших эгалитарных принципов), единственным выходом было найти добровольца, который согласился бы стать законным владельцем машины. Но тогда этот человек нес бы ответственность за погашение всех штрафов и страховых платежей и должен был бы дать письменное разрешение на то, что остальные могут водить автомобиль за пределами штата. И разумеется, в случае эвакуации забрать машину мог только он. Один отважный активист согласился взять на себя эту заботу, но в результате на еженедельных собраниях он постоянно отчитывался о своих последних проблемах с законом. Вскоре трудности с машиной вылились в настоящее бедствие, и мы решили устроить благотворительную акцию – на большой вечеринке мы давали кувалду в руки всякому, кто согласился заплатить пять долларов за возможность врезать по авто.

Мне кажется, что в этой истории было нечто глубокое. Почему такие проекты, как ГПД, стремящиеся к демократизации общества, так часто воспринимаются как пустые мечты, которые развеиваются, стоит им лишь соприкоснуться с суровой материальной реальностью? По крайней мере, в нашем случае речь не шла о несостоятельности: полицейские начальники по всей стране называли нас наиболее организованной силой, с которой им приходилось иметь дело. Мне кажется, что эффект реальности (если его можно так назвать) имеет место скорее потому, что радикальные проекты обычно проваливаются (или, по крайней мере, становятся бесконечно сложными) в тот момент, когда вступают в мир больших, тяжелых предметов: зданий, машин, тракторов, лодок, промышленного оборудования. Это, в свою очередь, обусловлено не тем, что этими объектами в принципе

трудно управлять демократическим путем – история полна примеров общин, которые успешно организовывали демократическое управление коллективными ресурсами, – а тем, что, как это было в случае машины ГПД, они окружены бесчисленными правилами, установленными правительством, и никак не могут скрыться от вооруженных представителей власти. В Америке я наблюдал множество примеров подобной дилеммы. После долгой борьбы легализуется самовольно занятый дом; вдруг появляются строительные инспекторы и заявляют, что ремонтные работы по приведению здания в соответствующий законодательству вид обойдутся в десять тысяч долларов. Организаторы вынуждены в течение нескольких лет проводить распродажи выпечки и просить о помощи. Это означает, что нужно открывать банковские счета, что, в свою очередь, ставит их в зависимость от правил, устанавливающих форму организации любой группы, которая получает финансирование или имеет дело с правительством (опять-таки не как эгалитарный коллектив). Все эти правила подкрепляются насилием. Конечно, в обычной жизни полиция редко появляется, помахая дубинками, чтобы заставить исполнять предписания закона, но, как часто убеждаются анархисты на своем уникальном опыте, если кто-то просто делает вид, что государство и его правила не существуют, то происходит именно это. Поскольку резиновые дубинки фигурируют эпизодично, насилие становится сложнее увидеть. Это, в свою очередь, создает впечатление, будто действенность всех этих правил – правил, которые почти всегда подразумевают, что в роли посредника в нормальных отношениях между людьми выступает рынок и что нормальные группы организованы на основе иерархических и командных отношений, – обеспечивается не монополией правительства на использование силы, а размерами, прочностью и тяжестью самих предметов.

Когда кого-то просят быть «реалистом», реальность, которую предлагают признать, состоит не из естественных материальных фактов и не из какой-то предположительной неприкрашенной правды о человеческой природе. Быть «реалистом» обычно означает всерьез воспринимать последствия систематической угрозы применения насилия. Эта вероятность даже просочилась в наш язык. Почему, например, здание называют «реальной собственностью» (real property) или «реальной недвижимостью» (real estate)? Слово «реальный» в этом значении происходит не от латинского *res*, то есть «вещь», а от испанского *real*, что означает «королевский», «принадлежащий королю». Вся земля в пределах суверенной территории в конечном счете принадлежит суверену – с юридической точки зрения это справедливо и в наши дни. Именно поэтому государство имеет право навязывать свои нормы. Но суверенитет сводится к монополии на то, что скрывают под словом «сила» – на самом деле речь идет о насилии. Как говорил итальянский философ Джорджо Агамбен, с точки зрения суверенной власти нечто живо, потому что вы можете его убить, поэтому собственность «реальна», ибо государство может ее отнять или уничтожить.

Точно так же, когда кто-то придерживается «реалистических» позиций в международных отношениях, он исходит из того, что государства будут использовать все средства, имеющиеся в их распоряжении (в том числе и военную силу) для защиты своих национальных интересов. Какая «реальность» признается? Явно не материальная. Мысль о том, что нации – это человекоподобные организмы, имеющие свои цели и интересы, носит чисто метафизический характер. У короля Франции были свои цели и интересы. Но у самой Франции их нет. «Реалистическими» они кажутся потому, что те, кто управляет

национальными государствами, обладают властью собирать армии, завоевывать, бомбить города и могут угрожать применением организованного насилия во имя того, что они называют своими «национальными интересами», – и было бы безумием игнорировать эту вероятность. Национальные интересы реальны потому, что могут убить вас.

Ключевой термин здесь – «сила», как во фразе «государственная монополия на применение принуждающей силы». Всякий раз, когда мы слышим это слово, мы сталкиваемся с политической онтологией, в рамках которой власть разрушать, причинять другим вред, увечья, страдания или порубить на куски тела других (или просто запереть их в маленькой комнате до конца жизни), рассматривается как социальный эквивалент той самой энергии, что движет мирозданием. Если хотите, присмотритесь к метафорам и смещениям, благодаря которым стало возможным составить два следующих предложения:

“ Ученые изучают природу физических законов для того чтобы понять, какие силы управляют Вселенной.

Полицейские – это эксперты в сфере научного применения физической силы с целью обеспечения соблюдения законов, управляющих обществом.

На мой взгляд, в этом заключается самая суть мысли правых: это политическая онтология, которая посредством таких тонких инструментов позволяет насилью определять все параметры социального существования и здравого смысла⁷⁰.

Вот почему я говорю, что по своему духу левая мысль всегда была настроена против бюрократии. Она всегда исходила из другого набора допущений относительно того, что, по сути своей, реально, то есть относительно самых основ политического бытия. Разумеется, левые не отрицают реальность насилия. Многие левые теоретики много о нем размышляют. Но они не придают ему тот же самый фундаментальный статус. Напротив, я бы сказал, что левая мысль основана на том, что я буду называть «политической онтологией воображения» (хотя это можно было бы обозначить как онтологию творчества, создания или изобретения). Сегодня большинство из нас склонны ассоциировать эту тенденцию с наследием Маркса, который делал особый акцент на социальной революции и на силах материального производства. В конечном счете Маркс был просто человеком своего времени, и его терминология сложилась на основе намного более широких споров о стоимости, труде и творчестве, которые велись в радикальных кругах того периода, будь то в рабочем движении, в различных течениях романтизма или среди богемы, окружавшей его во время пребывания в Париже и в Лондоне. Сам Маркс, при всем презрении, которое он испытывал к утопическим социалистам современности, постоянно утверждал, что людей от животных отличает то, что архитекторы, в отличие от пчел, сначала возводят свои здания в воображении. По Марксу, уникальным свойством человека является то, что сперва он представляет себе вещи и лишь затем создает их. Именно этот процесс он называл «производством».

Примерно в то же время Сен-Симон и другие утопические социалисты утверждали, что художники должны были стать авангардом, или «передовым отрядом», как он это называл, нового социального порядка и создавать великие образы, которые промышленность теперь

была в состоянии воплотить в жизнь. То, что тогда могло показаться фантазией эксцентричного памфлетиста, вскоре стало хартией спорадического, зыбкого, но внешне постоянного союза, который сохраняется и по сей день. Если с тех пор художественный авангард и социальные революционеры чувствовали взаимную близость и перенимали друг у друга язык и идеи, то, по-видимому, объяснялось это тем, что и те и другие считали, что вся тайна состоит в том, что мир на самом деле создаем мы сами и что мы вполне способны делать это иначе. В этом смысле фраза вроде «Вся власть – воображению!» выражает самую суть левой мысли.

С точки зрения левых тайная реальность человеческой жизни состоит в том, что мир не просто существует. Это не природная данность, даже несмотря на то, что мы относимся к нему, словно так и есть, – он есть потому, что мы совместно его создаем. Мы представляем себе то, что нам нравится, и затем воплощаем это в жизнь. Однако как только вы начинаете рассматривать это в таких категориях, сразу становится ясно, что что-то пошло совсем не так. Ведь кто бы стал создавать мир таким, какой он есть, если бы он мог просто представить мир, который ему нравился бы, и воплотить его в жизнь?⁷¹ Возможно, в самом чистом виде воззрения левых нашли отражение в словах философа-марксиста Джона Холлоуэя, который собирался назвать одну свою книгу «Прекратите строить капитализм»⁷². Капитализм, отмечал он, это не нечто навязанное нам какой-то внешней силой. Он существует только потому, что каждый день мы просыпаемся и продолжаем его создавать. Если бы однажды утром мы встали и все вместе решили бы культивировать что-то другое, то капитализма у нас больше не было бы. Это главный революционный вопрос: при каких условиях мы сможем это сделать – просто проснуться, придумать и сделать что-то другое?

На это внимание к силам творчества и производства правые пытаются возразить, что революционеры систематически упускают из вида социальное и историческое значение «средств разрушения»: государств, армий, палачей, варварских вторжений, преступников, неуправляемых толп и тому подобного. Если делать вид, что всего этого нет или что это исчезнет само собой, то левые режимы, утверждают они, приведут к еще большему количеству смертей и поражений, чем порядки тех, кто мудро придерживался более «реалистического» подхода.

Разумеется, это до определенной степени упрощение, и тут можно сделать множество оговорок. Буржуазия времен Маркса, например, придерживалась философии, сосредоточенной на производстве – это одна из причин, почему Маркс рассматривал ее в качестве революционной силы. Элементы правой мысли смешались с артистическим идеалом, а марксистские режимы XX века зачастую перенимали правые, по своей сути, теории власти и лишь на словах соглашались с определяющей ролью производства. С другой стороны, настойчиво упекая в тюрьму поэтов и драматургов, чьи произведения они считали опасными, они обнаружили глубокую веру в способность искусства и творчества изменить мир – правители капиталистических режимов особо по этому поводу не беспокоились, поскольку были уверены, что если они будут твердой рукой контролировать средства производства (а также, разумеется, армию и полицию), то все остальное наладится само собой.

Одна из причин, по которым все это трудно увидеть, заключается в том, что слово «воображение» может иметь множество значений. В большинстве современных определений воображение противопоставлено реальности; «воображаемые» вещи – это в первую очередь те, которых на самом деле здесь нет. Это может порождать большую путаницу, когда мы говорим о воображении абстрактно, поскольку возникает впечатление, будто воображение куда больше связано со спенсеровской «Королевой фей», чем с группой официанток, которая пытается придумать, как успокоить пару за седьмым столиком до того, как появится босс.

И все же такое представление о воображении относительно ново и продолжает сосуществовать с намного более старыми. В античном и средневековом понимании, например, то, что мы называем «воображением», считалось не чем-то противоположным реальности, а своего рода средней позицией, переходной зоной, соединяющей материальную реальность и рациональную душу. Так думали и те, кто считал разум прежде всего проявлением Бога и вследствие этого полагал, что мышление соотносится с божественным, которое не соотносится с материальной реальностью и даже является совершенно чуждым ей (в средневековом христианстве эта точка зрения стала преобладающей). Как тогда рациональный ум мог получать чувственные впечатления от природы?

Выход находили в предполагаемой промежуточной субстанции, состоящей из того же материала, что и звезды, – это была «пневма», разновидность системы кровообращения, через которую могло проходить восприятие материального мира, насыщаясь в процессе эмоциями и общаясь с различными привидениями до того, как рациональный ум осознавал их значение. Намерения и желания двигались в противоположном направлении, протекая через воображение до того, как их можно было воплотить в жизнь. Лишь после Декарта слово «воображаемый» стало означать все то, что не является реальным: воображаемые существа, воображаемые места (Нарния, планеты в далеких галактиках, царство пресвитера Иоанна), воображаемые друзья. С этой точки зрения словосочетание «политическая онтология воображения» могло быть лишь логическим противоречием. Воображение не может быть основой реальности. Оно по определению является тем, что мы можем помыслить, но что не обладает реальностью.

Последнее я буду называть «трансцендентным понятием воображения», поскольку в качестве модели оно берет романы или другие художественные произведения, которые создают воображаемые миры, остающиеся неизменными вне зависимости от того, сколько раз мы их прочитываем. Реальный мир не влияет на воображаемые существа – эльфов, единорогов или полицейских из телесериалов. И не может влиять, поскольку они не существуют. Напротив, та разновидность воображения, о которой я пишу в этом очерке, намного ближе к старой, имманентной концепции. Немаловажно то, что она ни в коей мере не статична и не находится в свободном плавании, а полностью заключена в проектах действий, которые нацелены на то, чтобы оказывать реальное влияние на материальный мир, а значит, постоянно меняются и приспособляются. Это в равной мере справедливо и

для тех, кто изготавливает ножи или ювелирные украшения, и для тех, кто пытается не задеть чувств своего друга.

Именно во второй половине XVIII века, когда зародились промышленный капитализм, современное бюрократическое общество и политическое деление на правых и левых, новая, трансцендентная, концепция воображения вышла на первый план. В частности, для представителей романтизма воображение заняло место, ранее принадлежавшее душе – вместо того чтобы выступать посредником между рациональной душой и материальным миром, оно стало душой, а душа стала чем-то, что находилось за пределами всякой простой рациональности. Легко увидеть, как становление безличного, бюрократического порядка учреждений, фабрик и рациональной администрации дало жизнь мыслям такого рода. Но поскольку воображение превратилось в остаточную категорию (чего не скажешь о новом порядке), оно также не стало чисто трансцендентным; на самом деле оно неизбежно преобразовалось в своего рода безумную мешанину того, что я назвал трансцендентным и имманентным принципами. С одной стороны, воображение рассматривалось как источник искусства и всякого творчества. С другой – оно было основой человеческого сопереживания, а значит, и нравственности⁷³.

Двести пятьдесят лет спустя нам, пожалуй, стоит навести в этом порядок.

Потому что, честно говоря, на кону стоит многое. Чтобы убедиться в этом, вернемся ненадолго к лозунгу 1968 года «Вся власть – воображению!» О каком воображении идет речь? Если отнести это к трансцендентному воображению, то есть к попытке навязать некую заранее придуманную утопическую идею, то последствия могут быть катастрофическими. В истории такой призыв зачастую подразумевал создание огромной бюрократической машины, предназначенной для насильственного распространения таких утопических представлений. Вероятным результатом будут зверства мирового масштаба. С другой стороны, в революционной ситуации кто-то может с тем же успехом начать доказывать, что если не дать полной власти другой, имманентной разновидности воображения – практическому здравому воображению обычных поваров, сиделок, механиков и садовников, – то последствия, вполне вероятно, будут такими же.

Подобная путаница и переплетение различных концепций воображения красной нитью проходят через всю историю левой мысли.

Это противоречие просматривается уже у Маркса. В его подходе к революции есть странный парадокс. Как я уже отмечал, Маркс утверждает, будто мы являемся людьми потому, что не полагаемся на бессознательные инстинкты, как пауки и пчелы, а сначала создаем структуры в нашем воображении и затем воплощаем их в жизнь. Когда паук плетет паутину, он действует инстинктивно. Архитектор сначала чертит план и лишь затем приступает к возведению фундамента своего здания. Это справедливо, настаивает Маркс, для всех форм материального производства, будь то строительство мостов или изготовление лодок. И все же, когда Маркс говорит о социальном творчестве, его ключевым примером (да и вообще единственной разновидностью социального творчества, о которой он говорит) всегда является революция и, как только он заводит о ней речь, он резко меняет регистр. На самом деле он опровергает самого себя. Революционер никогда не должен действовать как

архитектор; он не обязан сначала чертить идеальное общество, а затем думать о том, как его воплотить. Это было бы утопизмом. А к утопизму Маркс не испытывал ничего, кроме испепеляющего презрения. Напротив, революция – это фактическая имманентная деятельность пролетариата, который, в конце концов, пожнет ее плоды так, как мы сегодня и представить себе не можем.

Чем обусловлено это расхождение? Самое щадящее объяснение, которое я могу предложить, заключается в том, что Маркс, по крайней мере на интуитивном уровне, понимал, что в сферах материального производства и социальных отношений воображение действует по-разному; кроме того, у Маркса не было подходящей теории, объясняющей, почему это так. Возможно, в середине XIX века, задолго до становления феминизма, он просто не располагал соответствующими интеллектуальными инструментами⁷⁴. Исходя из соображений, изложенных в этом очерке, я думаю, что именно в этом все и дело. Выражаясь языком самого Маркса, в обеих областях мы можем говорить об отчуждении. Однако в каждой из них оно действует совершенно по-разному.

Напомню довод, о котором шла речь выше: структурное неравенство всегда создает то, что я назвал «искаженными структурами воображения», то есть разделение между тем классом, который выполняет основную часть работы воображения, и тем, который этой работой не занимается. Тем не менее сфера фабричного производства, интересовавшая Маркса сильнее всего, в этом отношении довольно необычна. Это одна из немногих областей, где господствующий класс выполняет большую, а не меньшую часть работы воображения.

Творчество и желание – то, что мы часто сводим к политико-экономическим терминам «производство» и «потребление», – ключевые орудия воображения. Структуры неравенства и господства – структурное насилие, если хотите, – искажают воображение. Структурное насилие может создавать ситуации, в которых рядовые сотрудники вынуждены выполнять отупляющую, скучную, механическую работу, а небольшой элите дозволено заниматься творческой деятельностью; в результате у рядовых сотрудников возникает ощущение, что они отчуждены от собственного труда, что их действия принадлежат кому-то другому. Оно также способно создавать социальные ситуации, в которых короли, политики, знаменитости или исполнительные директора надувают щеки и пропускают мимо ушей практически все, что происходит вокруг них, в то время как их жены, слуги, персонал и помощники тратят все свои силы на работу воображения, стремясь удержать их в их собственных фантазиях. Подозреваю, что в большинстве своем ситуации неравенства содержат в себе элементы того и другого.

Субъективный опыт пребывания внутри таких искаженных структур воображения – и вытекающие из него деформирование и разрушение воображения – это и есть то, что мы имеем в виду, говоря об «отчуждении».

Согласно традиции политической экономии, которой придерживался Маркс, труд в современных обществах делится на две сферы: наемный труд, парадигмой которого всегда являются фабрики, и труд домашний – работа по дому, уход за детьми, – которым в основном занимаются женщины. Первый рассматривается как процесс создания и

поддержания физических объектов. Второй, по-видимому, лучше понимать как процесс создания и поддержания людей и социальных отношений. Различие, разумеется, носит несколько карикатурный характер: ни в одном обществе, даже в Манчестере времен Энгельса или в Париже времен Виктора Гюго большинство мужчин не были фабричными рабочими, а большинство женщин не были исключительно домохозяйками. Тем не менее это различие задает рамки тому, как мы рассматриваем эти вопросы сегодня, а также указывает на корень проблемы Маркса. В промышленной сфере те, кто находится наверху, оставляют себе самые творческие задачи (например, они придумывают новые товары и организуют их выпуск), тогда как при возникновении неравенства в сфере социального производства предполагается, что работу воображения и, прежде всего, основной объем «интерпретативной» работы, которая поддерживает течение жизни, будут выполнять те, кто находится внизу⁷⁵.

Выше я высказал предположение, что бюрократические процедуры, обладающие поразительной способностью заставлять даже самых умных людей поступать по-идиотски, представляют собой не столько проявления тупости сами по себе, сколько инструменты управления ситуациями, которые глупы изначально, поскольку порождаются структурным насилием. В результате эти процедуры сами пропитываются той слепотой и бессмысленностью, которые призваны исправлять. В лучшем случае они обращают глупость против самой себя подобно тому, как действует революционное насилие. Однако глупость во имя честности и приличия остается глупостью, а насилие во имя освобождения человечества остается насилием. Неслучайно они зачастую оказываются связаны друг с другом.

На протяжении большей части минувшего столетия главным революционным вопросом был: как произвести в обществе кардинальные перемены, не запуская процесс, который приведет к созданию новой, насильственной бюрократии? А также: является ли проблемой утопизм, то есть сама мысль о том, что можно сначала придумать лучший мир, а затем его воплотить, или же он является частью самой природы социальной теории? Должны ли мы в этом случае отказаться от социальной теории? Или неверно само понятие революции?

Начиная с 1960-х годов общество сосредоточилось на менее масштабных вопросах. В годы, предшествовавшие маю 1968-го, ситуационисты утверждали, что это можно делать, предпринимая творческие подрывные действия, которые подтачивают логику того, что они называли «спектаклем» и что превращает нас в пассивных потребителей. При помощи таких действий мы можем, по крайней мере на мгновение, вновь обрести силу воображения. В то же время они полагали, что подобные шаги являются небольшими репетициями того момента великого бунта, к которому они обязательно приведут – революции, собственно говоря. Сегодня такой подход фактически сошел на нет. Если события мая 1968 года чему-то и учат, так это тому, что если стремления захватить государственную власть нет, то разового, серьезного перелома не произойдет. В результате у большинства современных революционеров этот миллениаристский элемент почти полностью отсутствует. Никто не думает о том, что небеса вот-вот разверзнутся. Правда, есть и утешение: если кто-то сумеет

достичь подлинной революционной свободы, он сможет начать ее испытывать немедленно. Приведу в качестве примера следующее утверждение коллектива CrimethInc, возможно самой яркой на сегодняшний день группы молодых пропагандистов анархии, действующих в рамках ситуационистской традиции:

“ Мы должны добиться свободы, вырезая дыры в ткани этой реальности, выковывая новые реальности, которые, в свою очередь, будут формировать нас. Постоянно помещать себя в новые ситуации – это единственный способ принимать решения, не будучи обремененным инерцией привычек, обычаев, законов или предрассудков, и создание таких ситуаций зависит только от вас.

Свобода существует только в момент революции. Но такие моменты не так редки, как вы думаете. Перемены, революционные перемены происходят постоянно и повсеместно – и участие в них принимает каждый, осознанно или нет.

Что это, если не элегантно изложенная логика прямого действия: дерзкое требование поступать так, как будто ты уже свободен?76 Очевидный вопрос здесь в том, как этот подход может содействовать общей стратегии, которая должна способствовать если и не наступлению единого момента революционного искупления, то общему движению к миру без государств и капитализма. Уверенного ответа никто дать не может. Большинство полагает, что процесс может заключаться в бесконечной импровизации. Бунтарские моменты в нем точно будут. Скорее всего, их окажется немного. Но они, вероятно, станут лишь одним из элементов намного более сложного и многогранного революционного процесса, очертания которого сейчас трудно предугадать.

В ретроспективе кажется поразительно наивным старое предположение о том, что одно восстание или одна успешная гражданская война могут нейтрализовать весь аппарат структурного насилия, по крайней мере на отдельно взятой национальной территории, и что на этой территории реальность правых будет просто сметена, благодаря чему освободится поле для ничем не сдерживаемого разлива революционного творчества. Но что действительно ошеломляет, так это то, что в некоторые моменты человеческой истории именно это и происходило. Мне кажется, что если у нас есть хоть какая-нибудь возможность уловить новую, формирующуюся концепцию революции, то мы должны начать снова думать о качестве этих моментов бунта.

Одной из примечательных черт этих революционных потрясений является то, что они возникают словно из ниоткуда, а затем зачастую рассасываются почти так же быстро. Как так получается, что та «общественность», которая за два месяца до начала, скажем, Парижской коммуны или гражданской войны в Испании голосовала за умеренный социально-демократический режим, вдруг оказывается готова рисковать жизнью за тех самых ультрарадикалов, получивших лишь небольшую долю голосов? Или, если вернуться в 1968 год, как так вышло, что та самая «общественность», которая, казалось, поддерживала или, по крайней мере, сочувствовала восстанию студентов и рабочих, практически сразу

вернулась на избирательные участки и проголосовала за правое правительство? Стандартные исторические объяснения – что революционеры в действительности не представляли общественность и ее интересы, но публика, возможно, поддалась иррациональному брожению, – разумеется, не годятся. Прежде всего, они исходят из того, что «общественность» – это субъект, имеющий относительно стабильные во времени мнения, интересы и предпочтения. На самом деле то, что мы называем «общественностью», создается посредством специфических институтов, которые допускают одни действия – участие в опросах, просмотр телевидения, голосование, подписание петиций, или составление писем избранным чиновникам, или же участие в публичных слушаниях, – но блокируют другие. Эти рамки действия подразумевают определенные формы речи, мышления, дискуссий, обсуждения. Та «общественность», которая может снисходительно относиться к использованию психоактивных веществ для получения удовольствия, также может регулярно голосовать за то, чтобы такая снисходительность была объявлена вне закона; одна и та же группа граждан способна прийти к совершенно разным решениям по вопросам, касающимся района, где они живут, в зависимости от того, действуют ли они в рамках парламентской системы, системы компьютеризированных референдумов или взаимосвязанных общественных собраний. В действительности из этого факта исходит весь анархистский проект, предполагающий повторное изобретение прямой демократии.

Чтобы проиллюстрировать то, что я имею в виду, я хочу отметить, что в англоговорящих странах группу людей, которую в одном контексте называют «общественностью» (the public), в другом могут обозначить как «рабочую силу» (the workforce). Конечно, «рабочей силой» они становятся тогда, когда вовлечены в различные виды деятельности. «Общественность» не работает – фраза «в большинстве своем американская общественность занята в сфере услуг» никогда не появится в СМИ или исследованиях, и если бы какой-нибудь журналист попытался написать что-нибудь в этом духе, редактор бы это обязательно исправил. Это тем более странно, что общественность должна ходить на работу: именно поэтому, как часто сетуют левые критики, пресса всегда будет говорить о том, как, скажем, забастовка водителей создает помехи общественности, пользующейся транспортом, но им никогда не придет в голову сказать, что бастующие сами являются частью общественности, или что, если им удастся добиться повышения зарплаты, это принесет общественную пользу. И разумеется, «общественность» не выходит на улицы. Ее роль заключается в том, чтобы смотреть общественные спектакли и потреблять общественные услуги. Покупая или используя товары и услуги, производимые частными лицами, та же группа лиц превращается во что-то другое (в «потребителей»), точно так же, как в других ситуациях их называют «нацией», «электоратом» или «населением».

Все эти субъекты – продукты бюрократии и институциональных практик, которые, в свою очередь, задают определенные горизонты возможного. Поэтому, голосуя на парламентских выборах, человек должен чувствовать свою обязанность сделать «реалистичный» выбор; с другой стороны, в условиях восстания все вдруг становится возможным.

«Общественность», «рабочую силу», «электорат», «потребителей» и «население» объединяет то, что их порождают институционализованные рамки действия, бюрократические по сути своей, а значит, ведущие к отчуждению. Голосование в кабинках, телеэкраны, офисные помещения, больницы, ритуалы, их окружающие, – можно сказать, что

это и есть аппарат отчуждения. Все это – инструменты, посредством которых человеческое воображение ломается и уничтожается. Мгновения бунта – это время, когда бюрократический аппарат оказывается нейтрализован. Следствием такой нейтрализации всегда становится резкое расширение горизонтов возможного, и ожидать этого можно лишь в том случае, если одной из главных функций, которые выполняет этот аппарат, является максимальное сужение горизонтов (вероятно, именно поэтому, по блестящему замечанию Ребекки Солнит77, люди зачастую испытывают нечто очень похожее во время природных катастроф). Все это могло бы объяснить, почему за революционными моментами всегда следует разлив социального, художественного и интеллектуального творчества. Неравноправные в обычных условиях структуры отождествления воображения разрушаются; каждый экспериментирует, пытается увидеть мир с необычных точек зрения; каждый чувствует не только право, но, как правило, прямую практическую потребность заново создать и переосмыслить все, что находится вокруг него.

Разумеется, вопрос в том, как сделать так, чтобы те, кто переживает этот опыт, не начали немедленно реорганизовываться в каких-то новых рамках (народа, пролетариата, толпы, нации, уммы или чего бы то ни было еще), ведущих к созданию нового набора правил, норм и бюрократических институтов на их основе, соблюдение которых неизбежно будет обеспечиваться новыми разновидностями полиции. На мой взгляд, в этом отношении наблюдается определенный прогресс. Большая заслуга в этом принадлежит феминизму. По меньшей мере с 1970-х годов среди тех, кто стремился к радикальным переменам, можно проследить осознанную работу по смещению акцента с миллениаристских мечтаний на более приземленные вопросы о том, как на практике проделывать эти «дыры в ткани реальности» небюрократическими методами, чтобы на протяжении длительного времени сохранялась хотя бы часть силы воображения. Это можно было наблюдать уже на крупных Фестивалях сопротивления, которые в период с 1998 по 2003 год организовывало Глобальное движение за справедливость во время торговых саммитов: там замысловатые детали процесса демократического планирования действий были важнее самих действий; но еще ярче это проявилось в 2011 году, во время митингов «арабской весны», масштабных народных собраний в Греции и Испании и, наконец, мероприятий движения «Захвати Уолл-стрит» в Соединенных Штатах. Это были одновременные прямые действия, практические демонстрации того, как реальная демократия может бросить вызов власти, и эксперименты в области форм, которые способны обретать подлинно небюрократический социальный порядок, основанный на мощи практического воображения.

Таков, на мой взгляд, политический урок. Если сопротивляться последствиям реальности, создаваемой всепроникающим структурным насилием – ведь бюрократические нормы словно растворяются в окружающих нас крупных, массивных объектах, в домах, машинах и прочих больших конкретных структурах, вследствие чего мир, регулируемый этими принципами, кажется естественным и неизбежным, а все прочее лишь беспочвенной фантазией, – то воображению можно будет вернуть силу. Но это требует огромной работы.

Власть делает людей ленивыми. Если наши теоретические рассуждения о структурном насилии что-то и показали, то именно это: хотя те, кто наделен властью и привилегиями, зачастую воспринимают их как тяжелое бремя ответственности, по большей части власть – это все то, о чем допустимо вообще не заботиться и не думать. Бюрократия может демократизировать такую разновидность власти, по крайней мере, до определенной степени, но она не способна от нее избавиться. Власть обретает форму институциональной лени. Революционные изменения пьянят, потому что разбивают оковы, сдерживающие воображение, и позволяют понять, что невозможное перестает быть невозможным, но они еще и означают, что людям придется преодолеть лень, к которой они давно привыкли, и очень долгое время заниматься интерпретативным (творческим) трудом для того, чтобы уничтожить эту реальность.

В последние два десятилетия я потратил немало времени на размышления о том, как социальная теория может содействовать этому процессу. Как я уже подчеркивал, саму по себе социальную теорию допустимо рассматривать как радикальное упрощение, разновидность просчитанного незнания, способ надеть шоры так, чтобы обнаружить модели, которые до этого никто не мог разглядеть.

Я пытался расставить ряд маркеров, которые позволят нам увидеть другое. Поэтому я и начал свой очерк именно так, с описания бумажной волокиты, сопровождавшей болезнь и смерть моей матери. Я хотел привнести социальную теорию в те сферы, которые, как кажется, настроены к ней враждебно. Есть мертвые зоны, которые обволакивают нашу жизнь, области, которые настолько лишены какой-либо интерпретативной глубины, что отталкивают любую попытку придать им ценность или значение. Я обнаружил, что есть пространства, где интерпретативная работа не действует. Неудивительно, что нам не нравится о них говорить. Они отталкивают воображение. Но я также верю в то, что мы обязаны взяться за эти пространства, потому что, если мы этого не сделаем, мы рискуем стать пособниками того самого насилия, которое их создает.

Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. В нынешней социальной теории есть тенденция к романтизации насилия, то есть к тому, чтобы представлять насильственные действия как способы посылать драматические сигналы, играть с символами абсолютной власти, очищения и страха. Я не хочу сказать, что это совершенно неверно. Большая часть насильственных действий также является – в данном случае в буквальном смысле – террористическими актами. Но еще я подчеркиваю, что благодаря сосредоточению на этих наиболее драматических аспектах насилия проще игнорировать тот факт, что одна из наиболее заметных черт насилия и создаваемых им ситуаций заключается в том, что оно очень скучно. В американских тюрьмах, которые являются чрезвычайно неприятными местами, самая порочная форма наказания заключается в том, что человека просто запирают на много лет в пустой комнате, где ему совершенно нечем заняться. Это исключение всякой возможности общения или смысла представляет собой самую суть того, что такое насилие и что оно делает. Да, отправить кого-то в одиночную камеру – это способ послать сигнал ему и другим заключенным. Однако смысл этого действия состоит в основном в уничтожении возможности посылать какие-либо сигналы в будущем.

Одно дело сказать, что, когда хозяин сечет раба, он совершает по-своему осмысленное коммуникативное действие, выражающее требование беспрекословного подчинения и в то же время пытающееся создать ужасающий мифический образ абсолютной и произвольной власти. Все это так. Совсем другое дело – утверждать, что только это и происходит или только об этом мы и должны говорить. В конце концов, если мы не будем изучать, что на самом деле означает «беспрекословность» – способность хозяина оставаться в неведении относительно того, как раб воспринимает различные ситуации, неспособность раба сказать что-либо, даже если он узнаёт о каком-нибудь грубом изъятии в рассуждениях господина, вытекающие из этого слепота или тупость, которые вынуждают раба тратить еще больше сил на то, чтобы понять и предугадать путанные мысли хозяина, – разве мы не будем, пусть и в меньшем масштабе, тоже заниматься чем-то сродни порке? Здесь речь не идет о том, чтобы дать слово жертвам. В конечном счете мы говорим об участии в процессе, который затыкает им рот.

Есть и еще одна причина, почему я начал с истории о моей матери и нотариусе. Как показывает мое, на первый взгляд необъяснимое, замешательство в случае с подписями, такие мертвые зоны могут временно сделать дураком любого. Когда я начал размышлять над этим, я не замечал, что большинство этих идей уже получили развитие в феминистской теории местоположенности. Данная теория была настолько маргинальной, что я имел о ней самые смутные представления. Эти территории предстают перед нами в виде некоего бюрократического переплетения слепоты, невежества и абсурда, и вполне понятно, почему приличные люди стараются их избегать – действительно, самая эффективная стратегия политического освобождения, существующая на сегодняшний день, заключается именно в том, чтобы их игнорировать, – однако делая вид, что их нет, мы подвергаем себя риску.

ГЛАВА II. О летающих автомобилях и снижении нормы прибыли

«Нынешняя реальность – это бета-версия грез научных фантастов.

Ричард Барбрук

Всех нас, живущих в XXI веке, охватывает тайное чувство стыда. Но никто, похоже, не хочет этого признавать.

Те, кто находится в самом расцвете лет, кто разменял пятый или шестой десяток, переживают это чувство острее, но, в более широком смысле, его разделяет каждый. В его основе лежит глубокая неудовлетворенность миром, где мы живем, ощущение, что торжественное обещание, данное нам в детстве о будущем, в котором мы будем существовать, когда станем взрослыми, оказалось невыполненным. Здесь я имею в виду не обычные ложные заверения, которыми всегда успокаивают детей (что мир справедлив, власти благонамеренны, а тот, кто упорно трудится, будет вознагражден), а вполне конкретное обещание, данное тем, кто был ребенком в 1950, 1960, 1970 и даже 1980-е годы, – его не формулировали в виде клятвы, а скорее в форме набора предположений о том, каким будет мир, когда мы вырастем. И поскольку этого толком и не обещали, сегодня, когда ничего так и не произошло, мы оказались в растерянности; мы возмущены и в то же время стесняемся своего возмущения, стыдясь того, что были настолько глупы, что верили старшим.

Я, естественно, имею в виду поразительное отсутствие летающих автомобилей в XXI веке.

Да, конечно, не только летающих автомобилей. Меня они на самом деле не волнуют – я вообще не вожу машину. Я имею в виду те технологические чудеса, которые, как думали все дети второй половины XX века, уже будут существовать в нынешнее время. Их список мы все знаем: силовые поля, телепортация, антигравитационные поля, трикодеры, притягивающие лучи, таблетки бессмертия, переход в анабиоз, андроиды, колонии на Марсе. Что с ними случилось? До сих пор повсюду продолжают трубить, что мечта вот-вот станет реальностью – клоны, например, или криогеника, лекарства против старения или плащи-невидимки, – но даже в тех случаях, когда эти новшества не оказываются ложными обещаниями, они все равно никуда не годятся. Спросите о любом из них, и обычным ответом будут ритуальные восхваления компьютерного прогресса – на что вам антигравитационные

сани, если у вас может быть вторая жизнь? Как будто это своего рода непредусмотренная компенсация. Но даже здесь мы и близко не подошли к тому миру, каким представляли его себе люди 1950-х годов. У нас так и не появилось компьютеров, с которыми можно вести интересные беседы, или роботов, выгуливающих собак или развешивающих постиранное белье.

Как человек, которому было восемь лет, когда произошла высадка экипажа «Аполлона» на Луну, я очень хорошо помню, как посчитал, что в волшебном 2000 году мне исполнится тридцать девять лет, и гадал, каким станет общество. Правда ли я считал, что буду жить в мире, полном таких чудес? Конечно. Все так думали. Чувствую ли я себя обманутым? Разумеется. Естественно, я не надеялся, что увижу все то, о чем мы читали в научно-фантастических романах, в течение своей жизни (даже если предположить, что к тому времени уже нашли бы какое-нибудь новое лекарство, обеспечивающее долголетие). Если бы меня спросили тогда, я бы ответил, что на моем веку воплотится половина этих чудес. Мне и в голову не могло прийти, что я не увижу ни одного из них.

Меня всегда поражало и завораживало молчание, окутывавшее эту проблему в общественных дебатах. Иногда в интернете можно увидеть жалобы на отсутствие летающих автомобилей, но они либо очень сдержанны, либо совсем уж маргинальны. По большей части к этому вопросу относятся как к табу. На рубеже тысячелетий, например, я ждал, что в массовых СМИ появится вал дискуссий сорокалетних о том, каким мы надеялись увидеть мир 2000 года и почему все пошло не так. Я не нашел ни одной. Напротив, почти все авторитетные авторы – и правые, и левые – начинали свои рассуждения с довода о том, что эра технологических чудес на самом деле наступила.

В очень значительной степени это молчание обусловлено страхом того, что тебя назовут наивным и высмеют. Если кто-то поднимет этот вопрос, ему, вероятно, придется услышать ответы вроде: «А, так это вы про всякие штуки Джетсонов[4]?» Типа – так это ж было для малышей! Мы, взрослые, должны понимать, что будущее Джетсонов так же реалистично, как и прошлое Флинстоунов[5]. Но Джетсонами, разумеется, дело не ограничивалось. Все серьезные научные материалы для детей 1950, 1960, 1970 и даже 1980-х годов (журнал *Scientific American*, образовательные телепередачи, сеансы в планетариях в национальных музеях), все авторитетные источники, которые говорили нам о том, как выглядит Вселенная, рассказывали, почему небо голубое, и объясняли периодическую систему элементов, тоже уверяли нас, что в будущем появятся колонии на других планетах, роботы и устройства для преобразования материи, а мир будет скорее походить на «Звездный путь», чем на тот, что окружал нас.

Тот факт, что все эти источники ошибались, не просто создает глубокое ощущение невыразимого предательства, но и выявляет определенные концептуальные проблемы, касающиеся даже того, как мы должны говорить об истории теперь, когда все оказалось не таким, каким мы представляли. Есть ситуации, в которых мы не можем просто всплеснуть руками и смириться с расхождениями между нашими ожиданиями и реальностью. Одно из таких несоответствий можно проследить в научной фантастике. В XXI веке создатели научно-фантастических фильмов привязывали свои грезы о будущем к конкретным датам. Зачастую речь шла о сроках, не превышавших одного поколения. Так, в 1968 году Стэнли

Кубрик решил, что зрители сочтут вполне естественной мыслью о том, что всего через тридцать три года, в 2001 году, у нас будут рейсовые полеты на Луну, космические станции, похожие на города, и человекоподобные компьютеры, которые будут поддерживать космонавтов в анабиозе во время путешествия на Юпитер⁷⁸. На самом деле единственной новой технологией из «Космической одиссеи 2001 года», которая действительно появилась, стали видеофоны, но технически их создание было возможно уже в 1968 году – просто в те времена их нельзя было выпустить на рынок, потому что они были никому не нужны⁷⁹. Подобные проблемы возникают всякий раз, когда какой-нибудь писатель или программа пытаются создать большой миф. Во вселенной, которую придумал Ларри Нивен и о которой я читал подростком, люди нашего десятилетия (2010-х годов) живут при мировом правительстве ООН и создают свою первую колонию на Луне, одновременно пытаются справиться с социальными последствиями достижений медицины, благодаря которым возник класс бессмертных богачей. В мифе «Звездного пути», помещенном примерно в то же время, население приходит в себя после свержения господства сверхлюдей, созданных методами генной инженерии в ходе Евгенических войн 1990-х годов, которые закончились тем, что мы всех их стерли в порошок в космосе. Авторы, писавшие сценарии «Звездного пути» в 1990-е годы, были вынуждены придумать альтернативные реалии и хронологию для того, чтобы не развалилась вся сюжетная линия.

К 1989 году, когда создатели фильма «Назад в будущее – 2» добросовестно наделили летающими автомобилями и антигравитационными скейтбордами обычных подростков 2015 года, не было ясно, было ли это серьезным предсказанием, данью прежним традициям воображаемого будущего или немного горькой шуткой. Так или иначе, это был один из последних фильмов, показывавших подобные вещи. В дальнейшем научно-фантастическое будущее стало неутопичным, представляя то в виде мрачного технофашизма, то в виде варварства каменного века, как в «Облачном атласе», то в других, нарочито расплывчатых формах: писатели избегают называть даты, вследствие чего «будущее» становится областью чистой фантазии, не сильно отличающейся от Средиземья или Киммерии. Они могут даже поместить будущее в прошлом, как в «Звездных войнах»: «Давным-давно, в далекой-далекой галактике». Чаще всего это будущее – и не будущее вовсе, а скорее какое-то альтернативное измерение, сон, некое технологическое Далёко, существующее в грядущем в таком же смысле, в каком эльфы и истребители драконов существовали в прошлом; просто еще один экран, на котором показывают нравственные драмы и мифические фантазии. Научная фантастика стала очередным набором декораций, в котором можно снять вестерн, военное кино, фильм ужасов, шпионский боевик или просто сказку.

Тем не менее мне кажется, что было бы неправильно говорить, что наша культура полностью устранилась от проблемы технологического разочарования. Замешательство, вызванное ею, привело к тому, что мы не хотим открыто к ней обращаться. Вместо этого, как бывает со многими другими культурными травмами, мы перенесли боль в другую сферу; мы можем рассуждать о ней только тогда, когда думаем, что рассуждаем о чем-то еще.

На мой взгляд, в ретроспективе вся культурная восприимчивость рубежа веков, которую стали называть «постмодернизмом», может рассматриваться лишь как продолжительное размышление о так и не произошедших технологических изменениях. Эта мысль впервые пришла мне в голову, когда я смотрел один из новых эпизодов «Звездных войн». Фильм был ужасен. Но меня не могло не впечатлить качество картинки. Вспоминая все неуклюжие спецэффекты научно-фантастических фильмов 1950-х годов, в которых жестяные космические корабли тянули едва ли ни невидимыми веревками, я подумал: «Сильно бы удивились зрители 1950-х годов, если бы узнали, что мы можем делать сегодня?» И сразу понял: «Да нет же. Их это вообще бы не впечатлило, правда. Они думали, что именно такие вещи мы и будем делать. А не просто придумывать все более сложные методы для того, чтобы их симулировать».

Это последнее слово «симулировать» имеет ключевое значение. Технологический прогресс, который мы наблюдали с 1970-х годов, касался в основном информационных технологий, то есть технологий симуляции. Это те вещи, которые Жан Бодрийяр и Умберто Эко называли «гиперреальными» – они позволяют создавать имитации, выглядящие реальнее оригинала. Все постмодернистское мировоззрение, ощущение, что мы в какой-то степени внезапно оказались в совершенно новом историческом периоде и поняли, что ничего нового в нем нет; что все теперь – это симуляция, ироническое повторение, фрагментация и подделка, – все это имеет смысл лишь в такой технологической среде, где по-настоящему крупными прорывами стали возможности создавать, переносить и перетасовывать виртуальные проекции вещей, которые либо уже существуют, либо, как мы теперь осознали, существовать никогда не будут. Разумеется, если бы мы действительно проводили отпуска в геодезических куполах на Марсе или носили с собой карманные электростанции ядерного синтеза или телекинетические устройства, читающие мысли, никто бы об этом и не говорил. «Постмодернизм» просто был отчаянным способом сжиться с тем, что, в противном случае, воспринималось бы как горькое разочарование, и представить это как нечто эпохальное, увлекательное и новое.

Стоит отметить, что в самых ранних определениях постмодернизма, которые в основном отталкивались от марксистской традиции, значительная часть этого технологического подтекста даже не была подтекстом, а выражалась довольно откровенно. Вот отрывок из книги Фредрика Джеймисона «Постмодернизм, или Логика культуры позднего капитализма» 1984 года:

“ Будет уместным напомнить о том, какой восторг вызывали машины в капиталистическую эпоху, предшествовавшую нашей, особенно как ими был опьянен футуризм и как Маринетти прославлял пулемет и автомобиль. И поныне сохраняются видимые эмблемы, структурные энергетические узлы, придающие осязаемость и оформленность кинетической энергии зарождающейся модернизации... способы, при помощи которых в 30-е годы XX века художники-революционеры или коммунисты пытались направить восторг, вызываемый машинной энергией, на прометееву перестройку всего человеческого общества.

Совершенно очевидно, что технология нашего времени уже не обладает такой способностью выражения: это не турбина, не элеваторы и не трубы Шилера, не барочная отделка труб и конвейерных лент и даже не обтекаемые очертания железнодорожных составов, как и прочих скоростных транспортных средств, а компьютер, чей облик не обладает символической или визуальной силой, или даже внешний вид самих различных информационных устройств, как, например, бытовой электроприбор под названием телевизор, который ничего не выражает, а скорее затягивает, неся в себе собственную сплюснутую изобразительную поверхность⁸⁰.

Некогда огромная физическая сила технологий дала нам ощущение, будто история на всех парах несется вперед, а теперь мы довольствуемся мельканием изображений на экранах.

Изначально Джеймисон предложил термин «постмодернизм» для обозначения культурной логики, свойственной новой фазе капитализма, которую Эрнест Мандель еще в 1972 году назвал «третьей технологической революцией». Человечество, как утверждал Мандель, находится на пороге глубочайшей трансформации, сравнимой с сельскохозяйственной и промышленной революциями: в ее процессе компьютеры, роботы, новые источники энергии и информационные технологии заменят старомодный промышленный труд (вскоре это назвали «концом труда») и превратят всех нас в дизайнеров и программистов, которые будут придумывать сумасшедшие образы, воплощаемые в жизнь кибернетическими фабриками⁸¹. Споры о конце труда стали популярны в конце 1970-х – начале 1980-х годов, когда радикальные мыслители задумались о том, что произойдет с традиционной борьбой рабочего класса, когда самого рабочего класса не станет (ответ: она превратится в политику идентичности).

Джеймисон полагал, что занимался изучением форм сознания и исторического восприятия, которые могут возникнуть в этой начинающейся новой эпохе. Разумеется, как все мы знаем, эти технологические прорывы так и не случились. Произошло распространение информационных технологий, а новые методы организации транспорта – например, контейнеризация перевозок – позволили перенести те же виды промышленного труда в Восточную Азию, Латинскую Америку и другие регионы, в которых доступность дешевого труда давала промышленникам возможность применять на производстве намного менее сложные технологические приемы, чем те, что им пришлось бы использовать дома. Действительно, с точки зрения жителей Европы, Северной Америки и даже Японии, результаты, на первый взгляд, были предсказуемыми. Традиционные промышленные производства постепенно исчезли; рабочие места разделились между нижним слоем обслуживающих сотрудников и верхним слоем тех, кто сидит в антисептических пузырях и играет в компьютер. За всем этим таилось неприятное осознание того, что вся эта новая цивилизация посттрудоу эпохи, собственно говоря, надувательство. Наши тщательно продуманные высокотехнологические кроссовки на самом деле производятся не умными киборгами или при помощи самовоспроизводящейся молекулярной нанотехнологии; их делают на аналогах старых швейных машинок «Зингер» дочери мексиканских и индонезийских крестьян, лишившихся земель своих предков в результате торговых сделок, заключенных при поддержке ВТО или НАФТА. На мой взгляд, из этого ощущения вины и

исходит постмодернистское мировоззрение с присущими ему восхвалением бесконечной игры образов и поверхностей и утверждением о том, что в конечном счете все модернистские нарративы, которые должны были придать этим образам глубину и реальность, оказались насквозь лживы.

Так почему взрывной рост технологий, который все ожидали – базы на Луне, роботизированные фабрики, – так и не материализовался? С точки зрения логики этому может быть только два объяснения. Либо наши ожидания относительно темпов технологических изменений были нереалистичными – и в этом случае мы должны задаться вопросом, почему так много людей, умных в прочих отношениях, полагали обратное. Либо наши ожидания в целом не были нереалистичными – и в этом случае мы должны спросить, что именно нарушило ход технологического развития.

Когда сегодняшние исследователи культуры рассматривают этот вопрос (а делают они это редко), они неизменно выбирают первый вариант. Распространенный подход состоит в том, чтобы искать корни проблемы в иллюзиях, созданных в рамках космической гонки времен холодной войны. Многие спрашивали, почему и США, и Советский Союз были так одержимы идеей пилотируемых космических полетов в 1950, 1960 и 1970-е годы? Ведь они не считались эффективным методом ведения научных исследований. Не в том ли было дело, что столетием ранее и американцы, и русские являлись обществами первопроходцев: первые покоряли Дикий Запад, а вторые – Сибирь? Не помогла ли присущая тем и другим приверженность к мифу о безграничном, постоянно расширяющемся будущем, о колонизации огромных пустых пространств убедить лидеров обеих супердержав в том, что они вступили в новую «космическую эпоху», в которой они боролись за контроль над самим будущим? И не привела ли эта борьба к складыванию у обеих сторон совершенно нереалистичных представлений о том, каким должно быть это будущее?⁸²

Конечно, во всем этом есть зерно истины. Это были мощные мифы. Но большинство великих человеческих проектов исходит из того или иного мифического мировоззрения – само по себе это ничего не говорит о том, насколько сам проект осуществим. В этом очерке я хочу рассмотреть второй вариант. Мне кажется, что есть веские основания полагать, что как минимум некоторые из этих представлений по сути своей не были нереалистичными – и что по крайней мере некоторые научные фантазии (на настоящий момент мы не можем знать, какие именно) можно было бы воплотить в жизнь. Наиболее очевидная причина заключается в том, что в прошлом такое уже бывало и не раз. В конце концов, если, читая Жюль Верна или Герберта Уэллса, какой-нибудь подросток на рубеже веков пытался вообразить, каким будет мир, скажем, в 1960 году, он представлял себе планету летающих машин, ракетных кораблей, подводных лодок, новых форм энергии и беспроводной коммуникации... и это более или менее и получилось. Если в 1900 году не было нереалистичным мечтать о полетах человека на Луну, то почему в 1960-е годы было нереалистичным мечтать о реактивных ранцах и роботах-прачках? Если с 1750 по 1950 год постоянно появлялись новые источники энергии (паровая, электрическая, нефтяная, атомная...), то так ли уж необоснованно было представлять, что мы увидим хотя бы еще

один ее альтернативный вид?

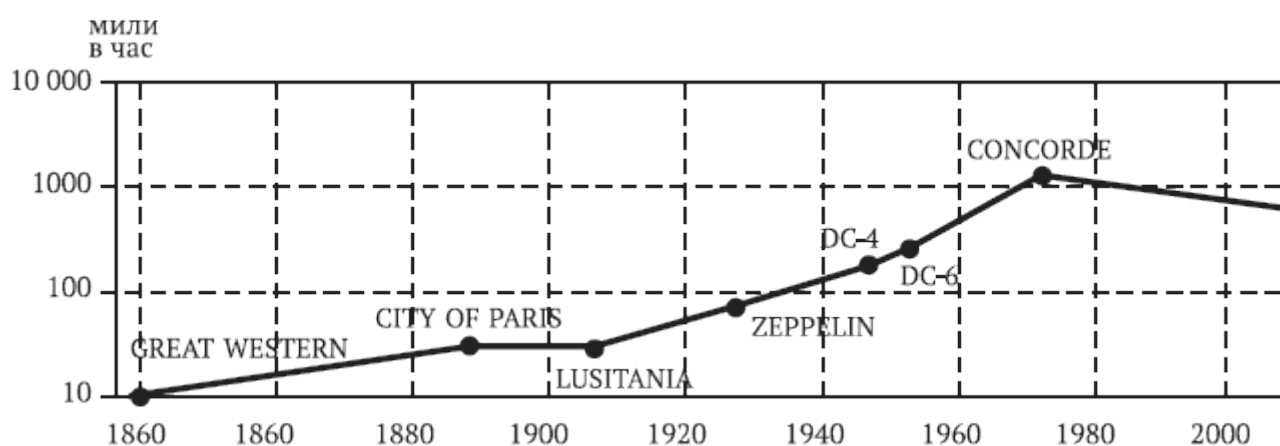
Есть основания считать, что уже в 1950–1960-е годы реальные темпы технологических инноваций начали снижаться по сравнению со стремительными темпами первой половины столетия. Последний всплеск изобретений произошел в 1950-е годы, когда одни за другими появились микроволновые печи (1954), противозачаточные таблетки (1957) и лазеры (1958). Но затем наиболее впечатляющие достижения в основном заключались либо в новых методах комбинирования уже существующих технологий (как это было в космической гонке), либо в новых способах адаптации существующих технологий для потребительского использования (самым известным примером здесь является телевизор, который был изобретен в 1926 году, но начал массово производиться лишь на рубеже 1940-х и 1950-х годов с целью создать новый потребительский спрос и не дать американской экономике опять сползти в депрессию). И все же космическая гонка помогла укрепиться мысли о том, что это была эпоха значительных достижений – в 1960-е господствовало представление о том, что темпы технологических изменений ускорялись, приобретая ужасающие, неконтролируемые масштабы. Прорывной бестселлер «Шок будущего» Элвина Тоффлера, опубликованный в 1970 году, можно рассматривать как высшее проявление такого образа мыслей. В ретроспективе эта книга завораживает и представляется поучительной⁸³.

Тоффлер утверждал, что почти все социальные проблемы 1960-х годов можно объяснить ускоряющимися темпами технологических изменений. Он считал, что по мере того, как бесконечный поток новых научных открытий постоянно менял самые основы нашего повседневного существования, американцы лишались ориентиров и не имели ясного представления о том, как должна выглядеть нормальная жизнь. Тоффлер отмечал, что, возможно, очевиднее всего это проявлялось на уровне семьи – не только противозачаточные таблетки, но и перспективы искусственного оплодотворения, получения детей из пробирки и донорство спермы и яйцеклеток могли сделать устаревшей саму идею материнства. Подобные явления Тоффлер усматривал и во всех остальных сферах социальной жизни – ничто больше не могло считаться само собой разумеющимся. Но люди психологически не были готовы к таким темпам изменений. Этот феномен он обозначил термином «сила ускорения». Убыстрение темпов технологических достижений вероятно началось с промышленного переворота, но лишь примерно с 1850 года, утверждал он, последствия его стали очевидными. Вокруг не просто все менялось – весь массив человеческих знаний, численность населения, промышленный рост, объем потребляемой энергии и все прочее росло в геометрической прогрессии. Тоффлер настаивал на том, что единственным выходом было внедрение некоего демократического контроля над этим процессом: определенные институты должны оценивать новые технологии и последствия, к которым они могут привести, запрещать те новшества, которые могут оказаться разрушительными для общества, и направлять развитие таким образом, чтобы способствовать укреплению социальной гармонии.

Поразительно, что, хотя Тоффлер верно описывает многие исторические тенденции, сама его книга появилась как раз в тот момент, когда большинство из них подошло к концу. Например, именно с 1970 года количество публикуемых в мире научных работ, которое удваивалось каждые пятьдесят лет начиная примерно с 1685 года, перестало расти с прежней скоростью. То же касается книг и патентов. В других сферах рост не просто

замедлился, а вообще прекратился. Выбранное Тоффлером слово «ускорение» оказалось на редкость неудачным. На протяжении большей части человеческой истории максимальная скорость, с которой люди могли передвигаться, составляла около 25 миль в час. К 1900 году она выросла до 100 миль в час, а в следующие семьдесят лет она росла по экспоненте. В 1970 году, когда Тоффлер писал свою книгу, рекорд скорости, с которой когда-либо передвигался человек, составлял 24 791 миль в час – на такой скорости экипаж «Аполлона-10» вернулся в земную атмосферу в 1969 году, всего годом ранее. При таких темпах было вполне разумно предположить, что всего через несколько десятилетий человечество приступит к исследованию других солнечных систем. Тем не менее после 1970 года никакого увеличения скорости не произошло. Рекордом остается достижение экипажа «Аполлона-10». Конечно, максимальная скорость полетов гражданских самолетов – 1400 миль в час – была достигнута годом позже, в 1971 году, когда поднялся в воздух «Конкорд». Но с тех пор скорость авиалайнеров не только не выросла, а, напротив, упала после того, как в 2003 году от эксплуатации «Конкорда» отказались (рис. 5)^{84, 85}.

Рисунок 5



Тот факт, что Тоффлер ошибся почти во всем, не оказал пагубного влияния на его карьеру. Харизматичные пророки редко страдают, если их пророчества не сбываются. Тоффлер продолжил заниматься аналитикой и каждое десятилетие выступал с новыми громкими заявлениями, которые всегда получали признание и восхищение публики. В 1980 году он выпустил книгу под названием «Третья волна»⁸⁶, напрямую заимствовав идею «третьей технологической революции» Эрнеста Манделя, за тем лишь исключением, будто если Мандель утверждал, что эти изменения покончат с капитализмом, то Тоффлер просто решил, что капитализм будет жить вечно. К 1990 году он стал личным интеллектуальным гуру конгрессмена-республиканца Ньюта Гингрича, который заявил, что его собственный «Контракт с Америкой» 1994 года отчасти отталкивался от представлений о том, что Соединенные Штаты должны перейти от устаревшего, материалистического, индустриального мировоззрения к новой рыночной, информационной цивилизации Третьей волны.

Во всем этом есть ирония судьбы. Возможно, одним из главных настоящих достижений «Шока будущего» стало то, что эта книга способствовала созданию в 1972 году Управления оценки технологий, которое более или менее отвечало на призыв Тоффлера установить

демократический надзор за потенциально разрушительными технологиями. Одним из первых действий Гингрича после получения контроля над Конгрессом в 1995 году было прекращение финансирования управления, которое было представлено как пример бесполезных правительственных трат. И вновь это, казалось, несколько не потревожило Тоффлера. К этому времени он уже давно перестал воздействовать на политику призывами к общественности, да и вообще отказался от попыток как-либо повлиять на политические дебаты; он зарабатывал на жизнь проведением семинаров для исполнительных директоров компаний и завсегдатаев корпоративных мозговых центров. Его мысли оказались приватизированы.

Гингричу нравилось называть себя «консервативным футурологом». Это может показаться оксюморонам, но, если вы взглянете на творчество Тоффлера в ретроспективе, политика гуру точно совпадает с политикой его ученика, и удивительно скорее то, что кто-то видел в нем нечто другое. Сюжет «Шока будущего» – это квинтэссенция консерватизма. Прогресс всегда представляли как проблему, для которой нужно найти решение. Конечно, на первый взгляд, в качестве выхода он предлагал демократический контроль, но «демократический», разумеется, означал «бюрократический», то есть создание группы экспертов, которые должны были решать, какие изобретения принимать, а какие ставить на полку. В этом смысле Тоффлера правильнее считать поздней, интеллектуально облегченной версией Огюста Конта, социального теоретика начала XIX века. Конт тоже думал, что стоит на пороге новой эры (в его случае это была промышленная эпоха), определяемой неумолимым технологическим прогрессом, и что социальные катаклизмы его времени на самом деле порождались общественной системой, которая не сумела к нему адаптироваться. Старый феодальный порядок создал не только католическую теологию, то есть набор представлений о месте человека во Вселенной, которые прекрасно подходили к общественной системе того времени, но и институциональную структуру – церковь, что насаждала эти идеи таким образом, что каждый осознавал осмысленность и сопричастность своего бытия. Нынешняя промышленная эпоха разработала собственную систему представлений (науку), однако ученые не преуспели в создании чего-либо похожего на католическую церковь. Конт заключал, что мы обязаны развивать только что появившуюся науку, названную им «социологией», и что социологи должны стать кем-то вроде священников в новой религии общества, которая внушит массам любовь к порядку, чувство общности, рабочую дисциплину и патриархальные семейные ценности. Тоффлер был не настолько амбициозен: не предполагалось, что его футурологи будут играть роль служителей алтаря. Однако он разделял то же представление, что технология ведет человечество к великому историческому перелому, тот же страх социального краха и, раз уж на то пошло, то же навязчивое стремление сохранить возвышенную функцию материнства – Конт хотел поместить образ беременной женщины на флаге своего религиозного движения.

Другой гуру Гингрича был открыто религиозен. Им стал Джордж Гилдер, либертарианский теолог и, среди прочего, автор «Технологического отчета Гилдера». Он тоже был одержим соотношением технологий и социальных изменений, но, как ни странно, оказался настроен намного оптимистичнее. Придерживаясь еще более радикальной версии концепции Третьей волны Манделя, он утверждал, что развитие компьютеров, которое мы наблюдаем с 1970-х годов, – это настоящий «переворот материи». Старое материалистическое, индустриальное

общество, где стоимость создавалась физическим трудом, уступало место информационной эпохе, в которой стоимость возникала напрямую из умов предпринимателей так же, как мир изначально появился на пустом месте из разума Господа, так же, как деньги в правильной экономике предложения появляются на пустом месте из Федеральной резервной системы и в руках креативных капиталистов, создающих прибыль. Политика, направленная на стимулирование предложения, заключал он, обеспечит дальнейшее перетекание инвестиций от старых бессмысленных затей правительства вроде космической программы к более производительным информационным и медицинским технологиям.

Гилдер, начавший свою карьеру с заявления о том, что он хочет стать «первым антифеминистом Америки», также утверждал, что такое благоприятное развитие можно обеспечить лишь последовательным насаждением традиционных семейных ценностей. Он не предложил новой религии общества. Он не считал, что ему это нужно делать, ведь эту работу вполне могло выполнить христианское евангелическое движение, которое уже вступало в странный союз с правыми либертарианцами⁸⁷.

Возможно, не стоило так долго задерживаться на этих пусть и влиятельных, но эксцентричных персонажах. Прежде всего, они очень сильно запоздали. Если бы действительно имел место осознанный или полусознанный переход от вложений в исследования, которые привели бы к созданию лучших ракет и роботов, к инвестициям в исследования, которые бы обеспечили появление таких вещей, как лазерные принтеры и томографы, он начался бы до появления «Шока будущего» Тоффлера (1970) и уж тем более «Богатства и бедности» Гилдера (1981)⁸⁸. Их успех показывает, что затронутые ими вопросы – обеспокоенность тем, что существующие модели технологического развития приведут к социальным потрясениям, и осознание необходимости направлять технологическое развитие таким образом, чтобы оно не подрывало существующие властные структуры, – нашли широкий отклик в высших коридорах власти. Есть все основания полагать, что государственные мужи и капитаны индустрии сами размышляли над этими проблемами на протяжении долгого времени⁸⁹.

Так что же произошло? В оставшейся части этого очерка, состоящего из трех частей, я рассмотрю различные факторы, которые, на мой взгляд, способствовали тому, что ожидавшееся нами технологическое будущее так и не наступило. Эти факторы делятся на две большие группы. Первые носят политический характер и связаны с осознанным изменением распределения средств, выделяемых на исследования; факторы второй группы – бюрократического свойства и сопряжены с изменением природы систем, которые управляют научными и технологическими исследованиями.

Тезис

Судя по всему, начиная с 1970-х годов, произошел масштабный переход от инвестиций в технологии, связанные с возможностью построения альтернативного будущего, к инвестициям в технологии, которые усилили трудовую дисциплину и контроль над обществом.

Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а стало быть, и всей совокупности общественных отношений... Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями и воззрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все сословное и застойное исчезает, все священное оскверняется, и люди приходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положение и свои взаимные отношения.

- Маркс и Энгельс. *Манифест коммунистической партии (1847)*

“ Я говорил, что смех очень важен; что он является прямым опровержением той этики и морали, которые были насаждены в стране для того, чтобы заставить людей и дальше участвовать в безумной, бессмысленной гонке, потому что всего через несколько лет машины в любом случае будут выполнять всю работу; что существует целая система ценностей, которая учила людей откладывать свои удовольствия, класть все свои деньги в банк, покупать себе страхование жизни и целую кучу вещей, которая для нашего поколения не имеет никакого смысла.

- Эбби Хоффман на процессе по делу «Чикагской семерки» (1970)

С самого своего появления в XVIII веке система, которую стали называть «промышленным капитализмом», обеспечивала чрезвычайно высокие темпы развития науки и технологических инноваций, не имевшие аналогов в предшествующие эпохи. Ее сторонники всегда использовали этот факт в качестве убедительного оправдания эксплуатации, нищеты и уничтожения различных сообществ, к которым привела эта система. Даже самые известные ее обличители, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, были готовы хвалить капитализм хотя бы за изумительное высвобождение «производительных сил». Маркс и Энгельс также полагали, что в конечном счете сама эта тенденция или, если точнее, потребность капитализма в радикальном преобразовании средств промышленного производства обречет его на гибель.

Вероятно, они были правы? И возможно, в 1960-е годы капиталисты как класс стали это понимать?

Маркс особенно настаивал на том, что по определенным техническим причинам стоимость, а значит, и прибыль можно извлекать только из человеческого труда. Конкуренция заставляет владельцев фабрик механизировать производство ради снижения трудовых издержек, однако, хотя отдельные компании и получают за счет этого краткосрочные преимущества, общим следствием такой механизации является уменьшение общей доли прибыли для всех компаний. Уже почти два столетия экономисты спорят о том, так ли это. Но если это правда, то решение промышленников, кажущееся загадочным при рассмотрении с других точек зрения и заключающееся в том, чтобы не направлять средства

на изобретение роботизированных фабрик, о которых все говорили в 1960-е годы, а переносить производство на более трудоемкие и низкотехнологичные предприятия в Китае или на глобальном Юге, выглядит логичным⁹⁰.

Как я уже отмечал, есть основания полагать, что темпы внедрения технологических инноваций в производственные процессы – собственно, на фабриках – начали заметно снижаться уже в 1950-е и 1960-е годы. Разумеется, в те времена это выглядело не как вследствие побочных эффектов соперничества Соединенных Штатов с Советским Союзом. Все было иначе, судя по всему, по двум причинам. Прежде всего, это была осознанная политика: в годы холодной войны разработчики планов развития американской промышленности исступленно пытались найти способы⁹¹ применить существующие технологии для производства потребительских товаров, создать оптимистическое ощущение быстрого роста благосостояния и гарантированного прогресса, который, как считалось, лишит притягательности радикальные политические призывы рабочего класса. Знаменитые «кухонные дебаты» 1959 года между Ричардом Никсоном и Никитой Хрущевым довольно откровенно выразили суть этой политики: «Ваше коммунистическое “государство рабочих”, возможно, и обогнало нас в космосе, – эффектно заявил Никсон, – но капитализм создает такие технологии, как посудомоечные машины, которые действительно улучшают жизнь трудящихся масс». Второй причиной стала космическая гонка. В обоих случаях инициатива действительно исходила от Советского Союза. Американцам все это трудно вспомнить, потому что после окончания холодной войны массовое восприятие СССР быстро изменилось – от наводящего ужас соперника до жалкой страны, балансирующей на грани краха и представляющей собой пример общества, которое «просто не работало». В 1950-е годы американские плановики подозревали, что советская система, вероятно, функционировала намного лучше, чем их собственная. Конечно, они помнили, что в 1930-е годы, когда Соединенные Штаты увязли в депрессии, Советский Союз показывал почти беспрецедентные темпы роста на уровне 10–12 % в год – за этим достижением последовало создание громадных танковых армий, которые разгромили Гитлера, и, разумеется, запуск спутника в 1957 году, а затем и первого пилотируемого космического корабля «Восток» в 1961 году. Когда Хрущев уверял Никсона, что уровень жизни в Советском Союзе через семь лет превысит показатели США, многие американцы опасались, что он, возможно, окажется прав.

Часто говорят, что высадка «Аполлона» на Луну стала величайшим историческим достижением советского коммунизма. Мол, Соединенные Штаты никогда бы не сподобились на такой подвиг, если бы не космические амбиции советского Политбюро. Но такая формулировка несколько ошарашивает. «Космические амбиции»? Мы привыкли считать Политбюро группой серых бюрократов, лишенных воображения, но, хотя Советским Союзом, безусловно, управляли бюрократы, они с самого начала осмеливались лелеять изумительные мечты (вера в свершение мировой революции была лишь одной из них). Разумеется, большая часть их грандиозных проектов – разворот могучих рек и тому подобные планы – либо имели катастрофические экологические или социальные последствия, либо, как в случае сталинского замысла строительства стоэтажного Дворца Советов, венчавшегося двадцатиэтажной статуей Ленина, так и не были осуществлены. И после начального успеха советской космической программы большинство намерений так и застряли на этапе чертежей. Но советские лидеры постоянно придумывали что-то новое.

Даже в 1980-е годы, когда Соединенные Штаты пытались осуществить свой последний – и неудачный – грандиозный план, а именно «Звездные войны», Советы все еще разрабатывали способы преобразования мира посредством творческого применения технологий. За пределами России мало кто помнит обо всех этих задумках, но на них выделялись большие ресурсы. Также стоит отметить, что, в отличие от проекта «Звездных войн», который носил чисто военный характер и преследовал цель потопить Советский Союз, они в основном были мирными, как, например, попытка победить голод путем разведения в озерах и океанах съедобной бактерии под названием «спирулина» или решить проблему обеспечения энергией посредством захватывающего дух плана запуска на орбиту сотен гигантских солнечных батарей и транспортировки полученной энергии обратно на Землю⁹².

Даже золотая эпоха научной фантастики, которая пришлась на 1950-е и 1960-е годы и во время которой впервые был создан стандартный перечень будущих изобретений (силовые поля, притягивающие лучи, сверхсветовые двигатели), знакомых каждому современному восьмилетнему ребенку (в этом можно быть почти так же уверенными, как и в том, что он знает, что чеснок, кресты, колья и солнечный свет лучше всего подойдут для расправы с вампирами), наступила в Соединенных Штатах и в СССР в одно и то же время⁹³. Или возьмите «Звездный путь», эту квинтэссенцию американской мифологии. Разве Федерация планет, с ее возвышенным идеализмом, строгой военной дисциплиной и кажущимся отсутствием классовых различий и сколько-нибудь заметных признаков многопартийной демократии, не представляет собой американизированную версию более мягкого и мирного Советского Союза, такого, который на самом деле «работал»?⁹⁴

В «Звездном пути» особенно примечательным мне кажется то, что в нем не только нет признаков демократии, но и почти никто не замечает ее отсутствия. Конечно, вселенная «Звездного пути» бесконечно дорабатывалась во множестве сериалов, фильмов, книг и комиксов и даже в энциклопедиях, не говоря уже о самых разных произведениях, созданных по его мотивам за несколько десятилетий, и вопрос о политическом устройстве Федерации рано или поздно должен был всплыть. И когда это произошло, никто не мог сказать, что она не являлась демократией. Поэтому были вброшены одно или два замечания о том, что в Федерации есть избранные президент и парламент. Но это бессмысленно. Признаки настоящей демократической жизни в этой истории полностью отсутствуют – никто даже походя не упоминает о выборах, политических партиях, неоднозначных вопросах, опросах общественного мнения, лозунгах, референдумах, протестах или кампаниях. Основывается ли «демократия» Федерации на партийной системе? Если да, то где эти партии? Какую философию или чьи интересы выражает каждая из них? В 726 эпизодах мы не встречаем ни малейшего намека на это⁹⁵.

На это могут возразить: сами персонажи являются членами Звездного флота. Они – военные. Это так, но в настоящих демократических обществах или даже в конституционных республиках вроде Соединенных Штатов солдаты и моряки регулярно выражают свое мнение по самым разным политическим вопросам. В Звездном флоте вы не найдете никого, кто бы сказал: «Я бы никогда не стал голосовать за этих идиотов, ведущих экспансионистскую политику, смотрите, какую заваруху они устроили в Пятом секторе» или «Когда я был студентом, я участвовал в кампании за запрет на терраформирование планет класса С, но теперь я не уверен, что мы были правы». Когда действительно возникают

политические проблемы (а происходит это регулярно), ими всегда занимаются бюрократы, дипломаты и офицеры. Персонажи «Звездного пути» постоянно жалуются на бюрократов. Они никогда не ругают политиков. Потому что политические проблемы всегда решаются исключительно административными средствами⁹⁶.

Но именно этого следовало бы ожидать от государственного социализма того или иного рода. Обычно мы забываем, что такие режимы неизменно утверждали, что являются демократиями. На бумаге СССР времен Сталина мог похвастать образцовой конституцией, обеспечивавшей намного более широкий демократический контроль, чем европейские парламентские системы того времени. Просто, как и в Федерации, никакого влияния на течение жизни это не оказывало.

Иными словами, Федерация – ленинизм, доведенный до своего полного и совершенного вселенского успеха: это общество, в котором тайная полиция, лагеря перевоспитания и показательные процессы не нужны, потому что благодаря счастливому сочетанию материального изобилия и идеологического послушания система уже может функционировать совершенно самостоятельно.

Хотя никто не знает политического устройства Федерации и особо о нем не заботится, ее экономическая система, начиная с 1980-х годов, вызвала бесконечное любопытство и споры. Персонажи «Звездного пути» явно живут при коммунизме. Социальные классы уничтожены, равно как и различия по признаку расы, пола или этнического происхождения⁹⁷. Само существование денег в более ранние периоды считается странной и несколько забавной исторической достопримечательностью. Неквалифицированный труд был автоматизирован настолько, что исчез. Полы моют себя сами. Еду, одежду, инструменты и оружие можно получить по желанию при минимальных затратах, и даже потребление энергии, по-видимому, никак не нормируется. Все это вызвало кое-какие возражения, и было бы интересно написать политическую историю дебатов по экономике будущего, которые разгорелись в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Я хорошо помню, как в ходе споров с издателями журнала *The Nation* режиссер Майкл Мур отмечал, что «Звездный путь» показывает, что обычные американские рабочие куда больше склонны поддерживать открытую антикапиталистическую политику, чем лозунги «прогрессивных» левых. Примерно в то же время это заметили в интернете консерваторы и либертарианцы и стали наводнять тематические конференции и электронные форумы проклятиями в адрес «Звездного пути», который, по их мнению, был левой пропагандой⁹⁸. Но тут мы вдруг обнаружили, что деньги не исчезли полностью. Был латинум. Однако торговцы им считались ненавистной расой, которая, казалось, была списана со средневековых христианских стереотипов о евреях, за тем лишь исключением, что вместо больших носов у них были большие уши (любопытно, что им дали имя ференги, которое в арабском языке и на языке хинди означает «докучливый белый человек»)⁹⁹. С другой стороны, предположение о том, что Федерация строила коммунизм, было опровергнуто введением в сюжет враждебной цивилизации боргов, настолько коммунистической, что индивидуальность в ней оказалась полностью размыта, а все виды эмоциональной жизни слились в единый ужасающий разум, подобный рою пчел.

Ко времени высадки на Луну в 1968 году американские плановики уже не относились к своему соревнованию серьезно. СССР проиграл космическую гонку, а значит, американские исследователи могли больше не беспокоиться, что Советы создадут базы на Марсе и роботизированные фабрики, и уж тем более, что они заложат технологическую основу для построения коммунистической утопии.

Конечно, стандартное объяснение заключается в том, что такая смена приоритетов стала естественным результатом торжества рынка. Программа «Аполлон» была главным детищем Большого правительства – проектом советского стиля в том смысле, что он потребовал немалых усилий всего государства и координации со стороны обширной правительственной бюрократии. Как только советская угроза сошла на нет, капитализм смог привести технологическое развитие в большее соответствие с нормальными, децентрализованными, рыночными императивами – например, сосредоточить финансируемые частными лицами исследования на создании востребованных рынком товаров вроде сенсорных телефонов, небольших рискованных стартапов и тому подобных новшеств. Конечно, это именно то направление, к которому Тоффлер и Гилдер стали склоняться в конце 1970-х – начале 1980-х. Но такое объяснение, безусловно, ошибочно.

Прежде всего, объем действительно новаторских исследований, проводимых в частном секторе, снизился по сравнению с пиком, которого компания Bell Labs и подобные ей исследовательские отделы корпораций достигли в 1950-е и 1960-е годы. Отчасти это произошло из-за изменения режима налогообложения. Телефонная компания была готова инвестировать такую высокую долю своей прибыли в исследования потому, что прибыль облагалась внушительными налогами – выбор между вкладыванием денег в повышение зарплат рабочим (благодаря чему обеспечивалась их преданность) и инвестициями в исследования (которые имели смысл для компании, продолжавшей придерживаться устаревших представлений о том, что задачей корпорации было в большей степени создание вещей, чем создание денег), с одной стороны, и их присвоением правительством, с другой, был очевиден. После перемен 1970-х и 1980-х годов, описанных во введении, все это поменялось. Налоги на корпорации были резко снижены. Топ-менеджеры, вознаграждение которых все чаще облекалось в форму биржевых опционов, начали не только выплачивать прибыль инвесторам в виде дивидендов, но и пускать деньги, которые могли бы использоваться для повышения зарплат, найма новых сотрудников или увеличения расходов на исследования, на выкуп акций, что увеличивало стоимость портфелей топ-менеджеров, но никак не влияло на рост производительности. Иными словами, сокращение налогов и финансовые реформы привели к последствиям, которые фактически оказались противоположными тем, что провозглашались изначально.

В то же время правительство США так и не отказалось от гигантских схем технологического развития, контролируемого государством. Оно лишь резко сместило акцент с гражданских проектов вроде космической программы на военные исследования – не только на «Звездные войны», которые стали рейгановской версией масштабного детища в советском стиле, но и на бесчисленное множество оружейных проектов, разработок в области коммуникаций и технологий слежения и тому подобных вопросов, «связанных с безопасностью». До определенной степени так было всегда: миллиарды, потраченные только на ракетные новшества, всегда затмевали относительно незначительные суммы, направлявшиеся на

космическую программу. И все же к концу 1970-х годов большая часть разработок стала проводиться прежде всего для военных нужд. Основной причиной отсутствия у нас роботизированных фабрик является то, что в последние несколько десятилетий около 95 % средств, предназначенных на эксперименты в области робототехники, выделялось Пентагоном, который, разумеется, намного больше заинтересован в открытиях, обеспечивающих разработку беспилотников, чем в тех, что ведут к созданию полностью автоматизированных бокситовых шахт или роботов-садовников.

Эти военные проекты имели и свои собственные гражданские побочные продукты, один из которых – интернет. Однако их следствием стало то, что развитие пошло по очень специфическому пути.

Допустимо предположить и еще более мрачный вариант. Можно было бы сказать, что даже смещение фокуса исследовательских разработок на информационные технологии и медицину было не столько переориентацией на потребительские императивы, определяемые рынком, сколько частью усилий, направленных на то, чтобы закрепить испытанное Советским Союзом технологическое унижение полной победой в глобальной классовой войне: не только путем навязывания абсолютного военного господства США за рубежом, но и посредством полного искоренения общественных движений внутри страны. Почти все появившиеся технологии способствовали усилению надзора, трудовой дисциплины и социального контроля. Компьютеры несколько расширили пространство свободы, как нам постоянно напоминают, но вместо того чтобы привести к утопии, в которой нет труда и о которой мечтали Эбби Хоффман или Ги Дебор, они были использованы таким образом, что привели к ровно противоположному результату. Информационные технологии сделали возможной финансовализацию капитала, которая еще сильнее вогнала рабочих в долги и в то же время позволила работодателям создать новые «гибкие» трудовые режимы, уничтожившие традиционные гарантии занятости и вызвавшие значительное увеличение рабочего дня почти для всех сегментов населения. Помимо перенесения за рубеж традиционных рабочих мест на заводах, она разгромила профсоюзное движение и тем самым уничтожила всякую возможность эффективной политики рабочего класса¹⁰⁰. Тем временем, несмотря на беспрецедентные вложения в исследования в области медицины и биологии, мы все еще продолжаем ждать лекарств от рака и даже от обыкновенной простуды, а самыми значимыми прорывами в сфере медицины стали средства вроде прозака, золотфа или риталина – уникальные, можно сказать, способы добиться того, чтобы эти новые профессиональные требования окончательно не свели нас с ума.

Когда историки станут составлять эпитафию неолиберализму, они должны будут написать, что это была форма капитализма, которая систематически отдавала приоритет политическим императивам над экономическими. То есть, выбирая между образом действий, который приведет к тому, что капитализм начнет казаться единственно возможной экономической системой, и образом действий, который превратит капитализм в более устойчивую в долгосрочном плане экономическую систему, неолиберализм всегда склонялся к первому варианту. Действительно ли уничтожение гарантии занятости при увеличении рабочего дня создает более производительную рабочую силу (не говоря уже о ее творческом потенциале и преданности)? Есть все основания полагать, что происходит

ровно противоположное. В чисто экономических терминах неолиберальные реформы трудового рынка почти неизбежно приводят к отрицательному результату – и снижение темпов экономического роста по всему миру в 1980-е и 1990-е годы лишь усиливает это впечатление. Тем не менее они оказались чрезвычайно эффективными в деле деполитизации труда. То же можно было бы сказать о бурном росте армий, полиции и частных охранных служб. Они явно непроизводительны и лишь разбазаривают ресурсы. Вполне вероятно, что сам вес аппарата, созданного для обеспечения идеологической победы капитализма, его в конце концов и потопит. Но легко заметить, что если главным императивом властителей мира является устранение возможности представить неизбежное, спасительное будущее, которое будет в корне отличаться от сегодняшнего мира, то он должен быть ключевым элементом неолиберального проекта.

АНТИТЕЗИС

Даже в тех областях науки и технологий, которые получили массовое финансирование, не произошло ожидаемых от них прорывов.

Пока кажется, что все детали складываются в единую картину. В 1960-е годы консервативные политические силы стали опасаться разрушительных социальных последствий технологического прогресса, который они провозгласили виновником социальных потрясений тех лет, а работодатели начали беспокоиться об экономических результатах механизации. Снижение советской угрозы позволило перенаправить ресурсы на те сферы, что считались менее опасными для социально-экономического устройства, – и, по сути, на те, что могли поддержать кампанию по быстрому устранению завоеваний, которых прогрессивные социальные движения добились с 1940-х годов, с тем чтобы одержать решительную победу в противостоянии, расцениваемом американской элитой в качестве глобальной классовой войны. Смену приоритетов представляли как отказ от масштабных государственных проектов и возвращение к рынку, но на самом деле она подразумевала изменение направленности исследований, координируемых государством – от программ вроде НАСА (или, допустим, поисков альтернативных источников энергии) к большему акценту на военных, информационных и медицинских технологиях.

На мой взгляд, эти доводы до определенной степени справедливы, но они не могут все объяснить. В первую очередь, они не способны ответить, почему во всех сферах, в которых осуществлялись щедро финансируемые экспериментальные проекты, мы так и не получили ничего похожего на достижения, ожидавшиеся пятьдесят лет назад. Приведу лишь один наиболее очевидный пример: если 95 % исследований в области робототехники финансировалось военными, то почему по-прежнему ничего не слышно о роботах-убийцах из фильма о Клаату, стреляющих лучами смерти из глаз? Ведь мы знаем, что разработчики над этим трудились.

Разумеется, в военных технологиях были достижения. Общеизвестно, что одна из основных причин, почему мы выжили в холодной войне, состоит в том, что атомные бомбы работали более или менее так, как о них рассказывали, а системы доставки – нет; межконтинентальные баллистические ракеты в действительности не были способны

поражать города, не говоря уже о специфических целях внутри них, что означало, что не было особого смысла наносить первый ядерный удар, если только вы сознательно не собирались уничтожить весь мир. Зато современные крылатые ракеты очень точны. Тем не менее все хваленое высокоточное оружие, похоже, так и не способно устранить конкретных индивидов (Саддама, Усаму, Каддафи), даже если запускать снаряды сотнями. Беспилотники – это просто авиамodelи, управляемые дистанционно. А всякие бластеры так и не появились, причем не потому, что их не пытались создать – мы должны иметь в виду, что Пентагон потратил на эти цели миллиарды долларов, но получить он смог только лазеры (технология 1950-х годов), которые, в случае точного наведения, могут ослепить вражеского наводчика, смотрящего прямо на луч. Это не только непорядочно, но и просто смешно. Фазеры, способные оглушать, не появляются даже на чертежных досках; а если говорить о пехотных боях, то в 2011 году излюбленным оружием почти повсеместно оставался советский автомат Калашникова АК-47, названный так по году создания – 1947101.

То же, как я уже отмечал, можно сказать о прорывах, которые многие ожидали в медицине и даже (не побоюсь это сказать) в области компьютеров. Интернет, конечно, замечательная вещь. Но если бы поклонник научной фантастики из 1950-х годов попал в наши дни и спросил, что стало самым важным технологическим достижением за последние шестьдесят лет, скорее всего, он бы серьезно разочаровался. Он почти наверняка заметил бы, что то, о чем мы говорим, это лишь сверхбыстрое и повсеместно доступное сочетание библиотеки, отделения почты и каталога доставки. «И это лучшее, чего добились ваши ученые за пятьдесят лет? Мы ждали появления компьютеров, которые могут думать!»

Это правда, несмотря на то, что общий объем средств, выделяемых на исследования, с 1970-х годов резко увеличился. Конечно, доля этих средств, приходящаяся на корпоративный сектор, выросла еще больше, вплоть до того, что сегодня частные компании предоставляют на исследования в два раза больше денег, чем правительство. Но общее увеличение столь велико, что объем правительственных расходов на научные изыскания, выраженный в реальных долларах, все равно намного больше, чем раньше. И хотя «фундаментальные», «движимые любопытством» или «беспочвенные» исследования, то есть те, которые проводятся не с целью немедленного практического применения их результатов и потому скорее могут привести к неожиданным прорывам, составляют все меньшую часть общего объема, сегодня денег выделяется столько, что общий уровень финансирования фундаментальных исследований вырос. И тем не менее большинство честных оценок сходятся в том, что результаты оказались на удивление жалкими. Мы явно не увидим ничего похожего на постоянный поток концептуальных революций – генетическая наследственность, теория относительности, психоанализ, квантовая механика, – к которым человечество привыкло и которых оно ждало сто лет назад.

Почему?

Одно из распространенных объяснений гласит, что когда спонсоры проводят фундаментальные исследования, они складывают все яйца в одну огромную корзину – в «Большую науку», как ее стали называть. В качестве примера часто приводят проект «Геном человека». В целом на этот проект, запущенный правительством США, было потрачено

почти три миллиарда долларов, в нем приняли участие тысячи ученых и сотрудников из пяти различных стран, с ним связывались огромные ожидания, но в итоге было обнаружено лишь то, что последовательности генов у человека и у шимпанзе практически совпадают и устроены далеко не так сложно, как последовательности генов, допустим, риса, а также что возможности практического применения полученных знаний очень ограничены. Более того, – и это, на мой взгляд, ключевой момент – политические вложения в подобные разработки и окружающая их шумиха показывают, насколько даже фундаментальные исследования сегодня подчинены политическим, административным и маркетинговым императивам (у проекта «Геном человека», например, был собственный логотип, выполненный в корпоративном стиле), которые снижают вероятность получения каких-либо революционных результатов.

Здесь, как мне кажется, коллективное восхищение мифическими истоками Силиконовой долины и интернета ослепило нас, не дав увидеть то, что происходит на самом деле. Под их влиянием мы вообразили, что исследования и развитие теперь определяются в первую очередь небольшими коллективами отважных предпринимателей или своего рода децентрализованной кооперацией, создающей программное обеспечение с открытым кодом. Это не так. Это лишь те исследовательские команды, которые чаще всего добиваются результатов. Если уж на то пошло, разработки двинулись в противоположном направлении. Они по-прежнему предопределяются гигантскими бюрократическими проектами; изменилась лишь бюрократическая культура. Вследствие все большего взаимопроникновения правительства, университетов и частных компаний все они переняли язык, восприятие и организационные формы, зародившиеся в корпоративном мире. Хотя это и могло до определенной степени способствовать ускорению создания товаров, востребованных рынком (а именно для этого и существует корпоративная бюрократия), в том, что касается стимулирования оригинальных исследований, результаты оказались катастрофическими.

Здесь я могу опираться на собственный опыт, который я преимущественно получил в университетах Соединенных Штатов и Великобритании. В обеих странах за последние тридцать лет произошел взрывной рост количества рабочих часов, затрачиваемых на административную бумажную работу, в ущерб практически всему остальному. В моем университете, к примеру, административных сотрудников больше, чем преподавателей, но и преподаватели также должны посвящать административным обязанностям по меньшей мере столько же времени, сколько преподаванию и исследованиям вместе взятым¹⁰². Теперь это в порядке вещей в университетах по всему миру. В свою очередь, быстрый рост бумажной волокиты является прямым результатом применения приемов корпоративного управления, которые всегда оправдывают как способы повышения эффективности через внедрение конкуренции на всех уровнях. На практике эти приемы управления неизменно приводят к тому, что в итоге все тратят большую часть своего времени на то, чтобы продать другим разные вещи: заявки на грант; планы-проспекты книг; оценки работы наших студентов и заявлений на участие в грантах; оценки наших коллег; каталоги новых междисциплинарных специальностей, институтов, конференций, семинаров и самих университетов, превратившихся ныне в бренды, которые нужно продавать будущим студентам или спонсорам. Маркетинг и пиар наводнили все стороны университетской жизни.

В результате появилось море документов о стимулировании «воображения» и «творчества» в условиях, словно специально созданных для того, чтобы задушить на корню любые проявления воображения и творчества. Я не ученый. Я работаю в сфере социальной теории. Но результаты этого в области моих исследований я вижу. В последние тридцать лет в Соединенных Штатах не появилось ни одной новой крупной работы по социальной теории. Вместо этого нас довели до состояния средневековых схоластов, которые пишут бесчисленные аннотации к французским теоретическим работам 1970-х годов с виноватым осознанием того, что, если бы в американской академической среде появились современные аналоги Жюль Делёза, Мишеля Фуко или даже Пьера Бурдьё, они вряд ли бы сумели окончить аспирантуру – даже если бы им это удалось, их, скорее всего, отказались бы зачислить в штат¹⁰³.

Было время, когда в обществе университетский мир выполнял роль прибежища для эксцентричных, блестящих и непрактичных личностей. Теперь это не так. Он стал миром профессиональных продавцов самих себя. Что до эксцентричных, блестящих и непрактичных персонажей, то теперь, похоже, для них вообще не осталось места.

Если это справедливо для общественных наук, где исследования по-прежнему проводятся в основном отдельными людьми и требуют минимальных затрат, то можно представить, что в естественных науках дело обстоит намного хуже. И действительно, как недавно один физик предупреждал студентов, собиравшихся делать научную карьеру, даже по окончании многолетнего периода прислуживания кому-то еще ваши лучшие идеи все равно будут тормозить на каждом шагу.

“ У вас будет уходить больше времени на написание заявок, чем на проведение исследований. Что еще хуже, поскольку ваши проекты будут оцениваться конкурентами, вы не сможете дать волю своему любопытству – вам придется тратить свои усилия и талант на предугадывание и уход от критики, а не на решение важных научных проблем... Уже стала притчей во языцех фраза о том, что оригинальные мысли – это поцелуй смерти для заявки, потому что еще не доказано, что они работают¹⁰⁴.

Это во многом отвечает на вопрос о том, почему у нас нет средств телепортации или антигравитационных ботинок. Здравый смысл говорит, что если вы хотите максимально увеличить научную креативность, вы должны найти нескольких ярких людей, дать им ресурсы, необходимые для развития любой мысли, которая придет им в голову, а потом оставить их на какое-то время в покое. Вероятно, большинство ничего не добьется, но один или два из них могут открыть что-то совершенно новаторское. Если вы хотите свести к минимуму вероятность неожиданных прорывов, скажите тем же самым людям, что они не получают никаких ресурсов, если только не будут львиную долю времени соревноваться друг с другом, пытаясь убедить вас в том, что они уже знают, что откроют¹⁰⁵.

Примерно такая система у нас сейчас и есть¹⁰⁶.

К тирании менеджерского подхода в естественных науках мы также можем добавить ползучую приватизацию результатов исследований. Как недавно напомнил нам британский

экономист Дэвид Харви, исследования в формате «открытого кода» далеко не новы. Научные разработки всегда велись в подобном ключе в том смысле, что ученые делятся друг с другом материалами и результатами. Конечно, среди них есть и конкуренция, но она, по его меткому выражению, носит «товарищеский» характер:

“ Товарищеская конкуренция проявляется тогда, когда я (или моя команда) хочу первым доказать специфическое предположение, объяснить особое явление, открыть особый вид, звезду или частицу, так же, как я хочу победить, когда еду на велосипеде наперегонки с другом. Но товарищеская конкуренция не исключает сотрудничества, в рамках которого соревнующиеся исследователи (или исследовательские команды) делятся со мной предварительными результатами, опытом применения различных методов и тому подобным... Разумеется, обмен знаниями, возможный благодаря книгам, статьям, компьютерному обеспечению и непосредственному диалогу с другими учеными, образует интеллектуальное сообщество¹⁰⁷.

Это явно более не относится к ученым, работающим в корпоративном секторе, где открытия тщательно охраняются, но распространение корпоративной этики в университетском мире и в исследовательских институтах все чаще ведет к тому, что даже те ученые, чья работа финансируется государством, рассматривают свои открытия как личную собственность. Все меньшая их часть публикуется. Университетские издательства добиваются того, что к публикуемым открытиям становится все труднее получить доступ, что еще более обособливает интеллектуальное сообщество. В результате товарищеская конкуренция в формате открытого кода постепенно трансформируется в классическую рыночную конкуренцию.

В ход идут самые разные формы приватизации, вплоть до банальной скупки и уничтожения неудобных открытий крупными корпорациями, опасющимися их экономических последствий¹⁰⁸. Все это хорошо известно. Более тонко менеджерский дух противодействует внедрению всего дерзкого и необычного, особенно если это не сулит немедленных результатов. Как ни странно, интернет в этом отношении может быть частью проблемы:

“ Большинство людей, работающих в корпорациях или в академической среде, наблюдали нечто подобное: несколько инженеров сидят в комнате и обсуждают свои идеи. В ходе дискуссии рождается новая концепция, которая кажется многообещающей. Потом какой-нибудь человек в углу с ноутбуком на коленях быстро проводит поиск в Google и заявляет, что эта «новая» идея на самом деле старая; это – ну или что-то относительно похожее – уже пытались сделать. Затея либо провалилась, либо оказалась успешной. Если она провалилась, ни один менеджер, держащийся за свою работу, не одобрит выделения денег на попытки ее возродить. Если она оказалась успешной, то на нее уже выдали патент и вход на рынок не представляется возможным, поскольку те, кто первыми это придумали,

получили «преимущество первопроходца» и создали «барьеры для входа». Количество многообещающих идей, которые потерпели крах таким образом, исчисляется миллионами¹⁰⁹.

Я мог бы продолжать, но, думаю, читатель уже ухватил мою мысль. Боязливый бюрократический дух проник во все поры интеллектуальной жизни. Чаще всего он облачается в язык креативности, инициативы и предпринимательства. Но этот язык лишен смысла. Мыслители, которые вероятнее всего могут осуществить концептуальные прорывы, имеют меньше всего шансов на получение финансирования, а если прорывы и случаются, то они почти никогда не находят того, кто был бы готов следить за их самыми смелыми последствиями.

Позвольте мне подробнее обрисовать исторический контекст, который я вкратце описал во введении.

Итальянский экономист и социолог Джованни Арриги отмечал, что после пузыря компании Южных морей британский капитализм в целом отказался от корпоративной формы. Сочетание крупных финансовых компаний и мелких семейных фирм, возникшее после промышленного переворота, сохранялось на протяжении всего следующего столетия – во времена Маркса, на которые пришелся пик научных и технических новшеств, в Лондоне, Манчестере или Бирмингеме господствовали не крупные конгломераты, а в основном капиталисты, владевшие всего одной фабрикой (можно сказать, по этой причине Маркс полагал, что отличительной чертой капитализма являлась постоянная беспощадная конкуренция). Великобритания в те времена славилась тем, что была настолько же благожелательна к разного рода чужакам и эксцентрикам, насколько современная Америка к ним нетерпима. Один из распространенных приемов состоял в том, что им разрешали занимать должности сельских священников, которые, как и следовало ожидать, сделали немало любительских научных открытий¹¹⁰.

Как я уже упоминал, современный бюрократический корпоративный капитализм сначала возник в Соединенных Штатах и в Германии. Кульминацией двух кровавых войн, что они вели между собой, стал запуск масштабных научных программ, которые финансировались правительством и целью которых было первыми создать атомную бомбу. Даже структура американских университетов всегда основывалась на прусской модели. Действительно, сначала и Соединенные Штаты, и Германия сумели найти способ поддерживать своих креативных чужаков – поразительное количество тех из них, что пользовались наибольшей известностью и в конечном итоге оказались в Америке (Альберт Эйнштейн – образцовый пример), были немцами. Во время войны, когда ситуация была отчаянной, крупные правительственные программы вроде «Проекта Манхэттен» все еще могли трудоустроить целый ряд странных персонажей (Оппенгеймера, Фейнмана, Фукса и т. д.). Но по мере того, как американская держава становилась все увереннее в себе, бюрократия страны проявляла все меньше толерантности к таким чужакам. И технологическая креативность стала падать.

Нынешняя эпоха застоя началась после 1945 года, ровно тогда, когда Соединенные Штаты окончательно и бесповоротно сменили Великобританию в роли организатора мировой экономики¹¹¹. Действительно, на заре американской космической программы (это еще один период паники) по-прежнему оставалось место для настоящих чудаков вроде Джека Парсонса, основателя Лаборатории реактивных двигателей НАСА. Парсонс был не только блестящим инженером, но и магом-телемитом, следовавшим традиции Алистера Кроули; он был известен тем, что регулярно устраивал церемониальные оргии в своем доме в Калифорнии. Парсонс верил в то, что ракетостроение было, по сути, лишь одним из проявлений более глубоких магических принципов. Но потом его уволили¹¹². Победа США в холодной войне обеспечила корпоративизацию существующей университетской и научной бюрократии, которая исключала возможность того, что кто-либо ему подобный вообще получит хоть сколько-нибудь значимую должность где бы то ни было.

Американцы не любят считать себя нацией бюрократов – совсем наоборот, – но, как только мы перестаем рассматривать бюрократию как феномен, ограниченный лишь правительственными учреждениями, становится очевидно, что именно такой нацией мы и стали. Окончательная победа над Советским Союзом на самом деле не привела к господству «рынка». Скорее она лишь закрепила верховенство консервативных по сути своей управленческих элит – корпоративных бюрократов, которые используют краткосрочное мышление, зацикленное на прагматизме и конкуренции, для того чтобы уничтожать все, что может иметь революционные последствия любого рода.

Синтез

« Все сберегающие труд машины, которые были изобретены до настоящего времени, не уменьшили изнуряющий труд каждого отдельного человека.

Джон Стюарт Милль

О движении от поэтических технологий к бюрократическим

Эта книга началась с утверждения о том, что мы живем в глубоко бюрократизированном обществе. Не замечаем мы этого преимущественно потому, что бюрократические нормы и требования стали настолько повсеместными, что мы едва обращаем на них внимание – или, что еще хуже, не можем представить, как можно действовать иначе.

Компьютеры сыграли во всем этом решающую роль. Подобно тому, как изобретение новых форм промышленной автоматизации в XVIII и XIX веках парадоксальным образом привело к превращению все большей доли мирового населения в промышленных рабочих, трудящихся полную рабочую неделю, так и программное обеспечение, призванное спасти нас от административных забот, в последние десятилетия превратило нас в частично или полностью занятых администраторов. Подобно тому, как университетские профессора считают неизбежной необходимость посвящать все больше и больше времени работе над грантами, родители просто смиряются с тем, что им придется по несколько недель в год

заполнять сорокастраничные формуляры в интернете, чтобы устроить детей в приличные школы, продавцы осознают, что будут тратить всю большую часть своей жизни на вбивание паролей в телефонах и на управление своими разнообразными банковскими и кредитными счетами, и почти все понимают, что им нужно учиться выполнять работу, которой некогда занимались туристические агенты, брокеры и бухгалтеры.

Кто-то однажды подсчитал, что средний американец тратит шесть месяцев своей жизни, ожидая, пока загорится зеленый сигнал светофора. Не знаю, подсчитывал ли кто-нибудь, сколько он проводит за заполнением документов, но точно получилось бы не меньше. Во всяком случае, я думаю, что можно с уверенностью сказать, что ни один народ в истории мира не тратил столько времени на бумажную волокиту.

Причем все это произошло после ниспровержения ужасающего, старомодного, бюрократического социализма и триумфа свободы и рынка. Это, безусловно, один из самых больших парадоксов современной жизни, хотя, как и в случае с несбывшимися технологическими обещаниями, мы явно не выказываем никакого желания заниматься этим вопросом.

Разумеется, эти проблемы взаимосвязаны – я бы даже сказал, что во многих отношениях это одна и та же проблема. Загвоздка не только в бюрократическом или, если точнее, управленческом мировоззрении, которое вытеснило все виды технического воображения и творчества. В конце концов, как нам постоянно напоминают, интернет высвободил творческое воображение и смекалку в самых разных формах. На самом деле он привел к странному переворачиванию целей и средств, в результате которого творчество оказалось поставлено на службу администрации, а не наоборот.

Я бы выразил это следующим образом: на этой финальной, отупляющей стадии капитализма мы движемся от поэтических технологий к технологиям бюрократическим.

Под поэтическими технологиями я понимаю использование рациональных, технических, бюрократических средств с целью воплощения в жизнь самых шальных, невероятных фантазий. В этом смысле поэтические технологии стары, как сама цивилизация. Можно даже сказать, что они появились еще до сложных машин, первые из которых, как говорил Льюис Мамфорд, делались из людей. Египетские фараоны были способны строить пирамиды только благодаря мастерскому использованию административных процедур, которые позволили им разработать методы поточного производства путем разделения трудных задач на десятки простых операций и поручения каждой из них одной группе рабочих – даже если их механические технологии ограничивались рычагами и наклонными спусками. Бюрократический надзор превратил армии крестьян в шестеренки огромного механизма. Даже намного позднее, когда были изобретены настоящие шестеренки, создание сложных машин до некоторой степени всегда оставалась вопросом усовершенствования принципов, изначально придуманных для организации людей¹¹³.

И тем не менее мы вновь и вновь видим, как эти машины – вне зависимости от того, состоят ли они из рычагов и колонн или из поршней, колес и пружин, – применяются для воплощения фантазий, которые иначе невозможно осуществить: кафедральных соборов,

запусков ракет на Луну, межконтинентальных железных дорог и тому подобных вещей. Конечно, в поэтических технологиях всегда было что-то ужасное; поэтика ассоциируется с мрачными дьявольскими мельницами не меньше, чем с изяществом или с освобождением. Но рациональные, бюрократические методы всегда поставлены на службу какой-нибудь фантастической цели.

С этой точки зрения все безумные советские планы, пусть так и не осуществленные, стали высшей точкой развития таких поэтических технологий. Сейчас же происходит обратное. Воображение, смекалка и дерзкие мечты больше не поощряются. Наши фантазии пребывают в свободном плавании; не осталось даже видимости того, что они могут облечься в реальные формы. Тем временем в тех немногих сферах, где свободное креативное творчество все еще поощряется, как, например, в развитии программного обеспечения с открытым кодом для интернета, его нацеливают на создание все большего количества эффективных платформ для заполнения формуляров. Именно это я и понимаю под «бюрократическими технологиями»: административные императивы стали не средствами, а целью технологического развития. А самая великая и мощная страна, которая когда-либо существовала на Земле, в последние десятилетия занималась тем, что рассказывала своим гражданам, что мы просто не можем больше разрабатывать грандиозные проекты, даже если – как показывает нынешний экологический кризис – от этого зависит судьба Земли.

Так к каким политическим последствиям это ведет?

Прежде всего, мне кажется, мы должны радикально переосмыслить некоторые из наших базовых представлений о природе капитализма. Одно из них гласит, что капитализм в определенной степени тождественен рынку и что оба они противостоят бюрократии, которая является порождением государства. Согласно другому представлению, капитализм по своей природе прогрессивен с технологической точки зрения. Представляется, что в этом пункте Маркс и Энгельс, охваченные энтузиазмом относительно промышленных революций своего времени, просто-напросто ошибались. Или, если точнее, они были правы, утверждая, что механизация промышленного производства уничтожит капитализм; они ошибались, предсказывая, что рыночная конкуренция в любом случае заставит владельцев фабрик продолжать механизацию. Если этого не произошло, то лишь потому, что рыночная конкуренция в действительности не является настолько неотъемлемой чертой капитализма, как они полагали. Во всяком случае, нынешняя форма капитализма, в которой конкуренция во многом принимает форму внутреннего маркетинга в рамках бюрократических структур крупных полумонополистических компаний, их, скорее всего, крайне удивила бы¹⁴.

Защитники капитализма обычно приводят три обширных исторических аргумента: во-первых, он стимулировал быстрое научно-технологическое развитие; во-вторых, хотя он и наделяет огромным богатством узкое меньшинство, он одновременно увеличивает общее благосостояние каждого; в-третьих, тем самым он создает более безопасный и демократический мир. Вполне очевидно, что в XXI веке капитализм ничего из этого не делает. Даже его сторонники все чаще отказываются от утверждений о том, что это очень

хорошая концепция, и все больше напирают на то, что это единственная возможная система или, по крайней мере, единственная возможная система для такого технологически сложно устроенного общества, как наше.

Будучи антропологом, я сталкиваюсь с последним доводом постоянно.

“ СКЕПТИК. Вы можете сколько угодно лелеять ваши утопические мечты, я же вам говорю о политической или экономической системе, которая действительно могла бы работать. И опыт показывает, что единственный возможный вариант – это то, что у нас есть.

Я. Наша специфическая современная форма ограниченного представительного правления, или корпоративный капитализм, это единственная возможная политическая или экономическая система? Опыт ничего такого не показывает. Если вы обратитесь к истории человечества, вы обнаружите сотни и даже тысячи различных политических и экономических систем. Многие из них несколько не похожи на нашу.

СКЕПТИК. Конечно, но вы говорите о более простых, меньших по масштабу обществах или же об обществах, обладающих намного более примитивной технологической базой. Я говорю о современных, сложных, передовых с технологической точки зрения обществах. Поэтому ваши примеры обратного к делу не относятся.

Я. Погодите, так вы говорите, что технологический прогресс ограничил наши социальные возможности? А я-то думал, что предполагалось, что все будет наоборот!

Но даже если вы сдаетесь и соглашаетесь с тем, что, хотя некогда самые разные экономические системы могли быть одинаково жизнеспособными, современные промышленные технологии почему-то создали мир, в котором это уже не так: разве кто-то может серьезно провозглашать, что нынешние экономические принципы – единственные, которые будут действовать при любом будущем технологическом режиме? Такое утверждение явно абсурдно. Как мы вообще можем это знать?

Конечно, на обоих полюсах политического спектра есть люди, разделяющие подобную точку зрения. Будучи антропологом и анархистом, я вынужден регулярно иметь дело с «антицивилизационными» персонажами, которые считают, что нынешние промышленные технологии могут привести лишь к гнету капиталистического типа и что это касается любой будущей технологии, а значит, освобождения людей можно достичь только путем возвращения в каменный век. Большинство из нас не придерживается такого технологического детерминизма. Но, в конце концов, заявления о неизбежности сегодняшнего капитализма должны исходить из некоего технологического детерминизма. И именно поэтому, если конечной целью неолиберального капитализма является создание мира, в котором никто не верит, что какая-либо другая экономическая система может функционировать, то он должен уничтожить не только любую мысль о неизбежном

спасительном будущем, но и вообще любую мысль о радикально ином технологическом будущем. В этом есть своего рода противоречие. Капитализм не может убедить нас, что технологические изменения завершились, поскольку это будет означать, что фактически он не прогрессивен. Капитализм заверяет нас в том, что технологический прогресс продолжается и что мы живем в чудесном мире, но чудеса эти в основном облачаются в форму скромных улучшений (последний iPhone!), слухов об изобретениях, которые вот-вот воплотятся в жизнь («Я слышал, что очень скоро они создадут летающие автомобили»)¹¹⁵, все более сложных методов манипуляции информацией и образами и все более сложных платформ для заполнения формуляров.

Я не говорю, что неолиберальный капитализм – или любая другая система – может быть всегда успешным в этом отношении. Во-первых, возникает проблема, как убедить мир в том, что вы идете во главе технологического прогресса, когда на самом деле вы чините ему препятствия. Деградирующая инфраструктура и бездействие перед лицом глобального потепления показывают, что в настоящее время Соединенные Штаты действуют из рук вон плохо (не говоря уже об отказе от программы пилотируемых космических полетов, имевшем губительные последствия: символично, но это произошло в то время, когда Китай активно развивал свой проект). Во-вторых, факт в том, что темпы изменений просто невозможно остановить навечно. В лучшем случае их получится замедлить. Будут происходить прорывы; неудобные открытия нельзя подавлять постоянно. Другие, менее бюрократизированные части света – или, по крайней мере, те части мира, где бюрократия не настолько враждебно настроена по отношению к творческому мышлению, – станут медленно, но верно накапливать ресурсы, необходимые для того, чтобы заняться проектами, от которых отказались США и их союзники. Интернет предоставляет такие возможности для сотрудничества и распространения идей, которые, вероятно, помогут нам разрушить эту стену. Где произойдут эти прорывы? Этого мы не знаем. За последние пару лет, прошедшие с издания первого варианта данного очерка, появилось немало интересного: 3D-печать, прогресс в материальных технологиях, самоуправляемые автомобили, следующее поколение роботов и, как результат, новый виток дискуссий о роботизированных фабриках и конце труда. Есть и намеки на грядущие концептуальные прорывы в физике, биологии и других науках, которые всячески блокируются существующими устоявшимися взглядами и институтами, но которые также могут оказать глубокое влияние на технологии.

На мой взгляд, на данном этапе мы можем быть уверены в одном: изобретения и настоящие инновации будут иметь место не в рамках современного корпоративного капитализма – и, скорее всего, вообще не в рамках капитализма. Становится все очевиднее, что для строительства куполов на Марсе, не говоря уже о способах, позволяющих узнать, имеются ли вообще внеземные цивилизации, с которыми можно контактировать, или что произошло бы, если бы мы запустили что-нибудь в пространственно-временные туннели, нам придется придумать совершенно иную экономическую систему. Должна ли она непременно принимать обличье новой масштабной бюрократии? Почему мы считаем, что должна? Возможно, лишь разрушив существующие бюрократические структуры, мы достигнем этих целей. И если мы действительно придумаем роботов, которые будут стирать белье или убираться на кухне, мы обязаны добиться, чтобы то, что придет на смену капитализму, было основано на более равном распределении богатства и власти – без супербогачей и отчаянно бедных людей, готовых прислуживать первым. Только в этом случае технология начнет

удовлетворять нужды человека. И это лучшая причина для того, чтобы избавиться от мертвой хватки менеджеров и директоров хедж-фондов – освободить нашу фантазию от экранов, в которые эти люди ее заточили, и снова превратить воображение в материальную силу человеческой истории.

ГЛАВА III. Утопия правил, или Почему мы любим бюрократию, несмотря ни на что

На бюрократию жалуются все. Очерки, представленные в этой книге, по большей части выросли из таких жалоб. Кажется, что бюрократию никто особенно не любит – и тем не менее ее становится все больше и больше.

В этом эссе я бы хотел задаться вопросом о том, почему это так, и рассмотреть гипотезу о том, что огульное осуждение бюрократии, которое приходится слышать, зачастую не очень искренне и что опыт пребывания в рамках системы формализованных правил и норм, иерархии безличных чиновников (у многих из нас он поглощает большую часть времени, у всех нас хотя бы какую-то его часть) обладает определенной скрытой притягательностью.

Я, конечно, понимаю, что мое объяснение – не единственное возможное. Есть целая школа мысли, утверждающая, что бюрократия расширяется в соответствии с извращенной, но неумолимой внутренней логикой. Далее следует такой довод: если вы создаете бюрократическую структуру для решения какой-то проблемы, эта структура неизбежно породит другие трудности, которые, как кажется, можно преодолеть только при помощи бюрократических средств. В университетах это иногда неформально называют «проблемой создания комитетов для решения проблемы слишком большого количества комитетов».

Несколько иная версия этого довода – и в ней заключается суть рассуждений Макса Вебера на эту тему – гласит, что бюрократия, однажды появившись, немедленно становится необходимой для всякого, кто желает власти, вне зависимости от того, что он собирается при помощи этой власти делать. Главное средство добиться этого всегда заключается в попытке монополизации доступа к некоторым ключевым видам информации. Здесь стоит привести пространную цитату из Вебера:

“ Всякая бюрократия стремится укрепить превосходство профессионально осведомленных людей путем засекречивания их знаний и намерений. Бюрократическая администрация всегда является администрацией «закрытых заседаний»: она скрывает свои знания и действия от власти,

насколько ей это удастся...

Концепция «государственной тайны» – это специфическое изобретение бюрократии; бюрократия ничто не охраняет столь же фанатично, как этот подход, который невозможно оправдать за рамками специализированных областей. Сталкиваясь с парламентом, бюрократия, исходя из своего властного инстинкта, борется с любой попыткой парламента получить знания посредством своих собственных экспертов или при помощи заинтересованных групп...

Абсолютный монарх бессилён перед лицом высшего знания бюрократического эксперта – в определенном смысле он ещё бессильнее, чем любой другой политический деятель. Все пренебрежительные указы Фридриха Великого об «Отмене крепостного права» сводились на нет в ходе их реализации, потому что официальный механизм просто игнорировал их, считая их случайными мыслями дилетанта. Когда конституционный король соглашается с социально значимой частью подданных, он нередко оказывает большее влияние на работу администрации, чем «абсолютный монарх». Конституционный король может контролировать этих экспертов лучше благодаря общественному – по крайней мере, относительно общественному – характеру критики, тогда как абсолютный монарх в вопросах информации зависит исключительно от бюрократии. Русский старорежимный царь редко когда мог на протяжении длительного времени делать что-либо, что не нравилось его бюрократии или противоречило ее властным интересам¹¹⁶.

Одним из побочных следствий этого, как замечает сам Вебер, является то, что, создав однажды бюрократию, вы практически не можете от нее избавиться. Самые первые известные нам бюрократии, сложившиеся в Месопотамии и Египте, существовали в почти неизменном виде на протяжении тысячелетий, пока одна династия или правящая элита сменяла другую. Точно так же волны успешных завоевателей оказались неспособны вытеснить китайскую гражданскую администрацию с ее ведомствами, отчетами и экзаменационной системой, которая твердо стояла на ногах вне зависимости от того, кто называл себя избранником небес. Действительно, как отмечал Вебер, по вполне очевидным причинам навыки и знания, столь ревниво охранявшиеся китайскими бюрократами, иностранным завоевателям были нужны даже еще больше, чем местным правителям. По Веберу, единственный способ покончить с бюрократами – это просто перебить их, как сделал готский король Аларих в императорском Риме или Чингисхан в некоторых странах Ближнего Востока. Оставьте в живых сколько-нибудь значимое количество чиновников, и всего через несколько лет они неизбежно будут управлять вашим царством.

Второе возможное объяснение состоит в том, что бюрократия не только становится незаменимой для правителей, но выглядит действительно привлекательной в глазах тех, кем она управляет. Здесь не обязательно соглашаться с забавным слвословием Вебера на тему эффективности бюрократии. Самое простое объяснение притягательности бюрократических процедур заключается в их безличности. Холодные, отстраненные

бюрократические отношения похожи на сделки с наличностью – и те, и другие обладают схожими достоинствами и недостатками. С одной стороны, они бездушны. С другой стороны, они просты, предсказуемы и – по крайней мере, в рамках определенных параметров – относятся ко всем более или менее одинаково. Да и кто искренне хочет жить в мире, где у всего есть душа? Бюрократия хотя бы дает возможность обращаться с другими людьми таким образом, что ни одной из сторон не приходится выполнять все виды сложной и утомительной интерпретативной работы, описанной в первом очерке этой книги: вы просто можете положить деньги на прилавок и не беспокоиться о том, что думает кассир о вашей одежде, или вытащить действующее удостоверение с фотографией без необходимости объяснять библиотекарю, почему вы так увлекаетесь гомоэротическими темами в английской поэзии XVIII века. Разумеется, в этом есть доля привлекательности. Если задуматься над этим вопросом, трудно представить, что, даже если мы построим некое утопическое общество на основе общинных принципов, нам не понадобятся некие безличные (осмелюсь сказать, бюрократические) институты – как раз по этой причине. Приведу один очевидный пример: изнывать от нетерпения, ожидая результатов безличной лотерейной системы, или ждать органа, который срочно нужен для пересадки, может быть не самым приятным занятием, но трудно придумать какой-либо более безличный способ распределения ограниченного количества сердец или почек, который был бы лучше.

Это, как я сказал, самое простое объяснение. Но в этом очерке я хочу развить гипотезу о том, что все это может пойти достаточно далеко. Дело не только в том, что безличные отношения, которые делает возможными бюрократия, удобны; на них – по крайней мере, до определенной степени – вообще основаны наши представления о рациональности справедливости и, прежде всего, свободе. Чтобы объяснить, почему, на мой взгляд, это так, я начну с анализа двух моментов в человеческой истории, когда новые бюрократические формы вызвали не просто повсеместную пассивную покорность, а живой энтузиазм и даже слепую страсть, и попытаюсь понять, что именно так сильно привлекало столько людей.

I. Очарование разочарования, или Волшебная сила почтовой службы

Одна из причин, по которым Вебер описывал бюрократию как само воплощение рациональной эффективности, заключается в том, что в Германии той эпохи бюрократические учреждения действительно хорошо работали. Возможно, знаковым ведомством, гордостью и радостью германской администрации была почтовая служба. В конце XIX века германское почтовое ведомство считалось одним из великих чудес современного мира. Его эффективность была настолько легендарной, что она отбрасывала мрачную тень на весь XX век. Многие достижения того, что мы теперь называем «высоким модернизмом», были созданы по образцу германской почтовой службы – или были напрямую с нее скопированы. Но также можно было бы утверждать, что она стала еще и источником одной из самых страшных бед минувшего столетия.

Чтобы понять, как это произошло, мы должны разобраться в подлинных истоках современного социального государства, которое, как мы часто думаем (когда вообще о нем думаем), было создано благонамеренными демократическими элитами. Нет ничего более далекого от истины. В Европе большинство ключевых институтов того, что позднее стали называть социальным государством – всё, начиная от социального страхования и пенсий и заканчивая государственными библиотеками и поликлиниками, – было создано вовсе не правительствами, а профсоюзами, ассоциациями соседей, кооперативами, рабочими партиями и другими организациями. Многие из них участвовали в осознанном революционном проекте «построения нового общества внутри старого» или постепенного создания социалистических институтов снизу. В одних случаях это сочеталось с целью последующего захвата власти парламентскими методами, в других это было сутью проекта. Стоит помнить, что в конце XIX века даже прямые преемники Коммунистической партии Маркса отказались от мысли о силовом захвате власти, поскольку это уже не казалось необходимым; они полагали, что в Европе, где царил мир, а технологический прогресс развивался быстрыми темпами, социальную революцию можно провести ненасильственными, электоральными методами.

Германия была одной из тех стран, где подобные партии добились наибольшего успеха. Даже несмотря на то, что канцлер Отто фон Бисмарк, великий создатель и организатор германского государства, наделил парламент лишь ограниченной властью, он был обескуражен быстрым подъемом рабочих партий и опасался социалистического большинства или вероятного восстания в стиле Парижской коммуны во вновь объединенной Германии. На успех социалистов на выборах 1878 года он отреагировал двояко: сначала запретил социалистическую партию, профсоюзы и левые газеты, а когда эти меры оказались неэффективными (социалисты продолжили побеждать, выступая как независимые кандидаты), он создал иерархическую альтернативу бесплатным школам, ассоциациям рабочих, обществам взаимопомощи, библиотекам, театрам и всему процессу построения социализма снизу. Это обрело форму программы социального страхования (по безработице, здоровью, инвалидности), бесплатного образования, пенсий и так далее – по большей части это были выхолощенные варианты тех мер, которые являлись частью социалистической программы, но из которых тщательно устранялись все демократические, партисипативные элементы. В узком кругу он весьма откровенно характеризовал эти меры как «мзду», как попытку купить рабочий класс и перетянуть его на сторону консервативного националистического проекта¹¹⁷. Когда позднее к власти пришли левые режимы, у них уже был образец, и почти все они переняли тот же иерархический подход, включив созданные на местном уровне поликлиники, библиотеки, общества взаимного кредита и рабочие образовательные центры в административную структуру государства.

В Германии реальной моделью этой новой административной структуры, как ни странно, стало почтовое ведомство – хотя, если разобраться в истории почтовой службы, все выглядит логично. По сути, почтовое ведомство было первой попыткой применения иерархических, военных форм организации для общественных нужд. Исторически почтовая служба впервые появилась как инструмент организации армий и империй. Изначально она использовалась для передачи полевых донесений и приказов на дальние расстояния; позднее она стала средством сохранения новообразованных империй. Вот почему над входом в здание Центрального почтамта в Нью-Йорке, напротив Пенсильванского вокзала,

до сих пор красуется знаменитая цитата о персидских царских вестниках и расположенных через равные расстояния почтовых станциях со свежими лошадьми – по словам Геродота, эта система обеспечивала самое быстрое передвижение на Земле: «Ни снег, ни ливень, ни зной, ни даже ночная пора не могут помешать каждому всаднику проскакать во весь опор назначенный отрезок пути»¹¹⁸. В Римской империи существовала похожая система, и почти все армии пользовались услугами почтовых курьеров до тех пор, пока в 1805 году Наполеон не внедрил флажный семафор.

Одной из важнейших управленческих инноваций XVIII и особенно XIX века стало превращение системы военных курьеров в основу новой гражданской администрации, главной задачей которой было предоставление услуг общественности. Появившись изначально в сфере коммерции, она стала распространяться, когда коммерсанты начали использовать почту для личной или политической переписки – в конце концов, ее стали применять практически все¹¹⁹. Очень скоро во многих новых национальных государствах Европы и обеих Америк 50 % бюджета стала тратиться на почтовую службу, в которой было занято более половины гражданских служащих¹²⁰.

Можно даже утверждать, что национальное государство в Германии было создано прежде всего благодаря почтовому ведомству. В Священной Римской империи право управлять почтовой курьерской системой на имперских землях, было пожаловано в лучших феодальных традициях знатному семейству, происходившему из Милана и позже получившему известность как бароны фон Турн-и-Таксис (по легенде, один из отпрысков этого семейства изобрел таксометр, что и дало название автомобилям такси). Прусская империя выкупила монополию Турн-и-Таксис в 1867 году и использовала ее как основу для новой германской национальной почты – в последующие два десятилетия верным знаком того, что очередное карликовое государство или княжество поглощалось новым национальным государством, было его присоединение к германской почтовой системе. Отчасти по этой причине ее блистательная эффективность стала поводом для национальной гордости. И действительно, в конце XIX века германская почта производила сильное впечатление – в крупных городах она могла предложить пять и даже девять различающихся по скорости видов доставки в сутки, а в столице располагала разветвленной сетью пневматических труб, предназначенных для практически мгновенной передачи писем и небольших бандеролей на дальние расстояния при помощи системы сжатого воздуха (рис. 6, 7).

Марк Твен, проживший недолгое время в Берлине в 1891–1892 годах, был так впечатлен этой системой, что выразил восхищение ее невиданной эффективностью в одном из своих немногих несатирических очерков под названием «Почтовая служба»¹²¹. И он был далеко не единственным иностранцем, восторгавшимся ее устройством. Всего за несколько месяцев до начала Русской революции Владимир Ильич Ленин писал:

“Один остроумный немецкий социал-демократ семидесятых годов прошлого века назвал почту образцом социалистического хозяйства. Это очень верно. Теперь почта есть хозяйство, организованное по типу государственно-

капиталистической монополии. Империализм постепенно превращает все тресты в организации подобного типа...

Все народное хозяйство, организованное как почта, с тем, чтобы техники, надсмотрщики, бухгалтеры, как и все должностные лица, получали жалованье не выше «зарплатной платы рабочего», под контролем и руководством вооруженного пролетариата – вот наша ближайшая цель¹²².

Так и вышло. Устройство Советского Союза было напрямую скопировано с германской почтовой службы.

Рис. 6. Карта берлинской системы пневматических труб, 1873

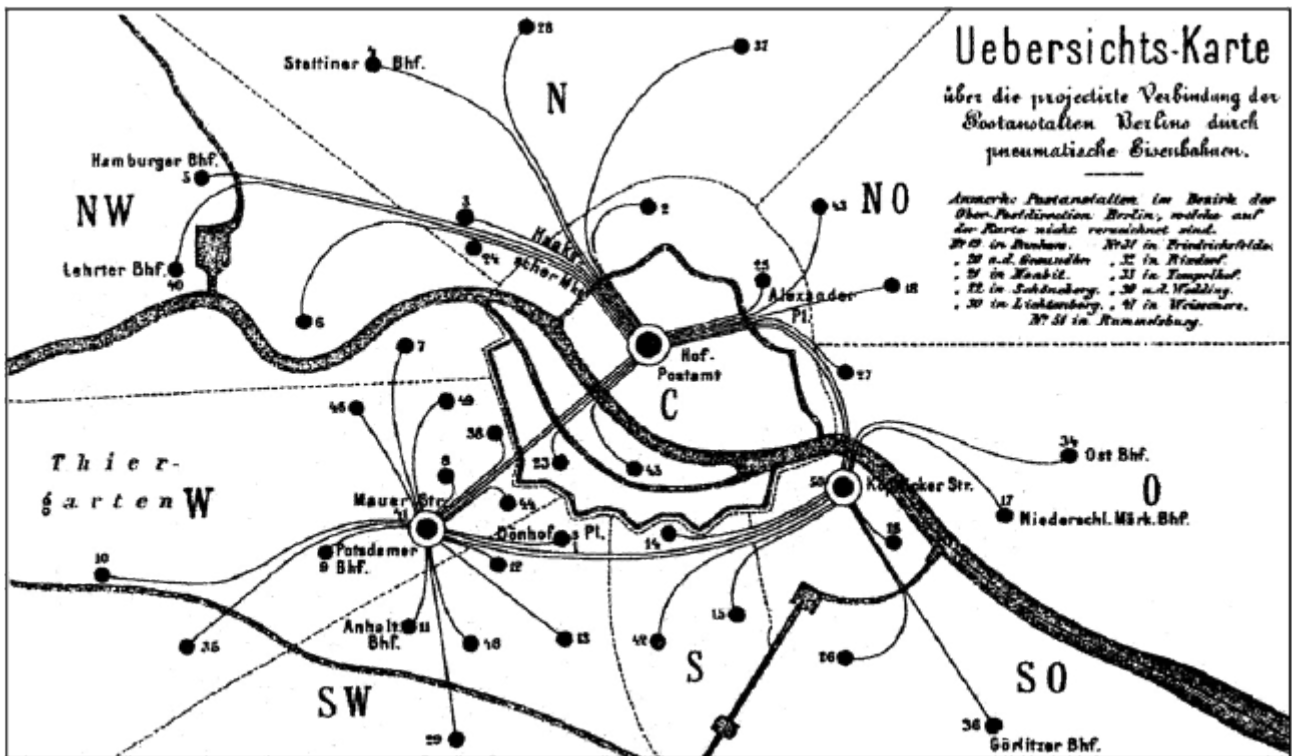


Рисунок 7.

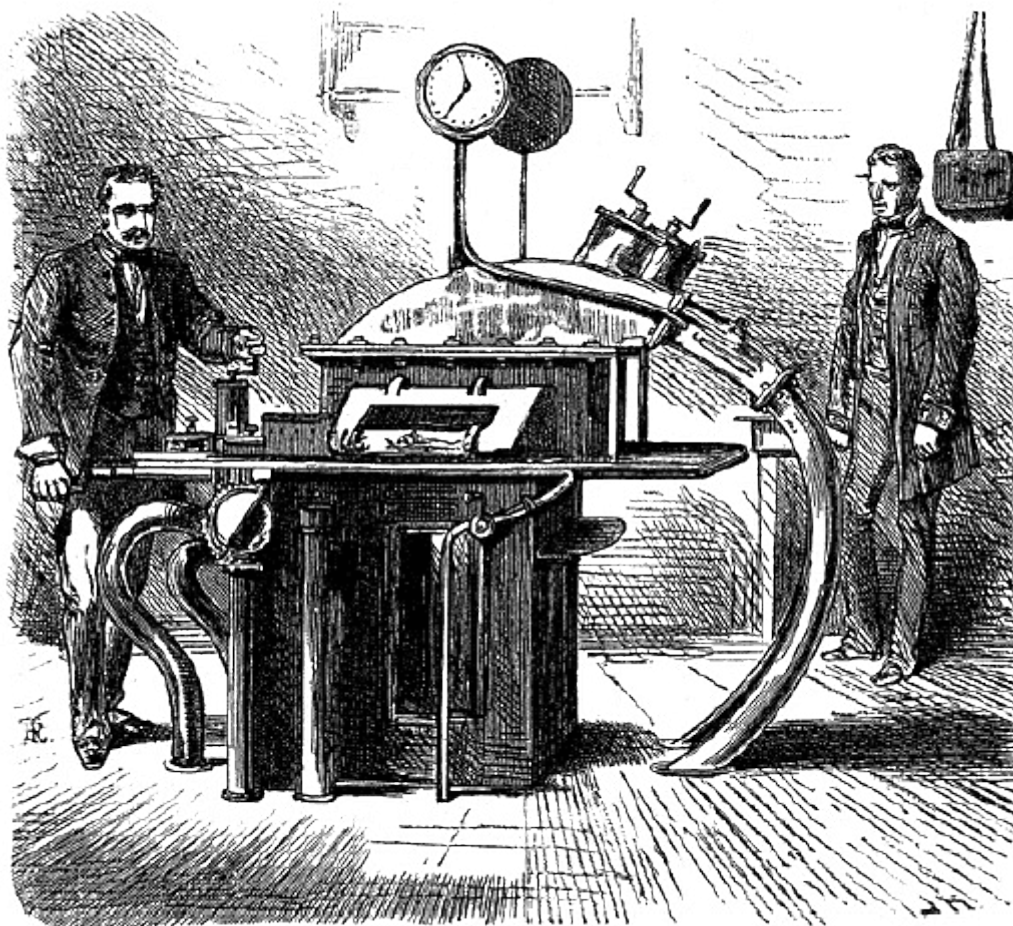


Fig. 613. Rohrpostamt.

Впрочем, впечатление она производила не только на социалистов-государственников. Даже анархисты примкнули к хору ее хвалителей; хотя их интересовали скорее не страны, а отношения между ними, а именно тот факт, что можно отправить письмо из Венесуэлы в Китай, несмотря на отсутствие единого всеохватывающего государства. Так, Петр Кропоткин часто называл международный Всемирный почтовый союз, созданный в 1874 году (наряду с соглашениями между железнодорожными компаниями), моделью для анархизма, подчеркивая, что это уже происходит на вершине имперских систем:

“ В настоящее время, когда какие-нибудь группы, рассеянные в различных концах земного шара, хотят организовать с какою-нибудь целью, они уже не выбирают интернациональный парламент из «пригодных на всякое дело депутатов» и не говорят им: «Дайте нам закон и мы будем вам повиноваться». Если нет возможности сговориться прямо или при помощи переписки, они посылают на конгресс людей, специально изучивших данный вопрос, и говорят им: «Постарайтесь сговориться относительно того-то и того-то и возвращайтесь к нам – не с готовыми законами в кармане, они нам не нужны, а с проектом соглашения, которое мы можем принять, но можем и не принять»¹²³.

Эти мечты о будущем рае, который вырастет из почтовой службы, не ограничивались лишь Европой. Соединенные Штаты, страна, которая вскоре стала главным соперником Германии

в борьбе за влияние в мире, также считались моделью цивилизации нового типа, и эффективность их почтовой службы служила очевидным тому подтверждением. Еще в 1830-е годы Токвиль был потрясен масштабами почтовой системы и огромным потоком писем, который шел даже на Дикий Запад. Во время путешествия через Кентукки в Мичиган он отмечал: «Среди этих диких лесов обращается удивительное количество писем и газет», намного большее, по его расчетам, чем даже в самых густонаселенных и экономически активных провинциях Франции. По словам одного современного историка американской республики:

“ Американцы вскоре придали своей почтовой системе более серьезные масштабы, чем британцы или французы. К 1816 году почтовая система насчитывала свыше тридцати трех сотен отделений, в ней было занято около 70 % всех федеральных гражданских служащих. Объем почты рос так же быстро. В 1790 году почтовая система доставила лишь триста тысяч писем, по одному на каждые пятнадцать жителей страны. К 1815 году она доставляла около семи с половиной миллионов писем в год, то есть по одному на каждого жителя...

И, в отличие от Великобритании и других европейских стран, письма доставлялись без правительственного надзора или контроля¹²⁴.

На протяжении большей части столетия федеральное правительство с точки зрения подавляющего числа американцев представляло собой почтовую службу. К 1831 году по количеству занятых в ней лиц она намного превосходила все остальные правительственные ведомства, вместе взятые, и заметно опережала армию; для большинства жителей маленьких городов почтовые служащие были единственными федеральными чиновниками, которых они вообще могли когда-либо встретить.

В те времена европейцы смотрели на США как на своего рода утопический эксперимент: здесь отвергались либеральные принципы в экономике, зато получили широкое распространение кооперативы, финансируемые правительством проекты и протекционные тарифы. Лишь со становлением корпоративного капитализма после Гражданской войны Соединенные Штаты приблизились к германской модели бюрократического капитализма. Когда это произошло, популисты и особенно прогрессисты стали считать модель почтовой службы наиболее подходящей альтернативой. И вновь казалось, что формы нового, более свободного и рационального общества возникают в рамках структур угнетения. В Соединенных Штатах использовался термин «почтализация» (postalization) – уникальный американский неологизм (который, что показательно, впоследствии полностью исчез из языка), придуманный для обозначения национализации. И все же ровно в то же время, когда Вебер и Ленин называли германскую почтовую службу моделью будущего, американские прогрессисты утверждали, что даже частный бизнес был бы эффективнее, если бы им управляли так же, как почтой, и перечисляли важнейшие победы почтализации, например, национализацию некогда частного метро и пригородных и межштатных железных дорог, которые в крупнейших американских городах так и остались в руках государства.

В ретроспективе все эти фантазии о почтовой утопии выглядят в лучшем случае забавными. Сегодня мы ассоциируем национальные почтовые системы с доставкой вещей, которые мы не очень-то хотим получать: счета за коммунальные услуги, предупреждения о перерасходе средств, каталоги посылочной торговли, извещения, розыгрыши, повестки в суд присяжных, налоговые проверки, «уникальные» предложения получить кредитную карту и призывы жертвовать деньги на благотворительность. Хотя изначально образ почтовых работников в глазах американцев был довольно популярным, со временем он становился все более отталкивающим. Но это происходило не само собой, а стало результатом преднамеренного выбора. Начиная с 1980-х годов, законодатели систематически урезали финансирование почтовой службы и поощряли частные инициативы в рамках кампании по убеждению американцев в том, что правительство на самом деле не работает¹²⁵. В результате почтовая служба очень скоро превратилась в символ всего самого отрицательного, что есть в государственной бюрократии: в газетах печатались бесконечные истории о забастовках, о сотрудниках-наркоманах, о складах, забитых до отказа неотправленными письмами, и, разумеется, о работниках, которые время от времени сходили с ума (going postal) и открывали огонь по менеджерам, коллегам, полицейским или случайным прохожим. В современной литературе термин «почтализация» мне удалось обнаружить только в одной работе о насилии на рабочем месте под названием «Безумие корпоративной Америки», где описывается, как эпидемия нападений на начальников и коллег перекинулась из государственного сектора на частные корпорации.

В блестящей книге «Немотивированное насилие: ярость, убийства и бунт – от рейгановских рабочих мест до клинтоновской Колумбины и далее» Марк Эймс старательно собрал журналистские рассказы об этих событиях (агрессия зародилась в отделениях почтовой службы и распространилась в частных офисах и фабриках – и даже в негосударственных почтовых компаниях вроде UPS – и стала настолько обычным явлением, что многие из происшествий даже не упоминались в национальных новостях). По его замечанию, описания этих инцидентов, всегда представляющие их как проявления необъяснимого индивидуального гнева и безумия, но не содержащие и намека на систематическое унижение, которому подвергаются работники, удивительно похожи на очерки о восстаниях рабов в прессе XIX века¹²⁶. Эймс пишет, что в американской истории было на редкость мало организованных бунтов рабов. Но было достаточно прецедентов, когда отдельные рабы или небольшие группы нападали на надсмотрщиков, хозяев и членов их семей с топорами, ножами, ядом или любыми другими средствами, оказывавшимися у них под рукой. В обоих случаях журналисты описывали такие вспышки насилия как результат либо личного безумия, либо необъяснимого злого умысла. Действительно, сама попытка предложить структурное объяснение – то есть рассказать об ужасе рабства или обратить внимание на то, что до реформ 1980-х годов в корпоративной структуре, которые уничтожили прежние гарантии пожизненной занятости и защиты работников от произвольного и унижительного обращения со стороны начальства, во всей американской истории не было ни одного случая массового убийства на рабочем месте (если не считать рабов), – казалась безнравственной, поскольку подразумевала, что подобное насилие было до определенной степени оправданно.

Нельзя также отрицать, что в этой риторике была существенная расистская составляющая. Если на протяжении большей части XX века в глазах афроамериканских рабочих почтовая

служба была символом не только стабильного и надежного, но еще и уважаемого труда на благо общества¹²⁷, то после Рейгана ее стали представлять как воплощение деградации, насилия, злоупотребления наркотиками и неэффективности социального государства, рассматриваемого в расистских категориях (это отождествление афроамериканцев как с высокомерной бюрократией, так и с пугающим случайным насилием вновь и вновь проявляется в американской популярной культуре, хотя и редко в обоих случаях одновременно. Одной из повторяющихся деталей боевиков является то, что вечно взбешенный и пренебрегающий все правила начальник эксцентричного героя почти всегда – черный)¹²⁸.

В то самое время, когда была развязана война против почтовой службы и в народном восприятии она стала ассоциироваться с безумием, деградацией и насилием, происходило нечто похожее на восхищение почтовой службой рубежа веков. Резюмируем эту историю следующим образом:

- “ 1. На основе военных разработок развиваются новые коммуникационные технологии.
2. Они быстро распространяются, радикально меняя повседневную жизнь.
3. За ними закрепляется репутация фантастической эффективности.
4. Поскольку они действуют на основе нерыночных принципов, очень скоро радикалы начинают говорить о них как о первых проявлениях будущей некапиталистической экономической системы, развивающейся внутри старой.
5. Несмотря на это, они быстро превращаются в средство правительственного контроля и распространения бесконечных новых форм рекламы и ненужной бумажной работы.

Если эту историю выразить в такой форме, то станет очевидно, что я имею в виду. Речь идет об истории интернета. В конце концов, что такое электронная почта, если не гигантская, охватывающая весь мир, суперэффективная почтовая служба? Разве она не создала ощущение, будто в недрах самого капитализма появилась новая, чрезвычайно эффективная форма кооперативной экономики – даже несмотря на то, что она завалила нас спамом и рекламными предложениями, привлекла мошенников и наделила власти новыми, творческими формами слежения за нами?

Разумеется, различия есть. Прежде всего, интернет создает более партисипативные, демократические формы сотрудничества. Это важно. Но здесь меня интересует не столько историческое значение этого феномена, сколько следующий вопрос: что это говорит нам о

привлекательности самой бюрократии?

Ну, наверное, в первую очередь важно, что, хотя и почтовая служба, и интернет являются военными разработками, их можно рассматривать как применение военных технологий в исключительно мирных целях. Как я говорил, организованное насилие как форма коммуникации радикально упрощает, демонтирует и в конечном итоге предотвращает коммуникацию; организованное насилие как форма действия является формой антидействия, поскольку его конечная цель заключается в том, чтобы не позволить другим действовать (либо действовать определенным образом, либо, если этих других убивают, вообще действовать как-либо). Тем не менее тут перед нами открывается возможность превратить эти упрощенные, минималистические формы действия и коммуникации, характерные для военных систем – будь то иерархические цепочки или бинарные коды, – в невидимую основу, на которой можно создавать все то, чем они не являются: мечты, проекты, объяснения в любви и страсти, художественное вдохновение, бунтарские манифесты и все что угодно. Они дают возможность творить и поддерживать социальные отношения, которые не могли бы существовать в ином виде. Но все это также подразумевает, что бюрократия начинает привлекать нас, то есть казаться освободительницей, именно тогда, когда исчезает: когда она становится настолько рациональной и надежной, что мы можем просто считать само собой разумеющимся, что мы способны засыпать на кровати из цифр и просыпаться в уютном окружении все тех же цифр.

В этом смысле бюрократия зачаровывает тогда, когда ее допустимо рассматривать как разновидность того, что я назвал поэтическими технологиями, то есть как технологию, благодаря которой механические формы организации носящей, как правило, военный характер, могут использоваться для воплощения невозможных замыслов: для создания городов на пустом месте, полетов к небесам и превращения пустынь в цветущие сады. На протяжении большей части человеческой истории такого рода власть была доступна лишь правителям империй или командующим победоносными армиями, поэтому здесь мы даже можем говорить о демократизации деспотизма. Некогда привилегия взмахнуть рукой и увидеть, как огромная невидимая армия шестеренок и колес выстраивается, чтобы воплотить ваши прихоти в жизнь, была доступна только немногим, самым привилегированным особам; в современном мире ее можно разделить на миллионы маленьких порций и сделать доступной всякому, кто способен написать письмо или щелкнуть выключателем¹²⁹.

Все это подразумевает очень специфическое понимание свободы. Более того, на мой взгляд, это обозначает отказ от прежних форм понимания рациональности – и значение данного отказа трудно переоценить.

Позвольте мне объяснить, что я имею в виду.

Западные интеллектуальные традиции всегда склонялись к мысли о том, что способности человеческого разума представляют собой прежде всего способы подавления наших низменных инстинктов. Этот довод можно найти уже у Платона и Аристотеля; он значительно укрепился, когда в христианстве и в исламе были разработаны классические теории о душе. Действительно, гласил довод, у всех нас есть животные побуждения и

страсти, равно как и творческие способности, и воображение, однако эти порывы носят хаотичный и антиобщественный характер. Разум – будь то в индивидуальном или в политическом сообществе – существует для удержания в узде нашей изменчивой природы, для сдерживания и подавления потенциально разрушительной энергии, направляя ее в такое русло, чтобы она не вела к хаосу и ко взаимному уничтожению. Это нравственная сила. Вот почему, например, в английском языке от слова «полис», означающего политическое сообщество и место рационального порядка, происходят такие понятия, как politeness («вежливость») и police («полиция»). В итоге эта традиция всегда неявно подразумевает, что в наших творческих способностях должно быть что-то демоническое.

Становление бюрократического популизма, которое я описываю, соответствует полному пересмотру этой концепции рациональности и переходу к новому идеалу, выраженному Давидом Юмом следующим образом: «Разум является и должен являться только рабом страстей»¹³⁰. С этой точки зрения рациональность не имеет ничего общего с нравственностью. Это чисто технический аспект – инструмент, машина, способ рассчитать самый эффективный путь для достижения целей, которые невозможно оценить в рациональных категориях. Разум не может сказать нам, чего мы должны хотеть. Он может лишь сообщить нам, как этого проще всего добиться.

В обоих вариантах разум был чем-то не связанным с творчеством, желаниями или страстями; тем не менее в одном он ограничивал эти страсти, в другом – потворствовал им.

Наиболее полное развитие эта логика получила в рамках новой науки – экономики, но ее истоки восходят к бюрократии в не меньшей степени, чем к рынку (стоит помнить, что экономисты работают и всегда работали на крупные бюрократические организации того или иного рода). Сама мысль, что можно четко разграничить средства и цели, факты и ценности, является продуктом бюрократического мышления, потому что бюрократия – это первый и единственный социальный институт, который рассматривает средства для совершения чего-либо отдельно от того, что, собственно, совершается¹³¹. Так, бюрократия действительно была неотъемлемой частью системы ценностей значительной доли населения мира на протяжении довольно длительного периода времени.

Вместе с тем старое представление о рациональности исчезло далеко не полностью. Напротив, хотя оба представления противоречат друг другу, они сосуществуют – и постоянно сталкиваются. В результате само наше понимание рациональности на удивление непоследовательно. Совершенно неясно, что это слово означает. Иногда это средство, иногда – цель. Порой оно никак не связано с нравственностью, порой оно выражает самую суть того, что правильно и хорошо. Временами это метод решения проблем, временами это и есть решение всех возможных проблем.

II. Рационализм как форма духовности

Над этим странным положением дел стоит поразмышлять, потому что оно лежит в самом сердце нашего представления о бюрократии. С одной стороны, мы полагаем, что бюрократические системы являются лишь нейтральными социальными технологиями. Это

просто способы добраться из пункта А в пункт Б, и с вопросами добра и зла они никак не связаны. Я хорошо помню, с каким восхищением и почти что ошеломлением один мой друг, учившийся в Школе общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона при Принстонском университете, всемирно известной кузнице руководителей высшего звена, рассказывал мне, что ему пришлось записаться на курс по «этике, свободной от оценочных суждений». На первый взгляд это звучит абсурдно. Но на самом деле такое представление неизбежно проистекает из следующего понимания роли бюрократов: они являются государственными служащими, а служащие должны выполнять поручения начальников вне зависимости от того, что от них требуется. Однако, поскольку их начальником является некто под названием «общественность», возникают определенные проблемы: как понять, что именно общественность хочет, чтобы они делали. Этому и обучали начинающих чиновников на курсе по «этике, свободной от оценочных суждений»: например, если речь идет о проектировщиках сетей автомобильных дорог, как применять количественные методы при определении относительного значения своевременного прибытия на работу и исключения смерти или увечья в автомобильном происшествии (на экономическом жаргоне это называется определением значения «выявленных предпочтений» в данном вопросе) и затем установить соответствующее ограничение скорости.

С другой стороны, в полном противоречии со всем этим продолжает существовать современное воплощение более раннего представления о рациональности как о нравственном порядке, а значит, и как о самодостаточной цели. Почти все приверженцы утопических представлений, будь то социалисты, сторонники свободного рынка или даже религиозные фундаменталисты, мечтают создать такой социальный порядок, который, в отличие от нынешнего устройства, станет последовательным и осмысленным – и потому будет представлять собой торжество разума над хаосом¹³². Стоит ли говорить о том, что создание эффективной бюрократии всегда оказывается краеугольным камнем любого подобного проекта.

Аргументы о роли «рациональности» в политике почти всегда искажают эти два противоречивых представления.

Если пытаться докопаться до базовых определений, то это ничего особенного не даст. Во многих отношениях станет только хуже. Среди философов нет согласия даже относительно того, что, собственно, значит слово «рациональность». Согласно одной традиции, например, рациональность – это применение логики, чистого мышления, не замутненного эмоциями; это чистое, объективное мышление считается основой научных исследований. Такое представление стало довольно популярным, но есть одна фундаментальная проблема: сами научные исследования показали, что оно, возможно, неверно. Когнитивные психологи много раз доказывали, что не существует чистого мышления, свободного от эмоций; человек без эмоций вообще не был бы способен думать¹³³.

Другие предпочитают более прагматический подход, просто утверждая, что рациональным можно считать такой довод, который основывается на эмпирической реальности и в то же время логически последователен по форме. Проблема здесь в том, что эти два критерия слабо связаны друг с другом. Один имеет отношение к наблюдению, другой – к умозаключениям¹³⁴. Что у них общего? Похоже, прежде всего то, что, когда кто-то

приводит какой-нибудь неадекватный или бессвязный довод, мы, скорее всего, сочтем, что у этого человека не все в порядке с головой. С одной стороны, это вполне честно: мы говорим о сумасшедших людях, что они «нерациональные». Но если это так, назвать кого-либо или какой-либо довод «рациональным» не значит практически ничего. Это очень слабое утверждение. Вы просто говорите, что они, очевидно, не безумны.

Но если посмотреть на него с другой стороны, становится понятно, что утверждение о «рациональности» собственных политических воззрений – это чрезвычайно сильное утверждение. Более того, оно невероятно самонадеянно, поскольку означает, что те, кто не согласен с этими воззрениями, не просто неправы, но и безумны. Подобным же образом, сказать, что кто-то желает создать «рациональный» общественный порядок, означает, что нынешнее социальное устройство было организовано пациентами психбольницы. Конечно, каждый из нас хотя бы раз чувствовал себя безумцем. Но эта позиция в любом случае чрезвычайно нетерпима, поскольку подразумевает, что ее противники не просто ошибаются, но, в определенном отношении, даже не знают, что значит быть правым, если только каким-то чудом они не переменят мнение, не откроются свету разума и не решат принять вашу точку зрения и систему взглядов.

Превратным последствием тенденции возносить рациональность в категорию политической добродетели стало то, что она подталкивала тех, у кого вызывали отторжение такие претензии или люди, их высказывавшие, к полному отвержению рациональности и к принятию «иррационализма». Разумеется, если мы обратимся к простейшему определению рациональности, такая позиция абсурдна. Вы не можете выдвигать доводы против рациональности, поскольку, для того чтобы звучать убедительно, они должны быть выражены в рациональных категориях. Если кто-то хочет спорить с другим человеком, он должен признать, хотя бы негласно, что аргументы, основанные на адекватной оценке реальности, лучше тех, у которых такой основы нет (то есть что всякий аргумент, который выводится из допущения, что все здания сделаны из зеленого сыра, не стоит воспринимать серьезно), и что положения, следующие законам логики, лучше тех, которые их нарушают (то есть что довод о том, что, поскольку мэр Цинциннати человек, все люди – мэры Цинциннати, также можно отклонить).

Здесь было бы неуместно разбирать все логические ловушки и противоречия, что порождает эта ситуация. Я просто хочу задать вопрос, как мы вообще до этого дошли. На мой взгляд, единственное, что нам остается, – это вернуться к самому началу и обратиться к историческим истокам западного представления о «рациональности», возникшего в греческих городах на Юге Италии в середине первого тысячелетия до нашей эры.

Первой философской школой, чьи участники стали представлять себя рационалистами и считать ценностью рациональность сама по себе, было пифагорейство, являвшееся еще и своего рода политическим культом или братством, которому удалось захватить власть во многих городах Италии¹³⁵. Их великим интеллектуальным открытием стало обнаружение формального сходства между математическими соотношениями, которые можно наблюдать в геометрии, музыкальными интервалами и движениями планет. На этой основе они пришли к выводу о том, что Вселенная, по крайней мере на каком-то конечном уровне, состоит из

цифр – теперь эту мысль помнят благодаря очаровательной концепции неслышимой «музыки сфер». Согласно пифагорейцам, космос рационален, потому что в конечном счете он является выражением принципов чисел, степеней и вибраций, и, когда человеческий ум (или душа) использует силу разума, он лишь участвует в этом более широком рациональном порядке, присоединяется к космической «мировой душе», приводящей все в движение¹³⁶.

Эта картина вселенной, которую Платон отразил в «Тимее», имела огромное влияние. В первое и второе столетие существования Римской империи практически все крупнейшие философские школы переняли те или иные варианты изначального набора пифагорейских идей – не только неоплатоники, но и стоики, и даже, до некоторой степени, эпикурейцы. Более того, они создали философскую основу того, что Ханс Йонас назвал новой «космической религией» поздней Античности, в которой слились элементы греческих космологических рассуждений, вавилонской астрологии и египетской теологии, зачастую сочетавшиеся с различными течениями еврейской философии и традициями народной магии¹³⁷. Как отмечал Йонас, эта космическая религия, согласно которой Бог, Разум и Космос являются одним и тем же, а самые возвышенные дарования людей представляют собой формы участия в этом рациональном космическом порядке, была своего рода политическим отступлением, несмотря на всю ее величественность. Пифагорейцы, как и большинство греческих философов, активно участвовали в политической жизни полиса, стремясь перестроить ее на рациональных началах. В Римской империи это стало невозможным. Все политические вопросы теперь были решены. Единый, казавшийся вечным, правовой и бюрократический порядок управлял общественными делами; не надеясь изменить эту структуру, интеллектуалы все чаще обращались к откровенному мистицизму, пытаясь найти новые способы полностью выйти за пределы земных систем, подняться в различные планетарные сферы, очиститься от материальности, достичь разреженной сферы чистого разума, божественного царства трансцендентальных математических законов, управлявших временем и движением и в конечном счете делавших их призрачными. Бог не установил эти законы, а сам был этими законами. Таким образом, человеческий разум просто является действием этого божественного начала внутри нас. В этом смысле рациональность – это не просто духовное понятие, оно носит мистический характер, будучи способом соединения с божеством.

Этот набор представлений о природе рациональности, перенесенный Августином в христианство, практически полностью сформировал средневековую философию, как бы трудно ни было его примирить с понятием трансцендентного своенравного Творца (средневековая философия, по сути, занималась поиском различных путей такого примирения).

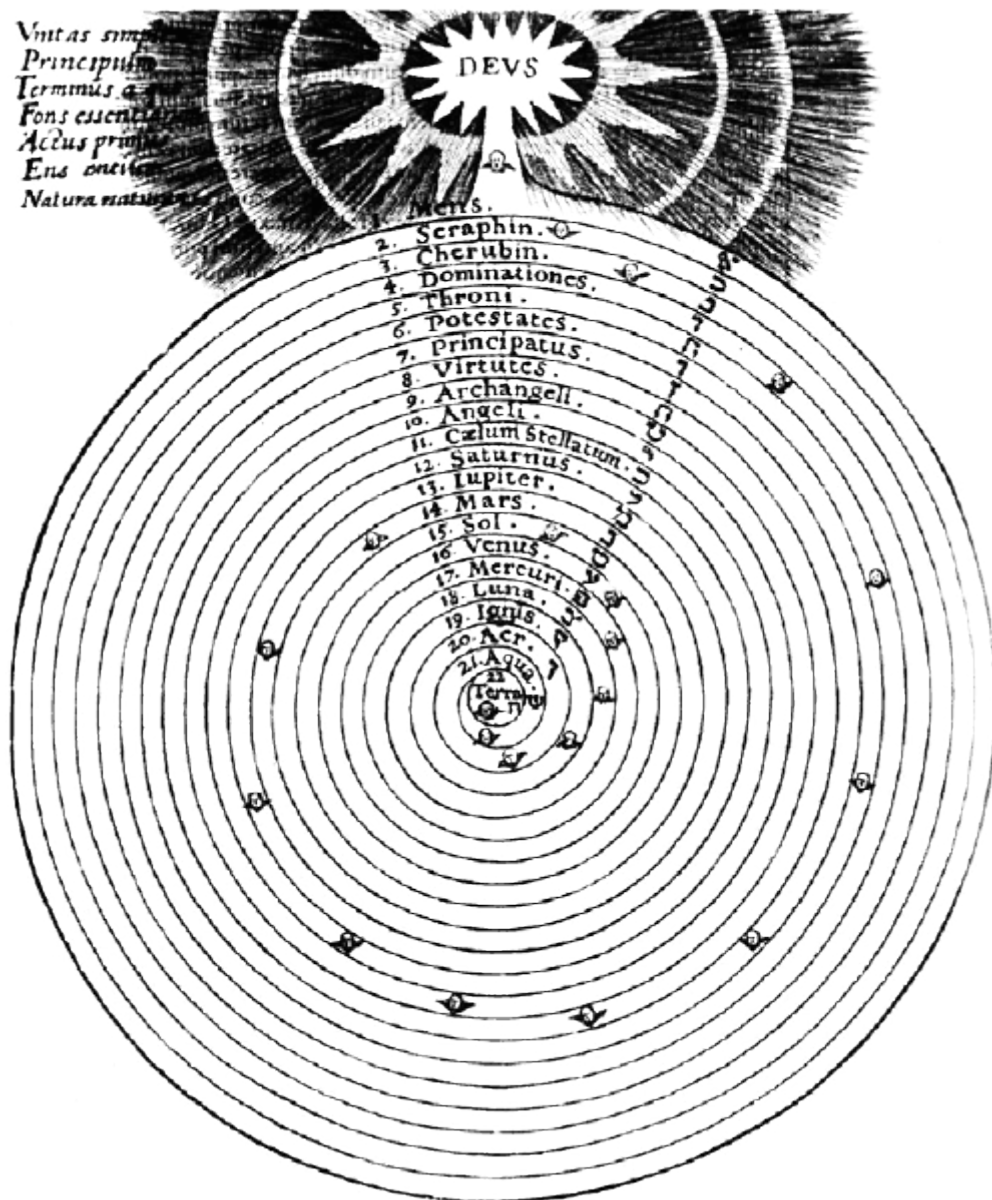
Во многих отношениях эти допущения все еще сохраняются. Взять хотя бы распространенное представление из детства, которое мы считаем самоочевидной истиной и в соответствии с которым рациональность – это то, что отличает нас от других животных (то есть мы как вид «обладаем способностью размышлять»). Это средневековая идея¹³⁸. Если задуматься, смысла в ней немного. Если «рациональность» – это просто способность так или иначе оценивать реальность и делать логические выводы, то животные в большинстве своем чрезвычайно рациональны. Они постоянно решают проблемы. Большинство из них делают это не так успешно, как люди, но фундаментального различия между ними и нами

нет. Есть много других способностей, которые были бы лучшими кандидатами – то есть те, которыми действительно обладают только люди. Очевидным выбором было бы воображение. Животные постоянно совершают рациональные, рассчитанные и целенаправленные действия, но трудно представить, что большинство из них начнет вдруг придумывать фантастические миры¹³⁹. Как однажды заметил антрополог Эдмунд Лич, человека отделяет от животных не наличие бессмертной души, а скорее способность представить, что она у него есть¹⁴⁰. Но, разумеется, если душа – это обиталище Разума, божественного начала в Человеке, то утверждать, что люди обладают бессмертной душой и что они являются рациональными созданиями, означает говорить одно и то же¹⁴¹.

Этот вывод неизбежно следовал из логики Великой цепи бытия, в рамках которой все живые существа были частью единой иерархии, где рациональность возрастала по мере приближения к Богу, а люди находились на вершине естественного порядка, между животными и ангелами.

В великих космических иерархиях поздней Античности, с их архонтами, планетами и богами, действующими в соответствии с абстрактными законами разума, легко увидеть простые образы римского юридического бюрократического порядка, выраженные в очень, очень крупных масштабах. Любопытно, что эта бюрократическая картина мироздания просуществовала целое тысячелетие после гибели Римской империи. Теологи Средневековья и Возрождения написали бесчисленное множество умозрительных трактатов об ангельских иерархиях, в которых Вселенная обретала еще более бюрократические формы, чем представляли себе античные философы¹⁴²(рис. 8).

Рисунок 8.



Например, в XVI веке Марсилио Фичино предложил следующую структуру ангельской иерархии, позаимствованную из работы христианского неоплатоника IV века, чье настоящее имя было давно забыто и чьи мысли были переработаны св. Фомой Аквинским и Данте:

“ **Серафим** размышляет о порядке и божественном провидении.

Херувим размышляет о сути и форме Бога.

Престолы тоже размышляют, хотя некоторые снисходят и до работы.

Господства, подобно архитекторам, проектируют то, что другие делают.

Власти исполняют, движут небеса и содействуют в совершении чудес как орудия Бога.

Силы наблюдают за тем, чтобы порядок божественного управления не нарушался, какие-то из них снисходят до человеческих обязанностей.

Начала занимаются общественными делами, государствами, властителями, чиновниками.

Архангелы отправляют божественный культ и присматривают за святынями.

Ангелы берут на себя небольшие дела и опекают отдельных людей в качестве их ангелов-хранителей¹⁴³.

Ангелы – это «небесные интеллекты», выстроенные по порядку от тех, кто занят чистым мышлением, до тех, кто печется о непосредственном управлении мирскими делами. Во времена, когда непосредственное управление в Европе было максимально раздробленным, европейские интеллектуалы обсуждали точное разделение властей в рамках единой, масштабной, воображаемой системы космической администрации.

В наши дни великий синтез поздней Античности, которому дали новое дыхание алхимики и чародеи Ренессанса вроде Фичино, Агриппы и Джордано Бруно (и который заодно пропитался идеями каббалы и других духовных традиций), продолжает служить основой западной церемониальной магии. Считается, что Просвещение решительно с ней порвало. Однако фундаментальная структура исходных допущений на самом деле не изменилась. Призыв Декарта и его последователей к рациональности остается прежде всего духовной и даже мистической установкой, в соответствии с которой математические и схожие с математическими абстракции, считающиеся основой мышления, также являются принципами, упорядочивающими природу, – и это остается справедливым вне зависимости от того, отождествляются ли они с Богом или рассматриваются в качестве окончательного доказательства его отсутствия.

Размышлять в этом ключе трудно, ведь мы привыкли отождествлять душу не с разумом, а со всем тем, что делает нас уникальными, неординарными и одаренными богатым воображением. Однако такое представление является продуктом романтической эпохи, которое в свое время обозначило полный разрыв с предшествующими воззрениями. Опять-таки здесь вряд ли было бы уместно детально разбирать разгоревшиеся на этой почве споры относительно взаимосвязи между разумом, воображением и желанием, однако это представление помогает нам осознать, почему понятие «рациональности» и в особенности бюрократической рациональности не способно ограничить себя простыми вопросами дедуктивного характера или даже технической эффективности и почти всегда пытается превратить себя в грандиозную космологическую схему.

III. О бюрократизации антибюрократических фантазий

Я решил, что больше не буду беспокоиться о моей [преподавательской] работе, и перестал выключать звук компьютера в рабочее время. В коридоре какой-нибудь студент мог ждать оценки своего задания, а я словно говорил ему: «Погоди, дай мне убить этого гнома, и я займусь тобой».

Мой знакомый преподаватель (имя не указано по очевидным причинам)

Тот факт, что современная наука, до определенной степени, исходит из религиозных установок, разумеется, вовсе не означает, что ее достижения ложны. Но, на мой взгляд, он показывает, что мы должны сделать шаг назад и серьезно задумываться всякий раз, когда кто-то заявляет, что пытается создать более рациональное общественное устройство (особенно когда он мог бы просто назвать это социальное устройство разумным, более достойным, менее жестоким или более справедливым).

Как мы видели, европейское Средневековье создало образ воображаемой небесной бюрократии, образцом для которой послужила бюрократия Древнего Рима¹⁴⁴, считавшаяся воплощением космической рациональности во времена, когда настоящая бюрократия практически отсутствовала. С течением лет она, конечно, заметно укрепилась. Но по мере того, как возникали бюрократические государства и бюрократическая рациональность становилась преобладающим принципом управления в XVIII и XIX веках в Европе и Америке, мы наблюдаем своего рода движение в обратном направлении: становление столь же фантастического образа Средних веков, где царили государи, рыцари, феи, драконы, колдуны и единороги, а затем и хоббиты, гномы и чудовища. В наиболее важных аспектах этот мир носит явно антибюрократический характер, то есть открыто отвергает все ключевые ценности бюрократии.

В предыдущем очерке я отмечал, что научная фантастика составила стандартный перечень изобретений будущего, от телепортации до сверхсветовых двигателей, и обращалась к нему с таким постоянством – не только в литературе, но и в играх, телешоу, комиксах и тому подобных материалах, – что наверняка о них знает практически каждый подросток в Канаде, Норвегии или Японии. То же можно сказать об основных элементах этой фантастической литературы, которая хотя и отличается от текста к тексту, от фильма к фильму, но, как ни удивительно, использует очень схожий набор персонажей, систем управления (в основном волшебных), технологий, зверей и культурных традиций. Не стоит и говорить, что он практически ни в чем не походит на то, что на самом деле имело место в Средние века. Но для понимания подлинных исторических истоков этого мира следует заглянуть в прошлое.

Мы привыкли говорить о «государстве» как о едином организме, но, на мой взгляд, современные государства лучше рассматривать как слияние трех различных элементов, имеющих разное историческое происхождение, внутренне не связанных друг с другом и, возможно, переживающих процесс окончательного размежевания.

Я буду называть эти элементы суверенитетом, администрацией и политикой.

Суверенитет обычно воспринимают как определяющую черту: в суверенном государстве правитель претендует на монополию на легитимное использование силы в рамках определенной территории. Большинство правителей Древнего мира, равно как и Средневековья, никогда не говорили о суверенитете в таком понимании. Им это и в голову не могло прийти: это была логика завоевательных империй, а не цивилизованных сообществ.

Второй элемент – администрация, которая может существовать и зачастую действительно существует без единого центра силы, обязывающего выполнять ее решения. Его, разумеется, можно просто назвать бюрократией. Действительно, недавние археологические находки из Месопотамии показывают, что бюрократические приемы зародились даже не до появления суверенных государств, а до возникновения первых городов. Они не были изобретены для управления масштабом, то есть в качестве средств организации обществ, ставших слишком крупными для того, чтобы в них можно было ограничиваться лишь личными взаимодействиями. Скорее они появились для того, чтобы побудить людей объединяться в такие крупные сообщества. По крайней мере, на это указывают исторические свидетельства. Стандартизация товаров, хранение, сертификация, делопроизводство, перераспределение и подсчет всего появились, судя по всему, в небольших городах на берегах Тигра и Евфрата и в поселениях, являвшихся их данниками, в пятом тысячелетии до нашей эры, за тысячу лет до «городской революции»¹⁴⁵. Мы не знаем, как и почему это произошло; нам даже не известно, имелись ли там бюрократы (то есть обособленный класс обученных чиновников) или речь шла лишь о становлении бюрократических приемов. Однако ко времени составления первых исторических свидетельств они уже были: мы обнаруживаем крупные дворцово-храмовые комплексы с иерархией обученных писцов, которые тщательно регистрировали и перераспределяли различные ресурсы.

Третий элемент мы можем назвать политикой, если будем использовать это слово в максимально широком смысле. Разумеется, в узком значении допустимо сказать, что все человеческие поступки имеют политическую подоплеку, поскольку с их помощью люди добиваются власти. Но общественных систем, в которых политика в этом смысле становится зрелищным видом спорта, очень немного: могущественные персонажи в них постоянно вовлекаются в общественную борьбу друг с другом, пытаются привлечь на свою сторону союзников и добиться поддержки. Сейчас мы видим в этом черту демократических систем правления, но на протяжении большей части человеческой истории это считалось скорее аристократическим феноменом. Достаточно вспомнить о гомеровских героях или, если на то пошло, о персонажах германских, кельтских или индуистских эпосов: они постоянно себя нахваливали, сражались на поединках, соревновались друг с другом, закатывая великолепные пиры или устраивая величественные жертвоприношения, или пытались превзойти друг друга, преподнося необыкновенные подарки¹⁴⁶. Такие социальные порядки, которые стали называться «героическими», представляют собой квинтэссенцию политики. Они не признают принципа суверенитета, но и не создают административной системы; иногда в них присутствует король, но обычно власть его сильно ограничена или он является чисто номинальной фигурой; реальная власть постоянно перетекает по мере того, как харизматичные аристократы собирают группы сторонников, наиболее успешные из них переманивают к себе чужих вассалов, а другие терпят громкие поражения или постепенно

уходят в тень.

Политика в этом смысле всегда была прежде всего аристократическим явлением (в Сенате США, например, неслучайно обретаются исключительно миллионеры). Вот почему на протяжении большей части европейской истории выборы считались не демократическим, а аристократическим способом отбора государственных служащих. Ведь «аристократия» буквально означает «правление лучших», и потому выборы означали, что единственная роль обычных граждан состояла в том, чтобы решить, кто из «лучших» граждан мог считаться самым лучшим; примерно так же гомеровский воин или какой-нибудь монгольский всадник мог перейти на службу к новому харизматичному полководцу (демократическим способом отбора чиновников, по крайней мере начиная с Древней Греции, был жребий, когда обычные граждане избирались на должности путем случайной лотереи).

Что у всего этого общего с драконами и волшебниками? На самом деле связей довольно много. Все имеющиеся у нас свидетельства показывают, что подобные героические порядки не появлялись спонтанно по соседству с бюрократическими обществами, а вступали с ними в симбиотическое соперничество и оставались долгое время в памяти потому, что воплощали собой отвержение любой возможной бюрократии.

Здесь я вынужден снова вернуться к археологии и особенно к работе моего друга Дэвида Уэнгроу по древнему Ближнему Востоку¹⁴⁷. Подлинные истоки того, что я называю «героическими обществами», судя по всему, находятся на холмах и горах, в пустынях и степях, раскинувшихся на окраинах великих торгово-бюрократических обществ Месопотамии, Египта и долины Инда, а затем империй вроде Рима, Персии или Китая. Экономически эти общества были тесно связаны с городскими центрами. Они поставляли туда сырье и импортировали из них самые разные предметы роскоши, изготавливаемые в городских мастерских. Тем не менее, начиная с самых ранних эпох, обе стороны стали определять себя как нечто, чем другая сторона не являлась. Горожане стали воспринимать цивилизацию как противоположность варварству; варвары, в свою очередь, начали создавать общественные порядки, в которых ключевые ценности торгово-бюрократической цивилизации ставились с ног на голову. Если одни создавали и хранили литературные шедевры, то другие отказывались от использования письма, зато чтити поэтов, которые могли всякий раз выдавать эпические стихи, импровизируя. Если одни тщательно хранили и регистрировали предметы, представлявшие материальную ценность, другие устраивали масштабные празднества в стиле потлача, где бесценные сокровища либо раздавались сторонникам или соперникам в знак презрения к материальному благосостоянию, либо вообще уничтожались, сжигались или сбрасывались в море. Если одни развивали бюрократию, которая держалась в тени, но обеспечивала предсказуемую стабильность, другие организовывали общественную жизнь вокруг харизматичных себялюбцев, бесконечно боровшихся друг с другом за власть.

Первые героические общества возникли в бронзовый век и ко времени Платона или Конфуция уже считались очень далекими воспоминаниями. Тем не менее эти воспоминания оставались яркими. Почти все великие литературные традиции начинаются с героических эпосов, которые, по сути, представляют собой позднейшие причудливые реконструкции героических обществ бронзового века. Мы можем задаться вопросом о том, почему это

произошло. Почему те самые люди, которые высмеивались представителями городской цивилизации, считавшими их невежественными варварами, так часто изображались в качестве далеких героических предков этой же цивилизации? Почему истории об их подвигах рассказывались вновь и вновь на протяжении тысяч лет?

На мой взгляд, отчасти это объясняется тем, что героические общества являются социальным строем, предназначенным для создания историй. Это возвращает нас к вопросам о самой природе политики. Вполне можно утверждать, что политические действия – и это справедливо даже на микроуровне – представляют собой такие деяния, которые начнут влиять на других людей хотя бы частично, когда те будут слышать или узнавать о них¹⁴⁸. Повседневная политика, как в поселке, так и в офисе корпорации, тесно связана с производством официального нарратива, слухов и отчетов. Очевидно, что героические общества, обратившие политическое самовозвеличивание в художественную форму, тоже были устроены таким образом, что становились огромными машинами для воспроизведения мифов. Все превращалось в арену какого-нибудь противостояния, в некий рассказ о настойчивости, вероломстве, мести, неосуществимых начинаниях, эпических походах или величественных актах самопожертвования. Вот почему поэты были так важны. Вся суть жизни заключалась в том, чтобы совершать такие деяния, которые другие люди пожелали бы воспеть. Даже на самых ранних этапах жители бюрократических обществ вроде Египта или Вавилона не могли не испытывать восхищения перед варварскими странами, которые очень скоро превратились в мрачные земли, полные монстров и странных волшебных сил. И разумеется, драматические истории о жестоких варварах стали завораживать еще больше в эпохи, когда настоящих жестоких варваров уже не осталось.

Варвары всегда существуют в симбиотической связи с бюрократической цивилизацией. В ходе истории Евразии этот паттерн повторялся много раз. Героические общества зарождались на границах империи; зачастую они даже вторгались в эти империи и разрушали их (как в случае обществ германцев, образовавшихся на границах Римской империи, или северных варваров вдоль Великой Китайской стены, или гуннов, которые граничили с обеими империями); впрочем, они обычно быстро рассеивались, превращаясь в легенду¹⁴⁹.

Можно сказать, что истоки современной фантастической литературы восходят к поздним рыцарским романам вроде «Амадиса Гальского» или «Неистового Роланда», однако узнаваемые очертания этот жанр приобрел в Викторианскую эпоху, примерно тогда же, когда почтовая служба вызвала всеобщий энтузиазм. Время действия в нем очень специфично. В определенном отношении оно является лишь современной версией сказочного рефрена «жил да был», который представлял собой как некое расплывчатое, точно не определяемое прошлое, так и другое измерение, существующее одновременно с нашим (как подтверждают многие истории, есть много мест перехода из нашего мира в мир сказочный, где время и пространство функционируют совершенно иначе). Однако тональность этой фантастической литературы совсем иная. Сказки отражают женский и детский взгляд на общество Средних веков и раннего Нового времени; их героями скорее будут доярки и пронырливые сыновья сапожников, чем царедворцы и государи; тогда как в том, что стало называться фантастической литературой, рефрен «жил да был» полностью преобразился под влиянием героического эпоса. Под «фантастической литературой» я имею

в виду прежде всего то, что иногда называют жанром «меча и колдовства», истоки которого восходят к викторианским писателям вроде Джорджа Макдональда и Лорда Дансени и самыми яркими представителями которого остаются Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Льюис и Урсула К. Ле Гуин¹⁵⁰. Именно в рамках этой традиции сформировался стандартный набор персонажей (воин, священник, волшебник), разновидности чар, чудовищ и так далее: стандартный репертуар, который повторяется в бесчисленном количестве вариантов в сотнях, если не тысячах современных литературных произведений.

Эти книги притягивают не только тем, что они дают обитателям бюрократических обществ бесконечный материал для мечтаний. Они привлекают прежде потому, что по-прежнему систематически отвергают все, чем дорожит бюрократия. Подобно тому как средневековые священники и мудрецы любили фантазировать на тему лучезарной небесной административной системы, мы грезим о приключениях средневековых священников и мудрецов в мире, из которого были тщательно устранены все признаки существования бюрократии.

Почему мы это делаем? Ну, самое простое объяснение заключается в том, что мы имеем дело с разновидностью идеологической прививки. Исторически один из самых эффективных способов, при помощи которого система власти навязывала свои добродетели, заключался в том, чтобы не говорить о них напрямую, а создавать чрезвычайно яркий образ их полного отрицания – образ того, какой, по ее мнению, была бы жизнь при полном отсутствии, допустим, патриархальной власти, капитализма или государства. Такая идеологическая уловка работает лучше всего тогда, когда на каком-нибудь уровне образ оказывается чрезвычайно привлекательным¹⁵¹. Сначала вас заманивают идеей альтернативного мира, и это замещение вызывает у вас трепет – но затем вы испытываете ужас от последствий осуществления собственных желаний.

Римские игры служат отличным тому примером. До возникновения империи в большинстве средиземноморских городов существовала та или иная форма самоуправления, а на всеобщих собраниях обсуждались дела государственной важности. При демократии даже юридические вопросы рассматривались общественными судами присяжных, состоявшими из сотен граждан. При империи эти суды, разумеется, были лишены всякой власти и постепенно исчезли. Теперь главным публичным местом, где могло собраться большое количество граждан, стал Колизей, или цирк, где демонстрировали гонки на колесницах, гладиаторские игры или травлю преступников дикими животными. Поскольку у этих граждан не было никакого опыта голосования, они поднимали или опускали большой палец, решая, предать ли смерти поверженного гладиатора.

Иными словами, империя не только оправдывала свое существование, навязывая своим подданным единообразную систему законов, но и побуждала их собираться в толпы, готовые к самосуду (игры часто спонсировались теми самыми магистратами, что председательствовали в судах), как бы говоря: «Демократия? Теперь вы знаете, к чему она приводит». Это было настолько эффективно, что в течение последующих двух тысяч лет предупреждения об опасностях демократии – а почти все образованные европейцы на протяжении большей части этого периода были настроены решительно против нее – подчеркивали, что «народ» в такой системе неизбежно начинает вести себя так же, как

толпа в римском цирке: раскалывается на враждующие группы, иррационально мечется между крайностями – от великодушия до жестокости, от слепого следования харизматическим идолам до их уничтожения. И до сих пор почти все образованные люди, даже если они неохотно соглашаются допустить небольшое число демократических элементов в определенных аспектах жизни общества, считают, что их нужно строго отделять от отправления правосудия и от законотворчества.

Я не хочу, чтобы у читателя создавалось впечатление, будто все подобные институты специально придуманы правящими классами для того, чтобы манипулировать массами. Или что даже если это так, они не способны привести к противоположным последствиям. Римские цирки могли быть необычайно эффективными – они и в самом деле являлись одним из самых блестящих антидемократических институтов. Но есть и другой знаменитый пример, а именно средневековые карнавалы, прославлявшие пьянство и обжорство, бунтарство и сексуальность и носившие явно неоднозначный характер. Состоятельные покровители карнавалов, безусловно, видели в них способ предупредить массы о тех ужасах, которые могут стать явью, если рухнет иерархический порядок общества, но очевидно, что многие простые люди, непосредственно занимавшиеся организацией и проведением львиной доли празднеств, не считали эту перспективу столь же ужасной (более того, зачастую карнавалы служили прологом к настоящим бунтам)¹⁵².

Бесспорно, фантастическая литература тоже двусмысленна. Ее авторы сами часто не были уверены в том, к каким политическим последствиям приведут их произведения. Дж. Р. Р. Толкин, например, однажды заметил, что в политике он был анархистом или «неконституционным» монархистом – похоже, окончательно он так и не определился¹⁵³. Разумеется, эти две позиции объединяет то, что обе они глубоко антибюрократичны. Это справедливо и почти для всей фантастической литературы: только злые люди поддерживают системы администрации. Действительно, рассмотрев ключевые черты фантастической литературы одну за другой, можно увидеть в каждой из них решительное отвержение какого-либо аспекта бюрократии:

Фантастические миры обычно характеризуются абсолютным размежеванием добра и зла (или, во всяком случае, двусмысленного добра и абсолютного зла), что подразумевает существование сил, между которыми возможна только одна форма взаимоотношений – война. Действительно, когда дело доходит до конфликта с такими отъявленными негодяями, то и война становится абсолютной, не регулируемой ни обычаями, ни этикетом, ни рыцарским кодексом чести. Это резко контрастирует с героическими или средневековыми обществами, где организованное насилие – излюбленное времяпрепровождение аристократов – чаще походило на ритуальную игру, в которой честь была превыше всего. Принцип абсолютного зла словно выступает в качестве отрицания **бюрократического принципа свободной от оценочных суждений и строго упорядоченной нейтральности** и того факта, что такие категории, как добро и зло, совершенно чужды любому административному порядку. Фантастические миры создают настолько абсолютные вселенные, что в них просто нельзя быть свободным от оценочных суждений.

Существование в фантастических мирах различных видов полулюдей: гномов, темных эльфов, троллей, – которые, по сути своей, являются людьми, но которых совершенно невозможно включить в какой-либо более широкий социальный, юридический или политический порядок, создает мир, где царит настоящий расизм. Часто язык расы используется напрямую: «раса эльфов», «раса карликов» и так далее. Даже в тех случаях, когда это не так, в данных мирах действительно существуют различные виды гуманоидных существ, которые способны говорить, строить дома, добывать пищу, создавать произведения искусства и проводить ритуалы, то есть которые выглядят и поступают как люди, но тем не менее обладают глубоко отличными нравственными и интеллектуальными качествами. Это, среди прочего, отражает полное отрицание **бюрократического принципа безразличия**, согласно которому правила для всех одинаковы, положение твоих родственников не имеет значения и все должны быть равны перед законом. Если одни люди – чудовища, а другие – феи, равное отношение ко всем по этой самой причине невысказано.

Законная власть в фантастических мирах обычно основана на чистой харизме или на памяти о былой харизме. Арагорн никогда никого не принуждает следовать за ним. Не делает этого и Аслан. И Гед. Только плохие парни создают государствоподобное устройство, причем когда они это делают, у них выходит аппарат чистого принуждения. Более того, харизматическая власть, которая постоянно не обновляется, обычно увядает и разворачивается (например, Денетор, Горменгаст) или перерождается в отвратительные, гротескные, замогильные формы. Поскольку сама возможность реальной, живой, харизматичной власти всегда основана на войне, это означает, что законная власть невозможна без постоянного отсутствия физической безопасности. Иными словами, политический идеал современных «демократических» республик, в которых политики постоянно борются за привлечение сторонников, сохраняется – и это неудивительно, поскольку, как я подчеркивал, в этом заключался героическо-аристократический элемент, присутствующий в таких республиках, – но остается полностью отделенным от принципов суверенитета и прежде всего от **регулярности и предсказуемости бюрократических процедур и от рутинизации силы, которая в бюрократическом порядке считается законной лишь до тех пор, пока используется для поддержания этого принципа регулярности**. Вкратце, в фантастических мирах поистине законные представители власти, как правило, жестоки, но не применяют насилие для обеспечения исполнения правил.

Как результат, в фантастике, как и в героических обществах, политическая жизнь во многом зиждется на создании мифов. Нарративы помещены внутрь нарративов; сюжетная линия типичного фантастического произведения зачастую сама описывает процесс рассказывания и истолкования историй, а также получения материала для новых. Это сильно контрастирует с **механической природой бюрократических операций**.

Административные процедуры никак не связаны с мифотворчеством; в бюрократическом антураже истории появляются тогда, когда что-то идет не так. Когда все развивается своим чередом, никакой нити повествования не прослеживается.

Более того, герои постоянно имеют дело с тайнами, записанными на древних языках, с темными мифами и пророчествами, с картами, покрытыми руническими головоломками и подобными вещами. Бюрократические процедуры, напротив, исходят из **принципа прозрачности**. Подразумевается, что правила ясны, единообразны и всем доступны. Как

все мы знаем, в действительности так бывает редко. Но считается, что в теории это так. Для большинства из нас административные формы по меньшей мере столь же темны, как и эльфийские письма, которые можно увидеть лишь при определенных фазах луны. Но они и не должны быть ясными. Ведь один из бюрократических приемов, который бесит больше всего, состоит в сокрытии информации под ложным предлогом прозрачности: например, можно похоронить важные сведения в потоке ведомственных электронных писем, которых так много, что никто не сумеет прочитать их все. Когда мы жалуемся на то, что нас не уведомили о новых процедурах или обязанностях, бюрократы с ликованием выдают дату и детали документов (обычно выпущенных несколькими месяцами ранее), в которых излагались новые правила¹⁵⁴. По сравнению с этим в фантастических текстах есть своего рода удовольствие: головоломки – это действительно головоломки, они и должны быть головоломками, и нет назойливых людей, которые появятся, чтобы прочитать вам лекцию о том, что все совершенно просто и прозрачно и что проблема именно в вас, раз вы в этом не сразу разобрались.

Как показывает последний пример, когда мы обсуждаем эти константы, мы говорим о некоем абстрактном идеале того, как должны работать бюрократические системы, а не о том, как они на самом деле работают. В действительности бюрократии редко бывают нейтральными; они почти всегда подчиняются определенным привилегированным группам (зачастую расовым) или благоприятствуют им больше, чем остальным; они устанавливают настолько сложные и противоречивые правила, что им практически невозможно следовать, в результате чего управленцы получают огромную личную власть. Тем не менее в реальном мире все эти отступления от бюрократического принципа расцениваются как злоупотребления. В фантастических мирах они считаются добродетелями.

И все же эти добродетели оказываются преходящими. Посещение фантастической страны – захватывающее предприятие. Мало кто из нас захотел бы в ней жить. Но если я прав, утверждая, что такая литература, вне зависимости от намерений авторов, в конечном итоге побуждает читателей задаваться вопросом о последствиях их подозрений относительно бюрократического существования, то суть именно в этом.

Таким образом, фантастическая литература в значительной степени представляет собой попытку представить мир, полностью очищенный от бюрократии, – читатели могут смаковать ее и как разновидность искупительного эскапизма, и как подтверждение того, что, в конце концов, скучный администрируемый мир, возможно, лучше любой альтернативы, которую только можно представить.

И тем не менее в таких мирах бюрократия и бюрократические принципы отсутствуют не полностью. Они просачиваются с разных направлений.

Во-первых, старая воображаемая администрация Вселенной, разработанная в Средние века, в большинстве фантастических миров отвергается не целиком. Это происходит потому, что,

хотя в таких мирах технология находится на уровне ветряных и водяных мельниц, магия там почти всегда работает. А тот вид магии, который встречается в этих историях, чаще всего позаимствован из западной церемониальной магической традиции, идущей от древних чародеев вроде Ямвлиха до викторианских магов вроде Макгрегора Мазерса и полной демонов, которых призывают при помощи магических кругов, песнопений, заговоров, мантий, талисманов, свитков и волшебных палочек. То же касается космических иерархий, сложных логических порядков заклинаний, орденов, властей, влияний, небесных сфер с их различными силами, обозначениями и сферами административной ответственности: все они обычно так или иначе сохраняются как скрытая возможная форма власти в рамках ткани самой антибюрократической вселенной. Действительно, в самых ранних и наиболее антибюрократических мирах колдуны либо зловредны (Зукала из «Конана-варвара» или миллион ему подобных злодеев из дешевых романов, или даже аморальный Элрик Майкла Муркока)¹⁵⁵, либо, если они добрые, технический аспект их искусства минимизируется (способности Гэндальфа скорее представляются продолжением его личной харизмы, чем зависят от знания таинственных заклинаний). Но с течением времени, на пути от «Волшебника Земноморья» до «Гарри Поттера», магия – и магические знания – занимали все более центральное место. И разумеется, когда мы доходим до Гарри Поттера, мы совершаем путешествие от явно выраженных героических царств вроде Киммерии, Эльфленда или Гипербореи до антибюрократического нарратива, который располагается в рамках классического бюрократического института: английской закрытой школы в волшебном мире, где тем не менее полно скамеек, есть Министерство магии, Следственные комиссии и даже тюрьмы. В книгах о Гарри Поттере в этом и заключается юмор: давайте возьмем наиболее унылое, скучное учреждение, повинное в разочарованности мира, и попытаемся состряпать самые смелые его версии, которые мы только можем представить.

Как это могло произойти? Ну, одна причина состоит в том, что жанры популярной фантастики все меньше ограничиваются одними лишь книгами (это особенно справедливо, если дело так или иначе касается детей или подростков). Причем они получили распространение не только в кино- или телефильмах: их можно встретить в настольных играх и моделях, пазлах и игрушках-трансформерах, различных видах фан-литературы, в интернет-журналах и в фан-арте, в видео- и компьютерных играх. В случае фантастического жанра невозможно понять позднее развитие литературы, не принимая во внимание ставшую популярной в конце 1970-х ролевую игру «Драконы и подземелья», которая дала возможность сотням тысяч подростков по всему миру придумывать собственные фантастические миры и приключения, как если бы они все вместе писали историю или сценарий своих приключений в режиме реального времени.

С одной стороны, игра D&D (как называют ее поклонники) дает максимальную свободу, которую только можно представить: персонажам разрешено делать все что угодно в рамках мира, сотворенного Мастером подземелья с его книгами, картами, таблицами и предварительно созданными городами, замками, подземельями и дикой местностью. Во многих отношениях она носит довольно анархический характер, поскольку, в отличие от классических военных игр, где можно командовать армией, здесь есть то, что анархисты назвали бы «группами по интересам», то есть группы людей, сотрудничающих ради достижения общей цели (ведение поисков или просто желание накопить сокровища и опыт)

при помощи дополнительных способностей (воин, священник, пользователь магии, вор и т. д.), но нет явно выраженной иерархической цепочки. Поэтому социальные отношения представляют собой полную противоположность безличной бюрократической иерархии. Однако, с другой стороны, D&D представляет собой окончательную бюрократизацию антибюрократической фантазии. Есть каталоги всего: типов чудовищ (каменные великаны, ледяные великаны, огненные великаны и т. д.) с тщательно ранжированными способностями и средним количеством хитпойнтов (определяющих, насколько сложно их убить); человеческих способностей (сила, ум, мудрость, ловкость, телосложение и т. д.); перечней заклинаний, доступных на различных уровнях активности (волшебные ракеты, огненные шары, прохождение сквозь стены и т. д.); видов богов и демонов; эффективности различных видов доспехов и оружия; даже нравственных свойств (персонажи могут быть законопослушными, нейтральными или непоследовательными, а также хорошими, нейтральными или злыми; различные сочетания этих свойств дают девять возможных базовых нравственных типов). Книги в D&D отдаленно напоминают средневековые бестиарии и сборники заклинаний. Но они в значительной степени состоят из статистических данных. Все важные свойства можно свести к цифрам. В самой игре действительно нет правил; книги представляют собой лишь руководства; Мастер подземелья может (а на самом деле должен) придерживаться их, изобретая новые заклинания, монстров и тысячи вариантов уже существующих заклинаний и монстров. Каждая вселенная Мастера заклинаний отличается от прочих. Цифры в определенном смысле представляют собой основу для безумных финтов воображения и сами являются разновидностью поэтической технологии.

И все же введение цифр, стандартизации типов персонажей, способностей, чудовищ, сокровищ, заклинаний, концепции очков способностей и хитпойнтов оказало сильное влияние, когда произошел переход от мира 6-, 8-, 12- и 20-гранных игральных костей к миру цифровых интерфейсов. Компьютерные игры сумели превратить фантастику в почти полностью бюрократическую процедуру: накопление очков, переход на другие уровни и так далее. Произошел возврат к командованию армиями. Это, в свою очередь, было компенсировано движением в другом направлении, а именно введением ролевого принципа в компьютерные игры (ElfQuest, World of Warcraft) – здесь проявилось постоянное перетягивание каната между императивами поэтических и бюрократических технологий. Однако тем самым игры в конечном итоге усиливают ощущение того, что мы живем в мире, где бухгалтерские процедуры определяют саму ткань реальности, где даже самое полное отрицание управляемого мира, в котором мы застряли, может привести лишь к другой версии того же самого.

IV. Утопия правил

Одна из причин, почему я решил посвятить так много времени фантастическим мирам, заключается в том, что эта тема раскрывает определенные ключевые вопросы о природе забавы, игр и свободы – все они, по моему убеждению, лежат в основе скрытой притягательности бюрократии. С одной стороны, бюрократия от забавы бесконечно далека. Механическая и безличная, она могла бы воплощать собой отрицание любой возможности забавы. С другой стороны, у того, кто увязает в бюрократической волоките, возникает

ощущение, будто он попал в какую-то ужасающую игру.

Бюрократии создают игры – просто ничего увлекательного в этих играх нет. Но здесь может быть полезным подробнее разобраться, что, собственно, представляют собой игры и что именно делает их занимательными. Прежде всего, каковы отношения между забавой и играми? Мы играем в игры. Так значит ли это, что забава и игра по сути одинаковы? Конечно, в английском языке существует различие между понятиями play и game – в большинстве языков они обозначаются одним и тем же словом (это касается почти всех европейских языков, как в случае французского jeu или немецкого Spiel[6]). Но, с другой стороны, эти понятия оказываются противоположны друг другу, поскольку одно из них ассоциируется со свободным творчеством, а второе – с правилами.

Великий голландский социолог Йохан Хёйзинга написал книгу «Человек играющий», которая, на первый взгляд, посвящена теории игры. На самом деле эта книга излагает очень плохую теорию забавы, но совсем не плохую теорию игр¹⁵⁶. Согласно Хёйзинге, у игр есть кое-какие общие черты. Во-первых, они очевидно привязаны ко времени и пространству и потому оказываются за рамками обычной жизни. В них есть поле, доска, стартовый пистолет и финишная линия. В рамках этого времени/пространства некоторые люди выступают в качестве игроков. Есть также правила, точно определяющие, что эти игроки могут делать, а чего нет. Наконец, всегда есть некое ясное представление о том, что стоит на кону, и о том, что игроки должны делать, чтобы победить. И самое важное: этим все и ограничивается. Всякое место, человек или действие, которые выпадают из этих рамок, с игрой не связаны; они не имеют значения; они не являются ее частью. Выражаясь иначе, игра – это действие, полностью регулируемое правилами.

Мне это кажется важным, ведь именно поэтому игры увлекательны. Почти во всех прочих аспектах человеческого существования все эти вещи носят двусмысленный характер. Представьте себе семейную ссору или соперничество на рабочем месте. Кто в этом участвует, а кто нет, что считать честным, когда это все началось и когда закончится, что значит фраза «Ты победил» – все это чрезвычайно сложно определить. Труднее всего понять правила. Практически в любой ситуации, в которой мы оказываемся, есть правила – даже в случайном разговоре есть негласные предписания относительно того, кто может говорить, в каком порядке, в каком темпе, каким тоном, с какой степенью учтивости, какие темы уместны, а какие нет, когда можно улыбнуться, какой юмор допустим, как нужно смотреть и миллион других подобных вещей. Эти правила редко бывают четкими, обычно многие из них противоречат друг другу и к ним могут апеллировать в любой момент. Поэтому мы всегда выполняем сложную работу, балансируя между ними и пытаюсь предугадать, как будут действовать другие. Игры дают нам единственный реальный опыт ситуации, из которой вся эта двусмысленность устранена. Все точно знают, в чем заключаются правила. Мало того, люди им еще и следуют. А соблюдая их, можно еще и выиграть! Это – наряду с тем фактом, что, в отличие от реальной жизни, люди подчиняются правилам совершенно добровольно – служит источником удовольствия.

Таким образом, игры – это своего рода утопия правил.

Через это мы поймем настоящую разницу между играми и забавой. Действительно, можно играть в игру; но «забава» не обязательно подразумевает существование правил¹⁵⁷. Забава может быть исключительно импровизацией. Допустимо просто забавляться, и все. В этом смысле забава в своей чистой форме, в отличие от игр, представляет собой абсолютное выражение творческой энергии. Действительно, если бы было возможно выработать рабочее определение «забавы» (а это откровенно трудно), то получилось бы что-то вроде следующего: о забаве речь идет тогда, когда свободное выражение творческой энергии становится целью само по себе. Это свобода ради самой свободы. Но в определенном смысле это также превращает забаву в понятие более высокого уровня: забава может создавать игры, она может порождать правила – действительно, она неизбежно производит негласные правила, поскольку совершенно неопределенная забава очень скоро становится скучной – но сама забава по определению не станет подчиняться правилам. Это тем более справедливо, когда забава становится социальной. Исследования о забавах детей, например, неизбежно приходят к выводу о том, что дети, играющие в придуманные ими игры, проводят, по меньшей мере, столько же времени за спорами о правилах, сколько, собственно, за самой игрой. Такие споры сами становятся формами забавы¹⁵⁸.

С одной стороны, все это очевидно: мы просто говорим о становлении формы. Свобода должна сопрягаться с чем-то, иначе она представляет собой просто неопределенность. Это означает, что абсолютно чистая форма забавы, совершенно свободная от каких-либо правил (за исключением тех, которые она сама порождает и может устранить в любой момент), сама может существовать только в нашем воображении как аспект тех божественных сил, что порождают космос.

Вот цитата из статьи индийского философа науки Шива Вишванатана:

“Игра – это ограниченный, специфический метод решения проблем. Забава носит более космический и неограниченный характер. Забава присуща богам, а человек – это, к сожалению, существо, занимающееся играми. У игры есть предсказуемое завершение, у забавы его может не быть. Забава оставляет место для непредвиденности, новизны, неожиданности¹⁵⁹.”

се так. Но именно по этой причине в забаве есть еще и нечто потенциально ужасающее. Потому что такое неограниченное творчество также позволяет ей быть беспорядочно разрушительной. Кошки забавляются с мышами. Выдергивание крыльев у мух – тоже разновидность забавы. Любой человек в здравом уме вряд ли захотел бы встретиться с забавляющимися богами.

Так что я позволю себе высказать одно предположение.

В конечном счете привлекательность бюрократии зиждется на страхе перед забавой.

Для социального теоретика есть очевидная аналогия забавы как принципа, который порождает правила, но сам ими не связан. Это принцип суверенитета. Читатель, наверное,

помнит, что суверенитет был одним из трех элементов – наряду с администрацией и политикой, – которые, в конце концов, слились в современное понятие государства. Сегодня в политической теории термин «суверенитет» в основном используется как синоним «независимости» или «самостоятельности», то есть права правительства делать то, что оно пожелает, в пределах собственных границ, но изначально он возник из очень специфических европейских дебатов о власти королей. По сути, вопрос был в следующем: можно ли сказать, что верховный правитель королевства в каком-либо отношении связан законами?

Те, кто утверждал, что суверены свободны от них, проводили аналогию с божественной властью. Бог – это создатель и главный блюститель любой системы космической нравственности. Но для того, чтобы создать систему, он должен быть первичным по отношению к ней; по этой причине сам Бог не может быть связан нравственными законами. Такой вывод вовсе не является чем-то необычным. На Мадагаскаре народная мудрость выражала это довольно ясно: Бог предстал и в роли высшего судьи, наблюдающего сверху и карающего за проступки, и в то же время в виде совершенно капризной фигуры, мечущей грома и молнии и губящей смертных безо всякой причины. Некоторые африканские цари пытались быть человеческим воплощением этого абсолютного принципа: самым известным примером был Кабака из царства Ганда. Когда он встречался с английскими гостями, пытавшимися произвести на него впечатление каким-нибудь новым эффективным ружьем, он, в свою очередь, поражал их, испытывая это ружье на своих подданных, случайно проходивших по улице (он был также известен тем, что казнил своих жен за то, что те чихали). В то же время легитимность Кабаки как монарха заключалась прежде всего в его репутации беспристрастного отправителя правосудия в качестве верховного судьи. Поскольку царь мог делать (или брать) все, что хотел, его невозможно было подкупить, поэтому у него действительно не было причин не быть беспристрастным. Доведение принципа до таких крайностей в царстве Ганда являлось необычным (стоит отметить, что в Африке цари, заходившие так далеко, почти неизбежно плохо заканчивали), но все же есть прямая непрерывная связь между этим абсолютным понятием трансцендентного суверенитета и, скажем, «Политической теологией» Карла Шмитта, в которой утверждается, что в современных государствах суверенная власть, в конце концов, заключается в праве пренебрегать законами¹⁶⁰.

Суверенитет в этом смысле, по сути, тождественен забаве как производительному принципу, порождающему игры; но если это так, то он представляет собой забаву и в самом ужасающем, космическом виде. Некоторые обозначают это понятием «иерархической» забавы, которое, судя по всему, получило наиболее полное развитие в индийской теологии, где сам космос является плодом забавы божественных сил¹⁶¹. Но, как отмечает Брайан Саттон-Смит в своей книге «Двусмысленность игры», это представление преобладало в Древнем мире, где люди были марионетками в руках судьбы и рока; в таких условиях люди предпочитают азартные игры, в которых мы добровольно отдаем себя во власть прихотей богов¹⁶².

В подобном мире свобода действительно является игрой с нулевой суммой. Свобода богов или царей – это мера человеческого рабства.

Несложно догадаться, куда я клоню. Современные государства основаны на принципе народного суверенитета. В конечном итоге божественная власть царей передана сущности под названием «народ». На практике, однако, далеко не ясно, что вообще должен означать народный суверенитет в таком смысле. По известному замечанию Макса Вебера, институциональные представители государства обладают монополией на право применения насилия в пределах государственной территории¹⁶³. Обычно такое насилие может осуществляться лишь определенными уполномоченными лицами (солдатами, полицейскими, тюремщиками) или теми, кто уполномочен этими лицами (сотрудниками безопасности аэропортов, частными телохранителями), и только в четко обозначенных законом формах. Однако, по сути, суверенная власть все равно остается правом пренебрегать этими требованиями закона или создавать их по ходу дела¹⁶⁴. Соединенные Штаты могут сколько угодно называть себя «страной законов, а не людей», но, как мы узнали в последние годы, американские президенты способны отдавать приказы о применении пыток, совершении убийств, внедрении программ слежения в масштабах всей страны и даже организации не попадающих под действие закона зон вроде Гуантанамо, где с заключенными можно обращаться так, как вздумается. Даже на более низком уровне те, кто обеспечивают соблюдение закона, на самом деле ему не подчиняются. Например, офицеру полиции очень трудно сделать с американским гражданином что-то такое, что будет признано преступлением и повлечет за собой осуждение¹⁶⁵.

Брайан Саттон-Смит утверждает, что в современном мире старое, «иерархическое» представление о забаве, которое иногда называют «темной забавой», утратило влияние. Начиная с романтической эпохи, ему на смену пришло множество более ярких демократических риторических приемов, рассматривающих забаву как нечто бунтарское или поучительное или же связанное с воображением. Несомненно, так и есть. Однако мне кажется, что старая концепция не исчезла полностью¹⁶⁶. Она сохранилась хотя бы на политическом уровне, где каждое произвольное действие власти, как правило, усиливает ощущение, что проблема не во власти, а в произволе, то есть собственно в свободе¹⁶⁷.

Примерно это и произошло везде, где республиканская форма правления (сегодня ошибочно называемая «демократией») стала нормой. Законный порядок, а значит и зоны, где соблюдение правил обеспечивается в первую очередь государственным насилием, распространился настолько, что стал определять и регулировать практически все стороны человеческой деятельности. Поэтому, как я говорил ранее, мы докатились до того, что у нас есть предписания для всего: от того, где дозволено подавать или потреблять различные виды напитков, как допустимо работать, когда можно и когда нельзя уходить с работы, до размеров рекламных объявлений на улицах. Угроза применения силы пронизывает практически все стороны нашего существования в таких формах, которые и представить было нельзя в правление Гелиогабала, Чингисхана или Сулеймана Великолепного.

Я уже писал об этом вторжении регулирования и насилия во все сферы нашей жизни. Здесь я хочу сказать, что истоки этого императива восходят к негласной космологии, где принцип забавы (и, в более широком смысле, творчества) сам по себе считается пугающим, в то время как поведение, характерное для игры, рассматривается как прозрачное и

предсказуемое, а распространение всех этих правил и предписаний расценивается как разновидность свободы.

Это происходит даже в таких обстоятельствах, в которых угроза государственного насилия максимально далека. Хорошим примером может служить управление университетскими кафедрами. Как я уже писал, антропологи упорно отказываются использовать свои аналитические инструменты для изучения собственной институциональной среды, но есть и исключения; одним из них является блестящий анализ, проведенный Мэрилин Стратерн и посвященный тому, что в Великобритании стало называться «культурой аудита». Культура аудита исходит из мысли о том, что в отсутствие ясных, «прозрачных» критериев понимания того, как люди занимаются своей работой, вузы просто превращаются в феодальную систему, основанную на произвольной личной власти. На первый взгляд, с этим трудно поспорить. Кто будет выступать против прозрачности? Стратерн возглавляла кафедру антропологии в Кембридже, когда начались эти реформы, и в своей книге «Культуры аудита» она показала фактические последствия данной степени бюрократизации¹⁶⁸. Кембридж с его бесконечными обычаями и традициями был в определенном смысле образцовым феодальным учреждением, и у кафедры антропологии (хотя она и являлась относительно новой) имелись свои традиционные процедуры, которые никто не мог четко выразить и даже до конца понять. Но для того чтобы стать «прозрачной» для администрации, кафедра должна была начать формулировать эти процедуры; на практике это означало, что ее сотрудникам пришлось превращать тонкие, нюансированные процессы в четко определенный набор правил. По сути, им следовало модифицировать обычаи в разновидность настольной игры. Первой реакцией у всякого, кто сталкивался с такими требованиями, было: «Ну конечно, мы должны просто записать это для властей и дальше жить так, как мы всегда жили». Но на деле это очень скоро стало невозможным, потому что как только возникал любой конфликт, обе участвующие в нем стороны автоматически апеллировали к должностной инструкции.

Целью таких реформ может быть устранение произвольной личной власти, но они, конечно, никогда ее не достигают. Личная власть просто перескакивает на другой уровень и превращается в способность пренебрегать правилами в специфических случаях (это опять-таки миниатюрная версия суверенной власти). Однако на деле тот факт, что реформы ни в каком отношении не достигают поставленных целей, не подрывает их легитимность. Наоборот, результат оказывается ровно противоположным, поскольку всякий, кто возражает против такой персонализированной власти, может лишь требовать еще большего количества правил и еще большей «прозрачности». Внезапно свобода и справедливость становятся вопросом сведения всего в игру.

Если задуматься, такое случается постоянно, причем даже в обстоятельствах, никак не связанных с произвольной личной властью. Наиболее очевидный пример тому – язык. Назовем это эффектом учебника грамматики. Люди не изобретают языков путем написания грамматики, они пишут грамматику – по крайней мере, первую грамматику того или иного языка, – наблюдая негласные и во многом бессознательные правила, которые они, как кажется, применяют, когда говорят. Но когда появляется книга, и особенно когда она начинает использоваться в учебных классах, люди чувствуют, что правила – это не просто описание того, как говорят, а предписания относительно того, как следует говорить.

Этот феномен легко наблюдать в местах, где грамматика была зафиксирована не так давно. Во многих странах грамматику и первые словари составили христианские миссионеры в XIX и даже XX веке для перевода Библии и других священных текстов на языки, являвшиеся бесписьменными. Например, первая грамматика малагасийского языка, на котором говорят на Мадагаскаре, была написана в 1810–1820-е годы. Разумеется, язык все время меняется, поэтому малагасийский разговорный язык – и даже его грамматика – довольно сильно отличается от того, каким он был двести лет назад. Тем не менее, поскольку все учат грамматику в школе, если вы обратите на это внимание, люди автоматически ответят, что сегодня носители языка просто совершают ошибки, – не следуя правилам. Кажется, что никому никогда и в голову не приходит – до тех пор, пока вы не обратите на это внимание, – что, если бы миссионеры пришли и написали свои книги на двести лет позже, современное словоупотребление являлось бы единственно правильным и считалось бы, что всякий, кто говорит так, как говорили двести лет назад, делает ошибки.

Я на своем опыте убедился, что такой подход чрезвычайно усложняет процесс изучения разговорного малагасийского языка. Даже когда я брал уроки у его носителей, допустим университетских студентов, они учили меня говорить на языке XIX века, которому обучали в школах. По мере того как мой уровень владения малагасийским повышался, я стал замечать, что язык, на котором они общались между собой, никак не походил на то, чему они учили меня. Но когда я спрашивал об используемых ими грамматических формах, о которых не упоминалось в книгах, они лишь пожимали плечами и отвечали: «Ой, да это сленг, не говори так». В конце концов, я обнаружил, что единственный способ выучить современный разговорный малагасийский язык заключался в том, чтобы записывать разговоры, пытаться самостоятельно их расшифровывать и потом обращаться к друзьям за помощью всякий раз, когда я сталкивался с неизвестными мне выражениями или словосочетаниями. Других методов не было: раз они решили, что эти грамматические формы были неправильными, они просто не могли объяснить их мне в грамматических категориях.

В случае кафедры антропологии в Кембридже правила прописали и потом заморозили, на первый взгляд для того, чтобы устранить произвольную, личную власть. Эти реформы явно не имеют ничего общего с неприятием произвольной власти, зато тесно связаны с неприятием самой произвольности – неприятием, которое ведет к бездумному принятию власти в ее наиболее формальной, институциональной форме. Ведь где мы впервые сталкиваемся с формальной властью, определяемой правилами, если не в начальной школе – в ходе общения с учителями? Это справедливо и на Мадагаскаре, и где бы то ни было еще. Когда я спрашивал своих друзей, почему никто не говорит на том языке, что описывается в учебниках, неизменно следовал ответ, что, мол, ты же знаешь, что люди ленивы. Разумеется, проблема заключалась в том, что все население не сумело как следует выучить уроки. Но на самом деле они отрицали законность коллективного творчества, свободной забавы системы.

О языке стоит немного поразмышлять, ведь это, возможно, лучшее свидетельство того, что в самом нашем представлении о свободе есть базовый парадокс. С одной стороны, правила по природе своей принуждают. Нормы речи, правила этикета и грамматические предписания – все они ограничивают то, что мы можем сказать, а чего не можем.

Неслучайно, что один из главных образов угнетения, засевающий у всех нас в голове, – это учительница, которая бьет ребенка по пальцам за какую-нибудь грамматическую ошибку. Но в то же время, если бы не было общих для всех представлений любого вида – ни семантики, ни синтаксиса, ни фонетики, – мы бы просто бессвязно лепетали и не были бы способны общаться друг с другом. Разумеется, в таких обстоятельствах ни у кого из нас не было бы свободы что-либо делать. Поэтому в какой-то момент принуждающие правила берут верх над разрешающими, даже если невозможно определить, когда именно это происходит. Поэтому свобода представляет собой напряжение между свободной забавой человеческого творчества и правилами, что оно постоянно порождает. И именно это всегда наблюдают лингвисты. Нет языка без грамматики. Но нет и языка, в котором всё, в том числе и грамматика, не меняется постоянно.

Мы редко спрашиваем себя о причинах этого. Почему языки все время преобразуются? Довольно просто понять, почему у нас должны быть договоренности относительно грамматики и словарного запаса, чтобы иметь возможность говорить друг с другом. Но если язык нам нужен исключительно для этого, допустимо предположить, что, создав грамматику и словарный запас, отвечающие их целям, определенное количество носителей языка будет просто придерживаться их, вероятно меняя словарный запас (если появляется свежая тема для обсуждения – новая тенденция или изобретение, импортный овощ), но оставляя все остальное неизменным. На самом деле такого никогда не происходит. Нам не известен ни один зафиксированный пример языка, который в течение, скажем, столетия, не менялся ни по звучанию, ни по структуре¹⁶⁹. Это справедливо даже для языков наиболее «традиционных» обществ; это происходит даже там, где были созданы сложные институциональные структуры вроде средних школ или Французской академии для того, чтобы этого не происходило. Бесспорно, отчасти это результат откровенного бунтовства (молодежь пытается отмежеваться от старших поколений, например), но трудно не прийти к выводу о том, что в действительности мы здесь имеем дело с принципом забавы в самом его чистом виде. Вне зависимости от того, владеют ли люди языками абу-арапеш, хопи или норвежским, им становится скучно говорить все время одинаково. Они всегда будут хотя бы чуть-чуть играть с языком. И эта забава постоянно будет иметь совокупный эффект.

Это позволяет предположить, что люди везде испытывают предрасположенность к двум совершенно противоположным склонностям: с одной стороны, к творческой забаве ради самой забавы; с другой стороны, к соглашательству со всяким, кто говорит им, что им не следует так поступать. Последняя склонность и делает возможной «игрофикацию» институциональной жизни. Ведь если довести ее до логического завершения, любая свобода станет произволом, а любой произвол – разновидностью опасной, разрушительной власти. От этого лишь шаг до утверждения, что настоящая свобода состоит в том, чтобы жить в полностью предсказуемом мире, свободном от такого рода свободы.

В завершение позволю себе привести еще один пример из моего собственного политического опыта.

В последние тридцать или сорок лет борцы с авторитаризмом по всему миру трудились над созданием новых, более эффективных видов прямой демократии, которые могли бы функционировать, не испытывая потребности в бюрократии насилия. В других своих работах я подробно описывал эти усилия. Был достигнут значительный прогресс. Но реализация таких проектов зачастую вынуждает решать проблему «произвольной власти», вызывающей такой ужас. Например, разработка новых форм достижения консенсуса отчасти состоит в создании институциональных форм, которые не подавляют, а поощряют импровизацию и творчество. Как говорят сами активисты, в большинстве случаев, если собрать толпу народа, эта толпа как группа будет вести себя менее разумно и менее творчески, чем каждый ее участник по отдельности. Процесс принятия решений среди активистов, напротив, нацелен на то, чтобы сделать эту толпу умнее и изобретательнее каждого отдельного ее участника.

Это возможно, но требует масштабной работы. И чем шире группа, тем более формальные механизмы нужно создавать. Единственная важная работа во всей активистской традиции называется «Тирания бесструктурности»¹⁷⁰: она была написана в 70-е годы XX века Джо Фримен и посвящена кризисам организации, имевшим место в ранних феминистских группах пробуждения сознания, когда эти группы достигли определенного размера. Фримен отмечала, что такие коллективы всегда начинали с грубоватых форм анархизма и с предположения о том, что им вообще не нужны какие-либо формальные парламентские механизмы процедурного типа. Люди просто могли сесть по-дружески рядом и во всем разобраться. Поначалу так и происходило. Однако, когда численность групп вырастала, скажем, до двадцати человек, неизбежно появлялись негласные клики и маленькие группки друзей или союзников начинали контролировать информацию, составлять повестки дня и бороться за власть при помощи самых разных тонких способов. Фримен предложила ряд различных универсальных механизмов, которые могли уравновесить этот феномен, но для данных целей специфика на самом деле не важна. Достаточно сказать, что то, что сейчас называется «процессом формального консенсуса» рождается, в основном, из кризиса, описанного Фримен, и из порожденных им дебатов.

Здесь я хочу обратить внимание на то, что почти все те, кто не отталкивается от явно антиавторитарной позиции (и немало тех, кто ее придерживается), совершенно неверно истолковывают работу Фримен, видя в ней не призыв к созданию формальных механизмов для обеспечения равенства, а предложение построения более прозрачной иерархии. Это особенно характерно для ленинистов, но и либералы недалеко от них ушли. Я даже не могу сказать, сколько раз я спорил на эту тему. Они всегда действуют одинаково. Прежде всего, аргумент Фримен о формировании сообществ и невидимых властных структур воспринимается как тезис о том, что в любой группе численностью более двадцати человек всегда будут клики, властные структуры и люди, облеченные властью. Следующий шаг – это утверждение, что если вы хотите свести к минимуму власть таких сообществ или любые пагубные последствия, к которым могут привести эти властные структуры, то добиться этого можно лишь путем их институционализации, то есть методом превращения фактических сообществ в центральный комитет (поскольку у этого словосочетания плохая история, его обычно называют координационным комитетом, организационным комитетом или чем-то в этом духе). Нужно вывести власть из тени – формализовать процесс, разработать правила, провести выборы, уточнить, что именно клике дозволено делать, а что

нет. Тогда власть хотя бы будет более прозрачной и «подотчетной» (обратите внимание на это слово: оно происходит из процедур отчетности). Власть ни в коей мере не будет произвольной.

С практической, активистской точки зрения эти предписания, разумеется, смешны. Намного проще ограничить рамки, в которых неформальные сообщества могут применять настоящую власть, не наделяя себя каким-либо официальным статусом, а значит, и какой-либо легитимностью; что бы ни подразумевалось под «формальными структурами отчетности», клики, превратившиеся в комитеты, будут намного менее эффективными в этом отношении не в последнюю очередь потому, что в конечном счете они узаконят, а затем значительно расширят дифференцированный доступ к информации, который предоставляет определенным участникам групп, являющихся эгалитарными в прочих отношениях, большую власть. Как я отмечал в первой главе, структуры прозрачности, едва появившись, неизбежно начинают превращаться в структуры глупости.

Допустим, кто-то отстаивает этот тезис и критик соглашается с ним (по обыкновению, последним приходится это делать, потому что данный тезис основан на здравом смысле). В этом случае следующая линия защиты, как правило, носит эстетический характер: критик будет утверждать, что просто противно иметь структуры реальной власти, которые не признаны и которые можно считать произвольными, даже если они полностью лишены возможностей насильственного принуждения. Обычно собеседник не заходит так далеко, признавая, что такого рода возражения – из области эстетики. Доводы по большей части выражаются в нравственных категориях. Но иногда вы можете обнаружить людей достаточно честных для того, чтобы признать, что так и есть. Я хорошо помню дебаты с Норманом Финкельштейном, проводившиеся под эгидой движения «Захвати Уолл-стрит». Этот блестящий и достойный всяческого восхищения активист, вдохновленный принципами Движения за гражданские права, по-прежнему считал образцом для подражания группы вроде Южной христианской лидерской конференции. В этих дебатах Финкельштейн поставил вопрос ребром. Возможно, признавал он, лучший способ не допустить избыточного сосредоточения власти в руках таких сообществ заключается в том, чтобы придерживаться принципа, что они вообще не должны существовать. Но разрешая кликам действовать без формального признания и регулирования, вы поддерживаете систему, которая согласна быть управляемой из тени, пусть даже совсем чуть-чуть. Может, это и не стало бы такой уж значимой практической проблемой. Вы могли бы быть правы, полагая, что формальное признание их наличествования в конечном итоге дает им меньше свободы в целом, чем если их предоставить самим себе. Но, по большому счету, мысль об управлении из тени мне кажется отвратительной в любом случае.

В таких спорах мы наблюдаем прямое столкновение между двумя различными формами материализовавшегося утопизма: с одной стороны, антиавторитаризм, который делает акцент на творческом синтезе и импровизации и потому рассматривает свободу, прежде всего, в категориях забавы, а с другой – негласное республиканство, расценивающее свободу как способность свести все формы власти к набору четких и прозрачных правил.

На протяжении последних двухсот лет в Европе и Северной Америке – и все больше во всех остальных частях мира – в основном преобладало это последнее, бюрократизированное

представление свободы. Новые институциональные договоренности, которые регулируются строгими и предсказуемыми правилами и в итоге постепенно размываются настолько, что никто даже не знает, в чем они заключаются (вроде физических или электронных почтовых служб, с которых я начал), обычно принимаются за основы человеческой свободы, возникающие из самих технических условий действующих эффективных структур власти. Эти договоренности как будто защищают положительные элементы забавы, так или иначе нейтрализуя ее разрушительный потенциал.

Однако вновь и вновь мы получали одни и те же результаты. Вне зависимости от того, мотивировано ли это бюрократизированное понятие свободы верой в «рациональность» или страхом произвольной власти, его конечным результатом является движение к мечте о мире, где забава будет полностью ограничена – или, в лучшем случае, помещена куда-нибудь подальше от любых серьезных и последовательных человеческих начинаний, – в то время как каждая сторона жизни сводится к какой-либо организованной, упорядоченной правилами игре. Такое представление не лишено привлекательности. Кто не мечтал о мире, где все знают правила, все играют по правилам и, более того, где люди, действующие по правилам, действительно могут победить? Проблема в том, что это такая же утопическая фантазия, как и мир совершенно свободных забав. Она всегда будет химерой, которая исчезнет, стоит лишь к ней потянуться.

Такие иллюзии не всегда плохи. Уместно вспомнить, что множество великих человеческих достижений было результатом каких-либо донкихотских устремлений. Но в данном конкретном случае и в этом более широком социально-экономическом контексте, где бюрократия является ключевым инструментом, посредством которого малая часть населения извлекает богатство из всех остальных, эти иллюзии создали ситуацию, в которой стремление к свободе от произвольной власти просто приводит к еще более произвольной власти, – в результате предписания сковывают наше существование, вооруженные охранники и камеры видеонаблюдения появляются повсюду, наука и творчество душатся, и все мы вынуждены тратить все больше времени на заполнение формуляров.

Приложение. О Бэтмене и проблеме учредительной власти

В приложении я помещаю этот материал, посвященный, на первый взгляд, фильму Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Он представляет собой длинную версию статьи, которая была опубликована под названием Super Position в журнале The New Inquiry в 2012 году и в которой подробно рассматриваются вопросы суверенитета и популярной культуры, затронутые в третьем очерке этой книги. Там я отмечал, что есть три исторически независимых элемента, которые, на мой взгляд, слились в нашем понимании «государства»; я назвал их суверенитетом, администрацией и (героической) политикой. Однако в очерке мои мысли о суверенитете не получили развития, поэтому я подумал, что читателю может быть интересно прочитать дальнейшие рассуждения на эту тему, изложенные в таком же широком, полемическом ключе.

В субботу, 1 октября 2011 года, полиция Нью-Йорка арестовала семьсот активистов «Захвати Уолл-стрит», пытавшихся пройти маршем по Бруклинскому мосту. Мэр Блумберг оправдал эти действия тем, что протестующие препятствовали дорожному движению. Пять недель спустя все тот же мэр Блумберг перекрыл близлежащий мост Куинсборо ради съемок последней части трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

Многие обратили внимание на этот парадокс.

Несколько недель назад я пошел посмотреть этот фильм с несколькими друзьями из «Захвати Уолл-стрит», многие из которых были арестованы на мосту в октябре. Мы все знали, что эта картина была, по сути, образчиком пропаганды, направленной против нашего движения. Нас это не беспокоило. Мы отправились в кино, надеясь, что нас этот факт развлечет, как может развлечь человека, не являющегося ни расистом, ни нацистом, просмотр «Рождения нации» или «Триумфа воли». Мы ожидали, что фильм окажется враждебным и даже оскорбительным. Но никто из нас не ожидал, что все будет настолько плохо.

Здесь я хочу поразмышлять о том, что именно сделало эту картину такой отвратительной. Потому что, как ни странно, это важно. Мне кажется, в понимании многих вещей – фильмов, насилия, полиции, самой природы государственной власти – можно продвинуться, просто попытавшись разобраться в том, чем так плох «Темный рыцарь».

Одна из проблем, на мой взгляд, сразу бросается в глаза. Фильм действительно представляет собой образец пропаганды против «Захвати Уолл-стрит». Кто-то продолжает это отрицать. Режиссер Кристофер Нолан без устали твердил, что сценарий был написан еще до того, как появилось движение, и заявлял, что источником вдохновения при создании знаменитых сцен оккупации Нью-Йорка (Готэма) на самом деле послужил рассказ Диккенса о Французской революции, а не сообщения о движении «Захвати Уолл-стрит». Я считаю это лукавством. Всем известно, что в процессе производства голливудских кинокартин сценарии постоянно переписываются, зачастую настолько серьезно, что в них не остается ничего от изначального текста; кроме того, когда речь заходит о посыле, даже такие детали, как место съемок («Ой, а давайте копы будут стоять перед последователями Бэйна прямо напротив Нью-Йоркской фондовой биржи!») или незначительная правка слов («Давайте вместо “установить контроль” предложим “захватить”»), могут все сильно изменить.

Кроме того, злодеи действительно оккупируют Уолл-стрит и нападают на фондовую биржу.

Я хочу сказать, что именно это желание значимости, именно тот факт, что авторы картины не побоялись затронуть ключевые современные проблемы, и губят его. Это тем более грустно, что в двух первых фильмах трилогии – «Бэтмен: Начало» и «Темный рыцарь» – были поистине красноречивые моменты. Сняв их, Нолан показал, что он может рассказать кое-что интересное о человеческой психологии, и в особенности о соотношении творчества и насилия (трудно представить успешный боевик, в котором режиссер об этом бы не говорил). Фильм «Темный рыцарь: Возрождение легенды» еще более амбициозен. В нем затрагиваются масштабные темы современности. Но в итоге сюжет спотыкается и становится бессвязным.

С одной стороны, такие моменты могут быть поучительными, поскольку служат своего рода окном, возможностью задуматься над тем, о чем на самом деле рассказывают истории о супергероях и кто эти супергерои. Это, в свою очередь, помогает нам ответить на другой вопрос: в чем вообще причина взрывного роста популярности таких фильмов – настолько стремительного, что иногда кажется, будто картины со спецэффектами, созданные по мотивам комиксов, вытесняют научную фантастику (считающуюся основным жанром голливудских блокбастеров) почти так же быстро, как в 1970-е годы фильмы о полицейских сместили вестерны с пьедестала главного жанра боевиков?

Почему в ходе этого процесса знакомые супергерои вдруг наделяются сложным внутренним содержанием – показываются их нравственные кризисы, тревоги, сомнения в себе, семейная история, эмоциональная двусмысленность? Или почему (это столь же справедливо, хотя и менее заметно) сам факт того, что у них появляется душа, словно вынуждает их выбирать и какую-то четкую политическую ориентацию? Можно сказать, что впервые это произошло не с персонажами комиксов, а с Джеймсом Бондом, который в своем традиционном

воплощении, как полная противоположность гениальных злодеев, всегда был кинематографической версией одного и того же. «Казино “Рояль”» придало Бонду психологическую глубину. И уже в следующем фильме Бонд спасал общины боливийских индейцев от злонамеренных транснациональных приватизаторов воды.

«Человек-паук» двинулся влево так же, как Бэтмен двинулся вправо. В каком-то смысле это оправданно. Супергерои – производные своих исторических корней. Супермен – это мальчик, уехавший со своей фермы в годы Депрессии; Бэтмен – плейбой-миллиардер, порождение военно-промышленного комплекса, появившегося, как и он, в начале Второй мировой войны; Питер Паркер – это продукт 1960-х годов, умник из рабочей семьи, выходец из Куинса, которому попало в кровь что-то странное. Но и в этом случае в последнем фильме подтекст становится на удивление явным («Ты не мститель, – говорит полицейский, – ты анархист!»): особенно в развязке, когда Человека-паука, раненного полицейской пулей, спасает дюжина крановщиков с Манхэттена, которые, в порыве рабочей солидарности, бросают вызов городским порядкам и мобилизуются, чтобы помочь ему. Фильм Нолана был наиболее амбициозным с политической точки зрения, но вместе с тем и самым унылым. Не потому ли, что жанр супергероев не поддается правой риторике?

Разумеется, в прошлом критики культуры к такому выводу не приходили.

Так что мы можем сказать о политике жанра произведений про супергероев?

Представляется разумным начать с просмотра книг комиксов, поскольку именно от них берет начало все остальное (телешоу, мультфильмы, блокбастеры). Комиксы про супергероев изначально были феноменом середины столетия. И как все явления поп-культуры середины столетия, они носят преимущественно фрейдистский характер. Иными словами, если популярная фантастика говорит что-нибудь о человеческой природе или о мотивах человеческих поступков, то стоит ожидать, что в ней будет проявляться некий поп-фрейдизм. Иногда он даже становится явным, как в «Запретной планете» с ее «монстрами из подсознания». Обычно это просто подтекст.

Умберто Эко однажды заметил, что истории комиксов устроены примерно так же, как мечты; один и тот же базовый обсессивно-компульсивный сценарий повторяется вновь и вновь; ничего не меняется; фоном, на котором разворачиваются истории, может быть Великая депрессия, Вторая мировая война или благополучные послевоенные годы, но герои, будь то Супермен, Чудо-женщина, Зеленый Шершень или Доктор Стрэндж, словно пребывают в вечном настоящем, никогда не стареют и всегда остаются прежними. Базовый сценарий принимает следующий вид: плохой парень – бандитский главарь, чаще могущественный суперзлодей – намеревается осуществить проект покорения и уничтожения мира, кражи, вымогательства или мести. Герой узнает об опасности и понимает, что происходит. Преодолев испытания и трудности, герой в последний момент расстраивает планы злодея. Мир возвращается к нормальной жизни до тех пор, пока в следующем эпизоде не происходит ровно то же самое.

Не нужно быть гением, чтобы понять, о чем здесь идет речь. Герои совершенно реакционны. Термин «реакционный» я понимаю в буквальном смысле: они просто реагируют на события; у них нет их собственных проектов (или, если точнее, у них как персонажей нет собственных проектов. Супермен, возможно как Кларк Кент, постоянно пытается достичь сексуальной близости с Лоис Лейн и постоянно терпит неудачи. Как Супермен он совершенно реакционен). Действительно, кажется, что супергерои полностью лишены воображения. Брюс Уэйн, владея всеми деньгами мира, способен лишь пустить их на разработку еще более высокотехнологичного оружия или пожертвовать на благотворительность. Точно так же Супермену как будто никогда не приходит в голову, что он мог бы покончить с голодом в мире или высечь в горах свободные волшебные города. Супергерои почти никогда не создают и ничего не строят. Злодеи, напротив, неутомимы в своем творчестве. Они полны планов, проектов и идей. Разумеется, предполагается, что мы сначала, толком того не осознавая, ассоциируем себя со злодеями. В конце концов, они развлекаются по полной программе. Потом мы, конечно, чувствуем за это вину и отождествляем себя с героем и веселимся еще больше, наблюдая за тем, как Супермен загоняет подсознание под контроль.

Конечно, когда вы начинаете утверждать, что в книге комиксов есть какой-то посыл, вы, вероятно, услышите обычные возражения: «Да это просто дешевые формы развлечений! Они пытаются объяснить нам что-либо относительно человеческой природы, политики или общества не больше, чем, скажем, колесо обозрения». И конечно, до определенной степени так и есть. Популярная культура существует не для того чтобы убеждать кого-либо в чем-либо. Она нужна ради получения удовольствия. И все же, если присмотреться, можно заметить, что большинство проектов в сфере популярной культуры, как правило, превращают само удовольствие в разновидность спора. Фильмы ужасов служат особенно грубым примером того, как это работает. Фабула таких картин обычно построена на истории какого-либо проступка и наказания – в сценариях слэшеров, являющихся, возможно, самым чистым, урезанным, наименее тонким примером этого жанра, вы всегда увидите одно и то же развитие сюжета. Как давно отмечала Кэрл Кловер в своем фундаментальном исследовании «Мужчины, женщины и бензопилы», аудиторию сначала негласно побуждают отождествлять себя с монстром (камера буквально показывает точку зрения злодея), когда он кромсает на куски «плохих девчонок», и лишь затем дается взгляд на ситуацию глазами андрогинной героини, которая, в конце концов, его уничтожает. В основе сценария всегда лежит простая история проступка и наказания: плохие девчонки грешат, занимаются сексом, не сообщают о происшествии, виновники которого скрываются, возможно они всего лишь противные тупые подростки; в результате им выпускают кишки. Затем хорошая девушка-девственница выпускает кишки виновнику. Все очень нравственно и по-христиански. Грехи, вероятно, не так уж масштабны, и наказание им совершенно не соответствует, но главный посыл таков: «Конечно, они этого заслуживают; все мы этого заслуживаем; какими бы цивилизованными мы ни казались извне, внутри мы развращены и порочны. Доказательство? Да посмотрите на себя? Разве вы не порочны? Если это не так, то почему вы наслаждаетесь просмотром этой садистской галиматьи?»

Вот что я имею в виду, когда говорю, что удовольствие – это разновидность спора.

По сравнению с этим комиксы о супергероях выглядят довольно невинно. Во многом так и есть. Если комикс просто рассказывает нескольким подросткам, что каждый испытывает стремление к хаосу и беспределу, но в конечном счете такие помыслы нужно контролировать, то политические последствия не будут выглядеть слишком мрачно. Прежде всего потому, что этот посыл несет в себе здоровую дозу двойственности, так же как это происходит со всеми героями современных боевиков, которые тратят так много времени на уничтожение торговых центров и тому подобных заведений. Большинству из нас хотелось бы хотя бы раз в жизни разнести вдребезги банк или ТЦ. Ведь, как говорил Бакунин, «страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть».

И все же, на мой взгляд, есть основания полагать, что, по крайней мере в случае большинства супергероев из комиксов беспредел ведет к очень консервативным политическим последствиям. Для того чтобы понять почему, мне придется сделать небольшое отступление на тему учредительной власти.

Разодетые супергерои в конце концов побеждают преступников во имя закона – даже если зачастую сами действуют за рамками правосудия. Однако в современном государстве сам статус закона представляет собой проблему. Причиной этого является базовый логический парадокс: ни одна система не умеет себя генерировать. Ни одна власть, способная создать систему законов, не может быть ими связана. Поэтому закон должен проистекать откуда-то еще. В Средние века решение было простым: законный порядок являлся творением Бога, который, как более чем ясно дает понять Ветхий завет, не связан законами или какой-нибудь заметной системой нравственности (опять-таки это вполне понятно: если вы создаете нравственность, вы, по определению, не можете быть ею связаны). А если и не непосредственно Богом, то освященной Богом властью королей. Английские, американские и французские революционеры все это изменили, введя понятие народного суверенитета и провозгласив, что власть, некогда принадлежавшая королям, теперь находится в руках субъекта, названного «народом». Это сразу же породило логическую проблему, потому что «народ» – по определению, группа индивидов, объединенных тем фактом, что они связаны неким набором законов. Так как они могли создать эти законы? Когда данный вопрос был впервые поднят после Английской, Американской и Французской революций, ответ казался очевидным: законы были сотворены посредством самих этих революций. Но это породило новую проблему. Революции представляют собой нарушение закона. Совершенно незаконно братья за оружие, свергать правительство и устанавливать новый политический порядок. Ничто не может быть более незаконным. Кромвель, Джефферсон или Дантон были повинны в предательстве, согласно законам, при которых они выросли, равно как они были бы виновны, если бы они попытались сделать то же самое при созданных ими режимах, скажем, на двадцать лет позже.

Так что законы рождаются из незаконной деятельности. Это делает фундаментально противоречивым само понятие современного правительства, которое предполагает, что государство обладает монополией на правомерное использование насилия (только полиция, тюремная охрана или должным образом уполномоченные сотрудники частных охранных

предприятий обладают правом избить вас). Полиция может применять насилие потому, что обеспечивает соблюдение закона; закон правомерен, так как своими корнями уходит в конституцию; конституция легитимна вследствие того, что проистекает от народа; народ создал конституцию путем незаконных насильственных действий. Отсюда следует очевидный вопрос: как объяснить разницу между «народом» и беснующейся толпой?

Очевидного ответа на него нет.

Традиционный подход заключается в том, чтобы отгораживаться от этой проблемы так долго, насколько это возможно. Ход рассуждений обычно таков: эпоха революций завершилась (возможно, за исключением отсталых стран вроде Габона или Сирии); теперь мы можем преобразовывать конституцию и нормы права законными методами. Это, разумеется, означает, что базовые структуры никогда не изменятся. Результаты этого мы можем наблюдать в Соединенных Штатах, по-прежнему сохраняющих такую архитектуру государства с его коллегией выборщиков и двухпартийной системой, которая хотя и была довольно прогрессивной в 1789 году, теперь представляется всему остальному миру политическим аналогом амишей, все еще едущих на двуколках, запряженных лошадьми. Это также означает, что в основу легитимности всей системы мы кладем согласие народа, несмотря на тот факт, что народ, мнение которого по этому вопросу спросили один-единственный раз, жил двести с лишним лет назад. По крайней мере, в Америке этот «народ» давным-давно умер.

После этого мы перешли от ситуации, в которой право создавать законный порядок происходит от Бога, к ситуации, в которой оно проистекает от вооруженной революции, а затем от элементарной традиции – «таковы обычаи наших предков, кто мы такие, чтобы сомневаться в их мудрости?» (и разумеется, немало американских политиков дают понять, что на самом деле они бы хотели вернуться к Богу).

Как я сказал, так эти вопросы рассматриваются в традиционном ключе. Для радикальных левых и для авторитарных правых проблема учредительной власти животрепещуща, но они занимают диаметрально противоположные позиции по фундаментальному вопросу насилия. Левые, наученные катастрофами XX века, в большинстве своем ушли от восхваления революционного насилия, предпочтя ему ненасильственные методы сопротивления. Те, кто действует во имя чего-то более возвышенного, чем закон, могут так поступать именно потому, что они не ведут себя, как беснующаяся толпа. С другой стороны, для правых – и это было так с момента становления фашизма в 1920-е годы – сама мысль о том, что в революционном насилии есть что-то особенное, отличающее его от обычного преступного насилия, не более чем лицемерная чепуха. Насилие есть насилие. Но это не означает, что беснующаяся толпа не может быть «народом», потому что насилие – это в любом случае подлинный источник закона и политического порядка. Любое успешное применение насилия представляет собой форму учредительной власти. Именно поэтому, как отмечал Вальтер Беньямин, мы не можем не восхищаться «великими преступниками»: ведь, как гласило множество киноафиш в разные годы, «они устанавливают свои законы». В конце концов, любая криминальная организация всегда начинает разрабатывать собственные – причем зачастую довольно сложные – внутренние правила и нормы, необходимые для того, чтобы контролировать то, что в противном случае было бы слепым насилием. Но, с точки зрения

правых, закон только этим и является – средством контроля над самим насилием, которое его создает и при помощи которого обеспечивается его соблюдение.

Это помогает понять сходство между преступниками, криминальными бандами, правыми политическими движениями и вооруженными представителями государства, которое при рассмотрении с иных точек зрения зачастую вызывает удивление. В конце концов, все они говорят на одном языке. Они внедряют собственные правила на основе насилия. В результате у таких людей обычно схожие политические воззрения. Хотя Муссолини уничтожил мафию, итальянские мафиози по-прежнему его боготворят. В бедных иммигрантских кварталах Афин в наши дни тесно сотрудничают криминальные боссы, фашистские группировки и полиция. Действительно, в этом случае имелась очевидная политическая стратегия: столкнувшись с перспективой народных восстаний против правительства правых, полиция сначала лишила кварталы защиты от иммигрантских банд, а затем начала негласно поддерживать фашистов. (Результатом стал быстрый рост популярности откровенно нацистской партии. Сообщалось, что примерно 50 % греческих полицейских проголосовали за нацистов на последних выборах.) Но именно так и действует политика правых. По их мнению, в пространстве, где консолидируются различные насильственные силы, действующие за рамками закона (или, в случае полиции, с трудом в этих рамках помещающиеся), могут возникнуть новые формы власти, а затем и новые порядки.

Так что у всего этого общего с разодетыми супергероями? Да всё. Ведь именно в этом пространстве обретаются супергерои и суперзлодеи. Это фашистское, по сути своей, государство, где обитают лишь гангстеры, самозванные диктаторы, полиция и убийцы, причем границы между ними очень расплывчаты. Иногда копы соблюдают закон, иногда они продажны. Порой сама полиция прибегает к самосуду. Когда-то она преследует супергероя, иногда смотрит на его действия сквозь пальцы, когда-то помогает. Злодеи и герои периодически объединяются. Силовые линии постоянно меняются. Если и появляется что-то новое, то только посредством такого изменения соотношения между силами. Ничего больше здесь нет, потому что в мире комиксов DC или Marvel Бог или Народ просто не существуют.

Если есть потенциал для учредительной власти, то он может обеспечиваться только теми, кто применяет насилие. И действительно, если суперзлодеи и злые гении не просто мечтают совершить идеальное преступление или побаловать себя случайными актами террора, они всегда планируют установить свой мировой порядок того или иного рода. Конечно, если бы Красный Череп, Канг Завоеватель или Доктор Дум когда-нибудь сумели захватить планету, очень быстро был бы разработан новый свод законов. Это были бы не очень хорошие законы. Их создатель, без сомнения, не считал бы себя связанным ими. Но возникает ощущение, что в любом случае их соблюдение навязывалось бы довольно жестко.

Супергерои сопротивляются такой логике. Они не хотят завоевывать мир – просто потому, что они не одержимы манией или не безумны. В результате они паразитируют за счет злодеев так же, как полиция паразитирует за счет преступников: без них они лишились бы

смысла существования. Они остаются защитниками юридического и политического порядка, который взялся словно из ниоткуда и который, каким бы несовершенным или деградировавшим он ни был, нужно защищать, потому что единственная альтернатива ему намного хуже.

Они не фашисты. Они просто обычные приличные сверхмогущественные люди, живущие в мире, где фашизм – это единственная политическая перспектива.

Мы можем спросить, почему развлечение, основанное на таком специфическом понимании политики, появилось в Америке в первой половине XX века, ровно тогда же, когда в Европе набирал силу настоящий фашизм? Было ли оно своего рода фантастическим американским эквивалентом фашизма? Не совсем. Дело не только в том, что фашизм и супергерои явились продуктами схожих исторических условий: на чем зиждется социальный порядок, когда отвергается сама идея революции? И самое главное, что происходит с политическим воображением?

Начать здесь можно с анализа того, кто является целевой аудиторией комиксов о супергероях. Это в первую очередь белые мальчики и подростки. То есть индивиды, которые находятся на таком этапе своего жизненного пути, когда у них максимально развито воображение и им присуща хотя бы толика бунтарства; в то же время их готовят к тому, что в будущем они займут ответственные должности, станут отцами, шерифами, мелкими предпринимателями, управленцами средней руки, инженерами. И что они вынесут из этих бесконечно повторяющихся драм? Ну, во-первых, что воображение и бунтарство ведут к насилию; во-вторых, что насилие, как и воображение и бунтарство, это очень весело; в-третьих, что насилие должно быть направлено против любого избытка воображения и бунтарства, иначе все пойдет наперекосяк. Их нужно сдерживать! Вот почему если супергерои и могут обладать воображением, то оно может распространяться только на внешний вид их одежды, автомобилей, возможно домов и различных аксессуаров.

Именно в этом смысле сюжетная логика историй о супергероях глубоко и сугубо консервативна. В конечном счете разница в мировоззрении между левыми и правыми распространяется и на отношение к воображению. Левые всегда приветствуют творчество и, если говорить шире, производство, способность делать новые вещи и устанавливать новое социальное устройство. Это источник любой реальной ценности в мире. Правые считают все это опасным и пагубным. Стремление создавать в какой-то степени разрушительно. Такого рода восприятие было характерно для популярного фрейдизма той эпохи: подсознание считалось двигателем психики, но в то же время было безнравственным; его освобождение привело бы к оргии разрушения. Это и отличает консерваторов от фашистов. И те и другие согласны с тем, что освобожденное воображение ведет лишь к насилию и разрушению. Консерваторы готовы защищать нас от такой перспективы. Фашисты согласны выпустить его на волю в любом случае. Подобно Гитлеру, они стремятся быть великими художниками, рисующими при помощи умов, крови и мускулов человечества.

Это означает, что греховным наслаждением для читателя становится не только хаос, но и сам факт наличия фантазии. И хотя мысль о том, что любой художественный жанр, по сути, предупреждает об опасностях человеческого воображения, может показаться странной, она объясняет, почему в спокойные 1940-е и 1950-е годы у всех было смутное ощущение, что читать о них не очень прилично. Она также объясняет, почему в 1960-е годы они вдруг стали казаться настолько безобидными, что смогли появиться глупые и пошлые телевизионные шоу вроде сериалов о Бэтмене в исполнении Адама Уэста или мультфильмов о Человеке-пауке по субботам утром. Если их посыл заключался в том, что в бунтарском воображении нет ничего плохого до тех пор, пока оно не затрагивает политику и распространяется лишь на сферу потребления (опять-таки на одежду, машины и аксессуары), то этот посыл могли подхватить даже исполнительные продюсеры.

Мы можем сделать следующий вывод: классический комикс говорит о политике (рассказывает о безумцах, пытающихся захватить мир), повествует о психологии и личностях (о преодолении опасностей бунтарской юности), но в конечном счете все же является политическим¹⁷¹.

Если это так, то новые фильмы о супергероях представляют собой полную противоположность. Они говорят о психологии и личностях, повествуют о политике, но в конечном счете все же рассказывают о психологии и личностях.

Гуманизация супергероев зародилась не в фильмах. Она началась в 1980-е и 1990-е годы в самом жанре комиксов с «Темного рыцаря: Возрождение легенды» Фрэнка Миллера и «Хранителей» Алана Мура – это был поджанр того, что можно назвать супергеройским нуаром. В те времена картины о супергероях все еще основывались на традиции 1960-х, как в «Супермене» (в главной роли – Кристофер Рив) или в «Бэтмене» (в главной роли – Майкл Китон). Однако позднее поджанр нуара, который всегда, пусть лишь отчасти, черпал вдохновение в кинематографе, дошел и до Голливуда. Можно сказать, что кинематографического пика он достиг в фильме «Бэтмен: Начало», первом из трилогии Нолана. В этом блокбастере Нолан, по сути, задается вопросом: «А что если бы кто-то вроде Бэтмена действительно существовал? Что бы тогда происходило? Что случилось бы, если бы уважаемый член общества решил переодеться летучей мышью и шнырять по улицам в поисках преступников?»

Неудивительно, что психоделические наркотики здесь играют важную роль, равно как и серьезные психические проблемы, и странные религиозные культы.

Любопытно, что комментаторы этого фильма никогда не обращают внимания на тот факт, что в картинах Нолана Брюс Уэйн – откровенный психопат. Сам по себе он практически неадекватен, неспособен завязывать дружбу или испытывать романтическую привязанность, интересуется работой, только если она как-либо потворствует его нездоровым устремлениям. Герой настолько не в себе и фильм настолько очевидно рассказывает о его борьбе с безумием, что нет никакой проблемы в том, что злодеи – это

просто череда придатков его Я: Ра'с аль Гул (плохой отец), преступный босс (успешный предприниматель), Пугало (который сводит предпринимателя с ума). Ни в одном из них нет ничего привлекательного. Но это не важно – все они лишь кусочки расколотого разума героя. В результате мы не должны себя отождествлять со злодеем, а затем пропитываться ненавистью к самим себе; мы можем просто наслаждаться тем, как Брюс делает это за нас.

Очевидного политического посыла здесь тоже нет.

Или так кажется. Но если вы создаете произведение на основе персонажей, насквозь пропитанных мифами и историей, ни один режиссер не в состоянии контролировать свой материал. Роль создателя картины заключается в том, чтобы собрать их воедино. В фильме главным злодеем является Ра'с аль Гул, который сначала посвящает Бэтмена в Лигу теней в некоем монастыре в Бутане и лишь затем открывает ему план уничтожения Готэма с целью избавить мир от скверны. В оригинальном комиксе мы узнаем, что Ра'с аль Гул (этот персонаж, что характерно, был введен в 1971 году) на самом деле примитивист и экологический террорист, намеревающийся восстановить равновесие в природе путем сокращения человеческой популяции примерно на 99 %. Главное изменение, которое Нолан внес в историю, заключается в том, что Бэтмен стал учеником Ра'с аль Гула. Но в современных условиях это тоже весьма многозначительно. В конце концов, какой медийный стереотип сразу же приходит на ум (по крайней мере, после прямых действий против Всемирной торговой организации в Сиэтле), когда задумываешься о движимом туманным пониманием справедливости отпрыске траст-фонда, который надевает черные одежды и маску и отправляется на улицы творить насилие и сеять хаос, хотя всякий раз поступает с таким расчетом, чтобы никого не убить? Не говоря уже о том, кто будет так делать, вдохновляясь заветами радикального гуру, верящего, что мы должны вернуться в каменный век? Нолан превратил своего героя в члена «Черного блока» и ученика Джона Зерзана, который порывает со своим наставником, когда понимает, что на самом деле означает восстановление Рая.

Действительно, во всех трех фильмах ни один из злодеев не хочет править миром. Они не желают обладать властью над другими или создавать какие-то новые правила. Даже их приспешники выполняют роль временных подручных – злодеи намерены их потом убить. Злоумышленники Нолана всегда анархисты. Но это очень специфические анархисты, которые, похоже, существуют только в воображении режиссера: они верят, что человеческая природа по сути своей плоха и развращена. Джокер, настоящий герой второго фильма, все это выражает открыто: он представляет собой вырвавшееся наружу подсознание. У Джокера нет имени, нет другого происхождения кроме того, что он всякий раз причудливо изобретает; неясно даже, какими способностями он обладает и откуда они у него взялись. И тем не менее он невероятно могуществен. Джокер – это чистая сила самосозидания, поэма, написанная им самим, а его единственной целью в жизни оказывается навязчивая потребность в том, чтобы доказать другим, что, во-первых, все есть и может быть только поэзией и, во-вторых, эта поэзия – зло.

Здесь мы возвращаемся к центральной теме ранних миров супергероев, а именно к длительной рефлексии об опасностях человеческого воображения; о том, что желание самого читателя погрузить себя в мир, управляемый художественными императивами,

представляет собой живое свидетельство того, почему воображение всегда нужно тщательно сдерживать.

В результате получается захватывающий фильм, в котором злодей располагает к себе – он совершенно очевидно развлекается – и вместе с тем по-настоящему пугает. В картине «Бэтмен: Начало» было полно людей, говоривших о страхе. «Темный рыцарь» сам внушал страх. Но даже это кино начинает разочаровывать, когда касается народной политики. Народ предпринимает одну жалкую попытку вмешаться в начале, когда подражатель Бэтмена, вдохновляясь примером Темного рыцаря, появляется над городом. Разумеется, все они погибают, и на этом все кончается. Здесь их возвращают на место в качестве зрителей, которые, подобно толпе в римском амфитеатре, существуют лишь для того, чтобы оценивать выступление героев: пальцы вверх за Бэтмена, пальцы вниз против Бэтмена, пальцы вверх за боевого окружного прокурора... Концовка, в которой Брюс и лейтенант Гордон разрабатывают план избавления от Бэтмена и создают ложный миф о мученичестве Харви Дента, просто-напросто является признанием, что политика идентична искусству вымысла. Джокер был прав. До определенной степени. Как и всегда, искупление заключается только в том, что насилие и разочарование могут быть обращены против самих себя.

Было бы лучше, если бы они на этом остановились.

Проблема такого взгляда на политику заключается в том, что он просто неверен. Политика – это не просто искусство манипулирования образами, подкрепленное насилием. Это не дуэль между несколькими импресарио перед публикой, которая поверит большей части того, что увидит, если это будет представлено достаточно искусно. Бесспорно, именно такой политика должна представляться очень богатым голливудским режиссерам. Но между съемками первого и второго фильма в дело решительно вмешалась история, показав, насколько ошибочен такой взгляд. Экономика рухнула. Не из-за манипуляций какого-то тайного общества монахов-воинов, а из-за того, что кучка финансовых управленцев, живших в вымышленном мире Нолана и разделявших его представления о бесконечных возможностях манипулирования народом, оказались неправы. Был дан массовый народный ответ, который не принял формы судорожного поиска мессианских спасителей вперемежку со вспышками нигилистического насилия¹⁷², а постепенно вылился в создание ряда реальных народных и даже революционных движений, свергнувших режимы на Ближнем Востоке и занявших площади повсюду, от Кливленда до Карачи, в попытке породить новые формы демократии.

Учредительная власть вновь появилась, на этот раз в творческой, радикальной и явно ненасильственной форме. Это именно та ситуация, в которой мир супергероев оказывается бессилён. В мире Нолана нечто похожее на «Захвати Уолл-стрит» могло бы возникнуть только как результат деятельности небольшой группы искусных манипуляторов (ну, вы понимаете таких как я), в реальности осуществляющих какой-то тайный план.

Нолану и правда не стоило касаться этих тем, но, судя по всему, он не смог удержаться. Результат оказался совершенно бессвязным. По сути, получилась еще одна психологическая драма, маскирующая драму политическую. Сценарий запутан, и пересказывать его вряд ли

стоит. Брюс Уэйн, снова выглядящий неадекватно без своего альтер эго, удалился от мира. Предприниматель-конкурент нанял Женщину-кошку, которая должна раздобыть отпечатки пальцев Уэйна, чтобы первый мог украсть все его деньги; но фактически предпринимателем манипулирует суперзлодей-наемник по имени Бэйн, носящий маску, снабжающую его газом. Бэйн сильнее Бэтмена, но это жалкий человек, томящийся от неразделенной любви к Талии, дочери Ра'с аль Гула, искалеченный в молодости жестоким обращением в подземной тюрьме, куда его несправедливо заточили; его лицо скрыто маской, которую он должен постоянно носить во избежание приступов острой боли. Если зрители отождествляют себя с таким злодеем, они явно не в ладах с собой. Никто в здравом уме не хотел бы быть Бэйном. Но, судя по всему, в этом вся соль: это предупреждение против опасностей неподобающей симпатии к неудачникам. Ведь Бэйн – это еще и харизматичный революционер, который, устранив Бэтмена, открывает, что миф Харви Дента – ложь, освобождает узников тюрем Готэма и позволяет восприимчивой черни разграбить и сжечь элитные дома и приволочь их обитателей в революционные трибуналы (забавно, что Пугало вновь появляется в роли Робеспьера). Но в сущности он собирается их всех уничтожить при помощи атомной бомбы, изготовленной в рамках какого-то проекта «зеленой» энергетики. Почему? Кто знает. Возможно, он тоже является своего рода примитивистом и экологическим террористом вроде Ра'с аль Гула (судя по всему, он перенял руководство в той же организации). Вероятно, он пытается впечатлить Талию, доводя свою работу до конца. Или, быть может, он просто злодей и дальнейшие объяснения излишни.

С другой стороны, почему Бэйн хочет вести людей к социальной революции, если через несколько недель он собирается сбросить на них атомную бомбу? Опять-таки остается только догадываться. Он говорит, что, прежде чем уничтожить кого-то, нужно дать ему надежду. Так значит, посыл состоит в том, что утопические мечты могут привести только к нигилистическому насилию? По-видимому, что-то в этом роде, но это звучит совершенно неубедительно, потому что план убить всех появился раньше. Революцию добавили задним числом.

На самом деле то, что случается с городом, может иметь смысл только как осязаемое эхо того, что всегда было важнее: что происходит с измученным мозгом Брюса Уэйна. После того как в середине фильма Бэйн калечит Бэтмена, последнего помещают в то же зловонное подземелье, где когда-то был заточен сам Бэйн. Тюрьма находится на дне колодца, поэтому солнечный свет лишь дразнит ее узников, но выкарабкаться наверх невозможно. Бэйн уверяет, что Брюса вылечат ровно до такой степени, что он сможет попытаться выбраться из нее, но не сумеет этого сделать и узнает, что его провал привел к гибели его любимого Готэма. Только после этого Бэйн сжалится и убьет его. Немного натянуто, но, по крайней мере, с психологической точки зрения можно сказать, что в этом есть смысл. Если перевести эту логику на уровень города, смысла нет никакого: зачем давать населению надежду, а затем неожиданно его уничтожить? Первое жестоко. Второе непродуманно. Мало того, создатели фильма усложняют метафору, заставляя Бэйна проделать тот же трюк с полицейскими Готэма: согласно сценарию, который настолько идиотичен, что нарушает нормы достоверности даже по меркам комиксов, почти всех их заманивают в подземелье, где заранее были заложены бомбы: они оказываются в ловушке, но при этом им по каким-то причинам разрешается получать пищу и воду, видимо для того, чтобы и их можно было пытаться надеждой.

Происходят и другие вещи, но все в том же духе. Женщина-кошка на этот раз играет роль, которая обычно отводится зрителям: сначала она отождествляет себя с революционным проектом Бэйна, а затем, по неясным причинам, передумывает и уничтожает его. Бэтмен и полиция выбираются из заточения и объединяют усилия для борьбы со злыми участниками «Захвати Уолл-стрит» перед фондовой биржей. В конце Бэтмен симулирует собственную смерть, взрывая бомбу, и Брюс оказывается с Женщиной-кошкой во Флоренции. Появляется новая фальшивая мученическая легенда, жители Готэма умиротворены. Нас заверяют, что на случай будущих беспорядков есть и потенциальный наследник Бэтмена – разочарованный офицер полиции по имени Робин. Фильм наконец-то заканчивается, и все облегченно вздыхают.

Какой месседж нам пытались передать? Если он и есть, то, судя по всему, звучать он должен примерно так: «Да, система порочна, но другой у нас нет, и людям, облеченным властью, можно доверять, если их предварительно проучили и заставили пройти через ужасные страдания». (Нормальная полиция оставляет детей умирать на мостах. Полицейские, похороненные заживо на несколько недель, могут применять насилие на законных основаниях.) «Да, несправедливость есть и ее жертвы заслуживают нашего сочувствия, но это сочувствие должно удерживаться в разумных пределах. Намного лучше заниматься благотворительностью, чем решать подобные задачи. Последнее – безумие». Потому что в мире Нолана любая попытка устранить структурные проблемы, пусть даже путем ненасильственного гражданского неповиновения, является формой насилия; ведь ничем другим она быть не может. Политика, основанная на воображении, по природе своей насильственна, поэтому нет ничего неуместного в том, что полиция вновь и вновь размазывает головы, на первый взгляд мирных протестующих, по асфальту.

Если это ответ движению «Захвати Уолл-стрит», то ответ убогий. Когда в 2008 году вышел «Темный рыцарь», было много споров о том, являлся ли фильм масштабной метафорой войны с террором: как далеко могут зайти хорошие парни (то есть мы), применяя методы плохих ребят? Возможно, создатели фильма действительно размышляли на эти темы и все же смогли сделать достойную картину. Но война с террором на самом деле была борьбой тайных сетей и манипулятивных спектаклей. Она началась с бомб и закончилась убийством. Можно представить ее как попытку обеих сторон воплотить мир комиксов в жизнь. Когда на сцену вышла настоящая учредительная власть, этот мир лишился всякой связности – и даже стал казаться смешным. На Ближнем Востоке вспыхивали революции, а Соединенные Штаты по-прежнему тратили сотни миллиардов долларов на борьбу с разношерстной группой афганских семинаристов. К сожалению для Нолана, несмотря на все его манипулятивные способности, то же самое произошло в его мире, когда в Нью-Йорке возникло лишь подобие настоящей народной власти.

Примечания

Введение. Железный закон либерализма и эра тотальной бюрократизации

1 Jacques Elliot. A General Theory of Bureaucracy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1976.

2 Tullock Gordon. The Politics of Bureaucracy. Washington, D. C.: Public Affairs Press, 1965.

3 Jacoby Henry. The Bureaucratization of the World. Berkeley: University of California Press, 1973.

4 Паркинсон Сирил Норткот. Закон Паркинсона: новейшая версия. Минск: Попурри, 2014. «Работа заполняет время, отпущенное на нее».

5 Питер Лоуренс Джонстон. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось. М.: Астрель, 2012. На основе этой знаменитой книги, рассказывающей о том, как сотрудники организации «повышают степень своей некомпетентности», было также создано популярное британское телешоу.

6 Fishall R. T. Bureaucrats: How to Annoy Them. London: Arrow Books, 1982. Ныне классический текст о том, как сбивать с толку и приводить в замешательство бюрократов. Авторство произведения приписывали английскому астроному и ведущему BBC сэру Патрику Муру.

7 Можно пойти и дальше. «Приемлемые» левые, как я сказал, приняли одновременно и бюрократию, и рынок. У правых с либертарианским уклоном хотя бы присутствует критика бюрократии. Правые фашистского толка критикуют рынок – как правило, они поддерживают социальные программы, но хотят, чтобы их участниками были исключительно представители их собственной этнической группы.

8 В силу специфического стечения исторических обстоятельств в Соединенных Штатах слово «либерал» уже не обладает тем же значением, что в остальном мире. Изначально этот термин имел отношение к приверженцам свободного рынка, и в большинстве стран мира он сохранил этот смысл. В США его переняли социал-демократы, в результате чего его предали анафеме правые, а приверженцы свободного рынка были вынуждены использовать термин «либертарианец», который изначально являлся синонимом слова «анархист» и применялся в таких фразах, как «либертарные социалисты» или «либертарные коммунисты», означавших одно и то же.

9 Действительно, точка зрения Людвига фон Мизеса по сути своей антидемократична, по крайней мере в том, что он отвергает любые решения, которые может предложить государство, но вместе с тем выступает против левых антигосударственных предложений о создании демократических форм самоорганизации за рамками государства.

10 В дюркгеймовской традиции ее обозначили как «внедоговорный элемент в договоре», что стало одним из наименее привлекательных социологических определений всех времен. Дискуссия берет начало от работы Дюркгейма «О разделении общественного труда» (М.: Канон, 1996).

11 В своей работе о неолиберализме Мишель Фуко утверждает, что в этом и заключается разница между его старой и новой разновидностями: те, кто выступает за рынок, теперь понимают, что рынки не образуются сами по себе, что их нужно пестовать и поддерживать путем вмешательства правительства. (Фуко Мишель. Рождение биополитики. М.: Наука, 2010.)

12 «Не знаю, сколько раз я использовал термин «правительственный бюрократ». И вы никогда не встретите политика, который применяет это словосочетание, не вкладывая в него хоть немного отрицательного смысла. То есть мы знаем, что налогоплательщиков заботит вопрос о том, куда идут деньги, которые они платят правительству, и мы пытаемся заслужить их доверие, убеждая их, что мы строго спрашиваем с бюрократов или сокращаем их число... Но помните, что большинство из них – такие же люди, как вы: они любят своих детей. Каждый день они встают и идут на работу. Они делают все, что в их силах... После того что нам пришлось пережить в этом месяце, после того как я смотрел в глаза детей тех самых правительственных бюрократов, что служили нам в тот роковой день в Оклахома-Сити, или в глаза тех родителей, что служили нам, пока их дети были в этом детском саду, я никогда больше не буду повторять эти слова». (www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=51382)

13 Из «Бюрократии» Макса Вебера (From Weber Max: Essays in Sociology / H. H. Gerth, C. Wright Mills (eds.). New York: Oxford University Press, 1946, pp. 197–98).

14 Во многом Соединенные Штаты – это немецкая страна, которая отказывается признавать себя таковой вследствие того самого соперничества в начале XX века. Несмотря на использование английского языка, американцев немецкого происхождения намного больше, чем выходцев из Англии (взять хотя бы два ключевых американских блюда: гамбургер и сосиски). Германия же, напротив, гордится своей эффективностью в бюрократических делах. Для полноты картины можно также привести в пример Россию, жители которой полагают, что они должны быть компетентнее в области бюрократии и, в определенном смысле, стыдятся того, что у них это не получается.

15 Недавно служащий одного английского банка объяснял мне, что обычно даже банковские работники проявляют нечто вроде осознанного двоемыслия в этих вопросах. Во внутренней переписке они всегда говорят, что правила им навязали: «Глава казначейства решил увеличить комиссию за трансграничные платежные операции», «Глава казначейства установил более либеральный пенсионный режим» и так далее. Но на самом деле все знают, что банковские управленцы просто повторяют то, о чем говорилось на ужинах и встречах с

главой казначейства, устроенных с целью продавливания этих законов и норм. Это такая игра, в которой высшие руководители банков притворно изображают удивление или даже смятение, когда их предложения воплощаются в жизнь.

16 Термином «дерегулирование» нельзя обозначить только те меры, которые призваны упразднить какие-то другие меры, которые уже назвали «дерегулированием», то есть, играя в эту игру, важно успеть первым назвать свою политику «дерегулированием».

17 Феномен, который я описываю, носит планетарный характер, но развился он в США, и именно американская элита предприняла самые агрессивные усилия для его экспорта, так что наиболее целесообразно начать с того, что произошло в Америке.

18 Своего рода квинтэссенцией корпоративной эпохи является Арчи Банкер – знаменитый телеперсонаж: этот необразованный, ограниченный портовой грузчик может себе позволить домик в пригороде и неработающую жену, он презирает женщин и всецело поддерживает статус-кво, который обеспечивает ему такое благосостояние.

19 Хотя примечательно, что сегодняшние правые американские популисты переняли именно это уравнивание коммунизма, фашизма и бюрократического государства всеобщего благоденствия, характерное для радикалов 1960-х. Интернет изобилует подобными рассуждениями. Достаточно посмотреть лишь, как «обамакер» постоянно приравнивают к социализму и к нацизму, часто одновременно.

20 Уильям Лазоник, выполнивший большую работу по изучению этого сдвига, отмечал, что он произошел в моделях ведения бизнеса – последствия глобализации и перенесения производств за рубеж на самом деле стали проявляться позже, в конце 1990-х – начале 2000-х (см., например, его работы “Financial Commitment and Economic Performance: Ownership and Control in the American Industrial Corporation” // *Business and Economic History*, 2nd series, 17 [1988]: 115–28; “The New Economy Business Model and the Crisis of U.S. Capitalism” // *Capitalism and Society* [2009], 4, 2, article 4; или “The Financialization of the U.S. Corporation: What Has Been Lost, and How It Can Be Regained” // *INET Research Notes*, 2012). С марксистским подходом к этой классовой перестройке можно ознакомиться в книгах Жерара Дюмениля и Доминика Леви (Duménil Gérard. *Capital Resurgent: The Roots of the Neoliberal Revolution* / Gérard Duménil, Dominique Lévy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004; а также Duménil Gérard. *The Crisis of Neoliberalism* / Gérard Duménil, Dominique Lévy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013). Действительно, классы инвесторов и управленцев превратились в единое целое – они породнились, – а карьеры, которые делаются одновременно и в мире финансового, и в мире корпоративного менеджмента, стали обычным явлением. По Лазонику, самым пагубным экономическим следствием является практика обратной покупки акций. В 1950–1960-е годы корпорацию, тратившую миллионы долларов на выкуп собственных акций для того, чтобы поднять их рыночную стоимость, вполне вероятно обвинили бы в незаконных манипуляциях рынком. Начиная с 1980-х годов управленцам все чаще платили акциями, это стало обычной практикой, и триллионы долларов корпоративных доходов, которые в прежние времена были бы пущены на расширение масштабов деятельности, наем новых рабочих или исследования, вместо этого стали отправляться на Уолл-стрит.

21 В 1980-е годы стала популярной кодовая фраза «либерал по образу жизни, консерватор по отношению к налогам». Так обозначали тех, кто воспринял социальные ценности контркультуры 1960-х, но стал смотреть на экономику глазами инвесторов.

22 Для ясности отмечу, что это ни в коей мере не имеет отношения к крупнейшим журналистским коллективам таких газет, как The New York Times, The Washington Post, или журналам вроде The New Yorker, The Atlantic или Harper's. Вполне возможно, что в таких учреждениях к диплому журналиста относятся отрицательно. Так что речь идет о менее крупных печатных СМИ. Но все же общая тенденция заключается в том, что влияние дипломов растет во всех областях.

23 <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/05/college-promise-economy-does-no-201451411124734124.html> Приведенный текст взят из: Saving Higher Education in the Age of Money. Charlottesville: University of Virginia Press, 2005, p. 85. Далее автор пишет: «Почему американцы считают, что это хорошее или, по крайней мере, необходимое требование? Потому что они так думают. Мы покинули сферу разума и вступили в мир веры и массового конформизма».

24 Это, разумеется, мой личный опыт. Будучи одним из немногих выходцев из рабочего класса на моем курсе, я со смятением наблюдал за тем, как профессора сначала объясняли мне, что считают меня лучшим студентом в моей группе, а то и на всей кафедре, а затем заламывали руки и твердили, что ничего нельзя сделать, пока я перебивался на минимальное пособие, а то и вовсе жил без всякой поддержки в течение многих лет и трудился на нескольких работах, в то время как студенты, чьи родители были докторами, юристами и профессорами, казалось автоматически получали все гранты, дотации и стипендии.

25 У правительства нельзя получить прямой заем на повышение квалификации, поэтому заемщики вынуждены брать кредиты с более высокой процентной ставкой у частных организаций.

26 Один мой друг привел мне пример магистерской степени по библиотечному делу, которая теперь требуется во всех государственных библиотеках, хотя годичный курс обучения, как правило, не дает никакой информации, которую нельзя было бы получить за неделю или две стажировки на рабочем месте. Главным результатом является то, что в течение одного или двух десятилетий своей карьеры новоиспеченный библиотекарь выделяет 20-30 % своего дохода на выплату кредитов – в случае моего друга это тысяча долларов в месяц, половина из которых уходит университету (основное тело долга), а вторая половина – кредитору (проценты).

27 Эту логику соучастия можно применить к самым разным организациям. Главный редактор одного из ведущих левых журналов Америки – миллиардер, которая фактически купила себе должность. Главный критерий продвижения в организации – это, разумеется, готовность притворяться, будто своей работой она обязана не деньгам, а чему-то еще.

28 Я описал то, что произошло, в очерке под названием «Шок победы». Разумеется, планетарная бюрократия сохранилась, но мерам вроде навязываемых МВФ структурных реформ пришел конец, а отказ Аргентины в 2002 году выплачивать долги под сильным давлением социальных движений запустил череду событий, которые покончили с долговым кризисом третьего мира.

29 Лига Наций и ООН вплоть до 1970-х годов, были по сути своей, совещательными органами.

30 Например, отмена хлебных законов, которая упразднила протекционистские пошлины в Англии и ознаменовала начало либеральной эпохи, была проведена консервативным премьер-министром сэром Робертом Пилем, больше известным как создатель первой британской полиции.

31 Несколько лет назад мне об этом напомнил не кто иной, как Джулиан Ассанж, когда группа активистов движения «Захвати Уолл-стрит» появилась в его телешоу «Мир завтрашнего дня». Зная, что многие из нас были анархистами, он задал провокационный, по его мнению, вопрос: предположим, у вас есть лагерь и какие-то люди всю ночь напролет безостановочно играют на барабанах, не давая никому спать, – какие будут ваши предложения? Подразумевалось, что в подобных условиях полиция или что-то вроде нее – некая безличная власть, готовая угрожать применением насилия, – просто необходимы. Он имел в виду реальный случай – в парке Зуккотти как раз были такие надоедливые барабанщики. Но участники движения, которым их музыка не нравилась, просто договорились с ними, что те могут шуметь только в определенные часы. Никаких угроз не понадобилось. Это служит наглядным примером того, что раньше у подавляющего большинства людей, оказавшихся в такой ситуации, просто не было возможности привлечь силу вроде полиции. И тем не менее они находили выход. Бесполезно искать месопотамские, китайские и древние перуанские рассказы о городских жителях, которых выводили из себя бурные вечеринки соседей.

32 Вероятно, рыночные отношения, которые действуют иначе, возможны. Хотя на протяжении большей части истории безличные рынки создавались государствами в основном для поддержки военных операций, бывали и периоды, когда государства и рынки расходились. Многие идеи Адама Смита и других сторонников рынка эпохи Просвещения заимствованы как раз из такого времени – из средневекового исламского мира, где суды шариата обеспечивали исполнение торговых договоров без прямого правительственного вмешательства, а лишь за счет репутации (а значит, и кредитоспособности) купцов. Любой подобный рынок будет во многих аспектах действовать совсем иначе, чем те рынки, к которым мы привыкли: например, рыночная деятельность рассматривалась как сотрудничество, а не как конкуренция (см.: Гребер Дэвид. Долг: первые 5000 лет истории / Пер. А. Дунаева. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016). Христианство придерживалось совсем иной традиции, в которой торговля всегда была больше связана с войной, а чистое конкурентное поведение, особенно в отсутствие предшествующих социальных связей, настоятельно требует наличия силы вроде полиции для того, чтобы заставить людей соблюдать правила.

33 Возможно, в последние годы ситуация начала постепенно улучшаться. Но сам я неоднократно сталкивался с тем, что, когда я представлял свою работу, в которой утверждалось, что определенная форма социального контроля возможна благодаря государственной монополии на насилие, кто-нибудь немедленно бросался доказывать, что я исхожу из положений Фуко, Грамши или Альтюссера и что такой анализ безнадежно устарел либо потому, что «дисциплинарные системы» больше так не работают, либо потому, что теперь мы осознали, что они никогда и не работали.

34 The Collected Works of Abraham Lincoln, vol. 5. / Roy P. Basler (ed.). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, p. 52. Антрополог Димитра Дукас предлагает хороший исторический обзор того, как эта трансформация произошла в небольшом городке штата Нью-Йорк: Doukas Dimitra. Worked Over: The Corporate Sabotage of an American Community. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003. О продолжающемся конфликте между двумя точками зрения в среде современных американских трудящихся см. также: Durrenberger E. Paul, Doukas Dimitra. "Gospel of Wealth, Gospel of Work: Counter-hegemony in the U.S. Working Class" // American Anthropologist, Vol. 110, Issue 2 (2008), pp. 214-25.

35 Было бы интересно сравнить эту кампанию со столь же хорошо финансируемыми усилиями по распространению идеологии свободного рынка в 1960–1970-е годы, которые начались с создания мозговых трестов наподобие Американского института предпринимательства. Эти усилия, предпринимавшиеся более узким классом капиталистов, начали оказывать существенное влияние на общественное мнение намного позже, хотя в конечном итоге оказались даже более успешными.

36 Даже советская бюрократия сочетала прославление труда с долгосрочным обязательством создания потребительской утопии. Стоит отметить, что когда в 1980-е годы администрация Рейгана отказалась применять законы против монополий она изменила критерии одобрения слияний – от того, ограничивает ли то или иное слияние торговлю, к тому, «приносит ли оно пользу потребителю». В результате в большинстве отраслей американской экономики, от сельского хозяйства до книготорговли, господствуют несколько гигантских бюрократических монополий или олигополий.

37 В античном мире или в средневековом христианстве рациональность вряд ли могла восприниматься как инструмент, потому что она была в буквальном смысле гласом Божьим. Подробнее я рассмотрю эти вопросы в третьем очерке.

38 Общее количество государственных служащих в России в 1992 году: 1 миллион. Общее число государственных служащих в 2004 году: 1,26 миллиона. Это тем более примечательно, потому что большая часть этого периода была отмечена экономическим коллапсом, а значит деятельности, которой требовалось управлять, было намного меньше.

39 Эта логика аналогична марксистскому понятию фетишизма, согласно которым человеческие творения обретают жизнь и начинают контролировать своих создателей, а не наоборот. Возможно, лучше считать это разновидностью того же феномена.

ГЛАВА I. Мертвые зоны воображения.

Очерк о структурной глупости

40 Эта тактика настолько распространена, что, на мой взгляд, у нее должно быть свое имя. Я предлагаю назвать это стратегией «Еще одно ваше слово – и эта детка получит по шее!» Если вы жалуетесь на бюрократическую проблему, имейте в виду, что единственным результатом будет то, что у какого-нибудь мелкого служащего возникнут неприятности вне зависимости от того, принимал ли он какое-либо участие в создании этой проблемы. В такой ситуации жалобщик почти сразу перестает качать права, если только он не необычайно мстителен и жесток. В данном случае кто-то забыл сообщить мне важную информацию, но по отношению ко мне применили тот же прием, когда я стал жаловаться на проблему, явно возникшую вследствие ошибки самого менеджера, которому я жаловался.

41 Например: «Мы надеемся, что каждый будет упорно трудиться ради общего блага, не стремясь получить вознаграждение! А если вы не способны жить по таким стандартам, то вы – контрреволюционный буржуазный индивидуалист и паразит, которого мы отправим в ГУЛАГ».

42 Хотя антропологические исследования о бюрократии (классическим трудом здесь является книга Херцфельда: Herzfeld Michael. *The Social Production of Indifference: Exploring the Symbolic Roots of Western Bureaucracy*. New York: Berg, 1992) и существуют, они почти никогда не характеризуют подобные установления как глупые или идиотские. Если и возникает подход «бюрократия как идиотизм», то он, как правило, приписывается одному из информаторов, которого рисуют наивным представителем народа, чье существование должны объяснять антропологи. «Почему жители греческих деревень или мозамбикские лавочники, – спрашивают они, – сочиняют так много анекдотов о местных чиновниках, в которых последние предстают бестолковыми идиотами?» Единственный ответ, который никогда не берется в расчет, состоит в том, что деревенские жители и лавочники просто описывают реальность.

Мне кажется, здесь я должен быть осторожным. Я не говорю, что антропологи и представители других общественных наук пребывают в неведении относительно того, что погружение в бюрократические кодексы и нормы действительно заставляет людей совершать такие поступки, которые в любом другом контексте выглядели бы идиотскими. Об этом знают все на основании собственного опыта. И тем не менее в рамках культурного анализа очевидные истины не представляют интереса. В лучшем случае можно встретить фразу, начинающуюся с «Да, но...» – подразумевается, что это «но» предваряет нечто действительно важное.

43 В определенной степени это открыто противоречит тому мировоззрению, которое институты постоянно пытаются привить: недавно мне нужно было заполнить онлайн-отчет «О распределении времени» для моего университета. Там было около тридцати административных граф, но не было графы «Написание книг».

44 «Никогда» – это, безусловно, преувеличение. Есть некоторые исключения. Их совсем немного. Самое заметное такое исключение в антропологии – блестящая работа Мэрилин Стратерн (Strathern Marilyn. *Audit Cultures: Anthropological Studies in Accountability, Ethics and the Academy*. London, Routledge, 2000).

45 *Toward a General Theory of Action* / Talcott Parsons, Edward A. Shils (eds.). Cambridge: Harvard University Press, 1951.

46 Ross Eric. “Cold Warriors Without Weapons” // *Identities* 1998 vol. 4 (3-4): 475-506. Просто чтобы дать представление об этих связях, скажу, что в Гарварде Гирц был студентом Клайда Клакхона, который не только был «важным координатором фондов, предназначенных для исследований, интересовавших ЦРУ», но и внес свой вклад в написание раздела по антропологии в знаменитом веберинском манифесте социальных наук «К общей теории действия», составленном Парсонсом и Шилзом (1951). Клакхон связал Гирца с Центром международных исследований при Массачусетском технологическом институте, которым тогда руководил бывший директор экономических исследований ЦРУ, уговоривший его, в свою очередь, заниматься развитием в Индонезии.

47 Здесь интересно отметить, что до 1968 года сам Фуко во Франции был сравнительно малоизвестной фигурой, архиструктуралистом, который провел долгие годы в ссылке в Норвегии, Польше и Тунисе. После восстания его вызвали из Туниса и предложили самую престижную должность, которая есть в Париже – место профессора в Коллеж де Франс.

48 В антропологии см., например: Scheper-Hughes Nancy. *Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil*. Berkeley: University of California Press, 1992; Nordstrom Carolyn, Martin Joann. *The Paths to Domination, Resistance and Terror*. Berkeley: University of California Press, 1992.

49 Сам термин восходит к дебатам, протекавшим в рамках исследований мира в 1960-е годы; он был предложен Йоханном Гальтунгом (“Violence, Peace, and Peace Research” // *Journal of Peace Research* 1969 vol. 6:167-91; *Peace: Research, Education, Action, Essays in Peace Research*. Copenhagen: Christian Ejlertsen, Vol. 1, 1982; Lawler Peter. *A Question of Values: Johann Galtung’s Peace Research*. Boulder, CO, Lynne Rienner, 1995) в качестве ответа на обвинения в том, что определять «мир» как простое отсутствие действий физического насилия означает недооценивать преобладание намного более коварных структур эксплуатации человека. Гальтунг полагал, что термин «эксплуатация» слишком тесно ассоциировался с марксизмом, и в качестве альтернативы предложил «структурное насилие»: любое институциональное установление, которое уже самим своим функционированием регулярно причиняет физический или психологический ущерб определенной части населения или ограничивает свободу. Таким образом, структурное насилие можно отличать как от «личного насилия» (совершаемого опознаваемым субъектом), так и от «культурного насилия» (тех представлений и допущений о мире, которые оправдывают причинение ущерба). В основном именно так этот термин использовался и в антропологической литературе (например: Bourgois Philippe. “The Power of Violence in War and Peace: Post – Cold War Lessons from El Salvador” // *Ethnography* 2001 vol. 2 [1]: 5-34; Farmer Paul. “An Anthropology of Structural Violence” // *Current Anthropology* 2004 vol. 45 [3]: 305-25; *Pathologies of Power: Health, Human*

Rights and the New War on the Poor. Berkeley: University of California Press, 2005; Gupta Akhil. Red Tape: Bureaucracy, Structural Violence and Poverty in India. Durham, NC: Duke University Press, 2012).

50 В современном мире это, разумеется, не имеет смысла. Допустим, если есть некоторые пространства, из которых женщины исключены вследствие страха физического или сексуального нападения, то нельзя проводить различия между этим страхом и предположениями о причинах, подталкивающих мужчин совершать подобные нападения или побуждающих полицию внушать жертве мысль, что она, мол, «сама напросилась», или складывающимся у большинства женщин ощущением, что в таких местах женщины и правда не должны появляться. Эти факторы нельзя отличить и от «экономических» последствий для женщин, которые в результате не могут устроиться на определенные виды работы. Все это составляет единую структуру насилия.

Как отмечает Катя Конфортини (Confortini Catia. "Galtung, Violence, and Gender: The Case for a Peace Studies/Feminism Alliance" // Peace and Change 2006 vol. 31 [3]: 333–67), главная проблема в подходе Йоханна Гальтунга заключается в том, что он считает «структуры» абстрактными, ни с чем не связанными объектами, тогда как то, о чем мы говорим здесь, представляет собой материальные процессы, в которых насилие и угроза его применения играют ключевую, определяющую роль. Действительно, можно сказать, что вследствие самой этой тенденции к абстракции каждый вовлеченный в процесс может считать, что насилие, на котором зиждется система, не несет ответственности за ее насильственные последствия.

51 Это правда, что рабству часто придают форму нравственных отношений (хозяин по-отечески заботится о духовном благополучии рабов – что-то в этом роде), но, как отмечали многие, в подобный обман на самом деле не верят ни хозяева, ни рабы; способность заставить рабов подыгрывать такой явно фальшивой идеологии сама является средством установления чисто произвольной власти хозяина.

52 Breckenridge Keith. "Power Without Knowledge: Three Colonial isms in South Africa". – Режим доступа: www.history.und.ac.za/Sempapers/Breckenridge2003.pdf.

53 Breckenridge Keith. "Verwoerd's Bureau of Proof: Total Information in the Making of Apartheid" // History Workshop Journal 1985, vol. 59:84.

54 Mathews Andrew. "Power/Knowledge, Power/Ignorance: Forest Fires and the State in Mexico" // Human Ecology 2005, vol. 33 (6): 795–820; Instituting Nature: Authority, Expertise and Power in Mexican Forests, 1926–2011. Cambridge: MIT Press, 2011.

55 Apter David. The Politics of Modernization. Chicago: University of Chicago Press, 1965; Choice and the Politics of Allocation: A Developmental Theory. New Haven: Yale University Press, 1971.

56 «Насильственные действия не меньше чем другие виды поведенческого выражения пропитаны культурным смыслом и представляют собой индивидуальные действия в рамках исторически сложившихся моделей поведения. Таким образом, индивидуальные действия, опирающиеся на сохранившиеся до наших дней культурные формы, символы и образцы,

могут считаться «поэтическими» относительно находящегося под ними субстрата, управляемого правилами, и относительно того, как этот субстрат задействуется, при помощи каких новых смыслов и форм культурного выражения он проявляется» (Whitehead Neil. "On the Poetics of Violence" / James Currey (ed.) // Violence. Santa Fe, NM: SAR Press, 2004, pp. 9–10).

57 Мы обычно считаем, что в криминальных делах приставить кому-нибудь к голове пистолет и потребовать деньги – это насильственное преступление, хотя непосредственного физического контакта не происходит. Тем не менее авторы большинства либеральных определений насилия стараются не характеризовать угрозы причинения физического вреда как формы насилия, поскольку это ведет к разрушительным последствиям. В результате либералы, как правило, определяют насилие как действия, направленные на причинение вреда без предварительного согласия, а консерваторы – как действия, направленные на причинение вреда без предварительного согласия и не получившие одобрения со стороны законных властей – что, разумеется, исключает вероятность того, что любое государство, которое они одобряют, может быть вовлечено в «насилие» (см.: Coady C. A. J. "The Idea of Violence" // Journal of Applied Philosophy 1986 vol. 3 [1]: 3–19; а также мою книгу: Graeber David. Direct Action: An Ethnography. Oakland: AK Press, 2009, pp. 448–49).

58 Надеюсь, здесь я не должен подчеркивать, что патриархальные установления такого рода являются очевидными примерами структурного насилия, а их нормы подкрепляются угрозой причинения физического вреда самыми разными способами, как утонченными, так и не очень.

59 Написав этот абзац, я тщетно пытался найти эссе, в котором я впервые прочитал об этих экспериментах (сначала я наткнулся на него примерно в 1990 году, в журнальной статье о фильме «Тутси», которую я прочитал в американском консульстве в Антананариву, когда проводил там полевые исследования). Когда я рассказываю эту историю, мне часто говорят, что настоящая причина, по которой юноши отказываются представлять себя девушками, заключается в банальной гомофобии, и это, конечно, до определенной степени правда. Но тогда нужно задаться вопросом, почему гомофобия настолько сильна и почему она выражается именно в такой форме? В конце концов, для многих девушек подросткового возраста тоже характерна гомофобия, но их это не останавливает, когда у них появляется возможность поставить себя на место юношей.

60 Bell Hooks. "Representations of Whiteness" // Black Looks: Race and Representation. Boston: South End Press, 1992, pp. 165–78.

61 Главные работы по теории местоположенности, написанные Патрицией Хилл Коллинс, Донной Хэрэуэй, Сандрой Хардинг, Нэнси Хартсок и другими, были опубликованы в сборнике, вышедшем под редакцией Хардинг (The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies. London: Routledge, 2004). Я могу добавить, что история самого этого очерка представляет собой характерный пример гендерного забвения, которое я описываю. Когда я впервые обнаружил эту проблему, я и понятия не имел об этой литературе, хотя она опосредованно повлияла на мои доводы – лишь благодаря одной моей

подруге-феминистке я узнал, откуда берут начало многие из данных идей.

62 Bittner Egon. *Aspects of Police Work*. Boston: Northeastern University Press, 1970; также: "The capacity to use force as the core of the police role" / Elliston and Feldberg (eds.) // *Moral Issues in Police Work*. Savage, MD: Rowman and Littlefield, 1985, pp. 15–26; Waddington P. A. *Policing Citizens: Authority and Rights*. London: University College London Press, 1999; Neocleous Mark. *The Fabrication of Social Order: A Critical Theory of Police Power*. London: Pluto Press, 2000.

63 Этот абзац, разумеется, адресован обладателям определенного классового статуса: я часто отмечал, что принадлежность к среднему классу определяется тем, чувствует ли человек себя в большей безопасности, когда видит полицейского на улице. Вот почему лишь очень небольшая доля населения, скажем, Нигерии, Индии или Бразилии считает себя средним классом, тогда как в Дании или среди белых австралийцев таких людей множество. В подавляющем числе крупных городов Европы или Северной Америки расовая принадлежность – тоже весомый фактор, хотя часто те, кто сталкивается с прямым и постоянным расистским насилием со стороны полиции, тем не менее утверждают, что полиция занимается прежде всего борьбой с преступностью.

64 Я понимаю, что это не совсем то, что говорил Вебер. Даже словосочетание «железная клетка» представляет собой неточный перевод фразы, означающей что-то вроде «блестящая металлическая капсула» – не унылая тюрьма, а высокотехнологическая обертка, которая привлекает сама по себе. Тем не менее в XX веке Вебера понимали именно так и именно такое массовое восприятие было по-своему важнее и имело больше влияния, чем тот смысл, который вкладывал в эти слова их автор.

65 В Древнем Египте, напротив, были созданы целые литературные жанры, предостерегающие молодых людей от безрассудных занятий. Как правило, они начинались с вопроса, мечтал ли читатель когда-нибудь стать капитаном корабля или возничим царской колесницы, а затем переходили к описанию того, каким в действительности жалким было занятие, казавшееся таким блестящим на первый взгляд. Вывод всегда был одинаковым: не делайте этого! Становитесь бюрократами. Вам достанется доходная работа, и вы сможете командовать солдатами и матросами, которые будут смотреть на вас, как на Бога.

66 Мне кажется, самое смешное в фильмах о Бонде, что он – отвратительный шпион. Шпионы должны быть осторожными и незаметными. Джеймс Бонд под это описание никак не подходит. Но, хотя он и ужасный шпион, он добивается успеха потому, что он безупречно и безо всяких усилий справляется с любым заданием, не связанным с разведкой. Что касается его инверсии с Холмсом, ее можно развивать до бесконечности: у Холмса есть семейная история, а Бонд то ли сирота, то ли не имеет семейных связей, и, кроме того, он постоянно занимается сексом, но детей у него нет. Холмс работает вместе с напарником, который удачно ему ассистирует; Бонд – с несколькими напарницами, которые обычно умирают.

67 Полное изложение этого аргумента потребовало бы гораздо большего количества времени, и здесь для него нет места, но обратите внимание, что типаж «копа-беспредельщика-нарушителя-всех-правил», который сегодня появляется в голливудских

боевиках по умолчанию, не существовал вплоть до 1970-х годов. На самом деле в американском кино первой половины XX века трудно найти фильмы, в которых повествование велось бы с точки зрения полицейского. Кино о копах-беспредельщиках зародилось тогда, когда исчезли вестерны, и представляет собой перенесение сюжетов вестернов в городские бюрократические декорации. Этот переход обозначил Клинт Иствуд – от «Долларовой трилогии» Серджио Леоне (1964, 1965, 1966) до «Грязного Гарри» (1971). Как отмечали другие авторы, сюжет вестернов представляет собой попытку придумать такую ситуацию, в которой приличный человек может оправданно делать вещи, которым в любых других обстоятельствах не было бы никакого оправдания. Перенесение этого в городскую бюрократическую среду приводит к неприятным последствиям – действительно, образ Джека Бауэра (из телесериала «24 часа») можно назвать логической кульминацией этого жанра.

68 Cooper Marc. “Dum Da Dum-Dum” // Village Voice April 16, 1991, pp. 28-33.

69 Может показаться, что это похоже на судьбу либеральных или правых либертарианских идей о свободе рынка, которые выступают против вмешательства правительства, но, в соответствии с тем, что я назвал железным законом либерализма, всегда создают еще больше бюрократии. Но я не думаю, что левые идеи всегда неизбежно порождают бюрократию. Ведь восстания обычно начинаются с полного уничтожения существующих бюрократических структур, и если эти структуры зачастую и восстанавливаются, то лишь тогда, когда революционеры начинают действовать посредством правительства: когда же им удастся сохранить независимые анклав, как, допустим, сапатистам, то этого не происходит.

70 Я с некоторым колебанием использую слово «онтология», потому что в последнее время этим философским термином много злоупотребляли. В принципе, онтология – это теория о природе реальности, противостоящая эпистемологии, которая является теорией о том, что мы можем знать о реальности. В общественных науках слово «онтология» стали применять просто как вычурный синоним «философии», «идеологии» или «набора культурных предпосылок», причем порой в таких формах, которые философы сочли бы скандальными. Здесь я использую его в конкретном значении «политической онтологии», которое, наверное, я сам и придумал и которое обозначает набор допущений о сокрытой реальности. Когда говорят «Давайте будем реалистами», о какой реальности идет речь? Что это за скрытая реальность, подспудные силы, которые якобы действуют под поверхностью политических событий?

71 Даже богатые и могущественные обычно соглашались с тем, что мир – довольно неприглядное место для большинства из тех, кто в нем живет, но утверждают, что это неизбежно или что любая попытка это изменить все только ухудшит, – но они не говорят, что у нас идеальное общественное устройство.

72 К сожалению, он этого не сделал. Он назвал ее куда менее выразительно – «Провальный капитализм» (Holloway John. Crack Capitalism. London: Pluto Press, 2010).

73 Ключевые работы здесь: Engell James. *The Creative Imagination: Enlightenment to Romanticism*. Cambridge MA: Harvard University Press, 1981 и McFarland Thomas. *Originality and Imagination*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985.

74 Я мог бы добавить, что феминистская теория так быстро привязала эти глубокие размышления о влиянии структурного насилия на воображение к своей сфере, что они не оказали практически никакого влияния на работу большинства теоретиков-мужчин.

75 Без сомнения, благодаря этому проще рассматривать эти две сферы как в корне различающиеся виды деятельности, из-за чего нам вообще тяжело признать трудом интерпретативную работу, например, бóльшую часть того, что мы обычно считаем женской работой. На мой взгляд, было бы правильнее считать ее первичной формой труда. Если здесь и можно проводить четкое различие, то именно заботу и труд, связанные с людьми, стоит считать основными. То, что беспокоит нас сильнее всего: наши страсти, привязанности, наваждения, соперничество, – всегда зависит от других, и в большинстве некапиталистических обществ считается само собой разумеющимся, что изготовление материальных товаров занимает подчиненное положение в более широком процессе формирования людей. Я бы даже сказал, что одним из самых сильных проявлений капиталистического отчуждения является тот факт, что капитализм заставляет нас притворяться, будто все устроено ровно наоборот и общества существуют в первую очередь для того чтобы увеличивать производство товаров.

76 См. мою книгу: Graeber David. *The Democracy Project*. New York: Spiegel & Grau, 2012. По иронии судьбы, я хотел ее назвать «Как будто мы уже свободны», но в конечном итоге я не был свободен в выборе названия для собственной книги.

77 *A Paradise Made in Hell: The Extraordinary Communities That Arise in Disaster*. New York, Penguin, 2010.

ГЛАВА II. О летающих автомобилях и снижении нормы прибыли

78 Точно так же Оруэлл в 1949 году поместил свою футуристическую антиутопию в 1984 год, всего через тридцать пять лет.

79 Впервые видеофоны были опробованы в 1930-х годах в одном из почтовых отделений нацистской Германии.

80 Из: Jameson Fredric. *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. Duke University Press, 1991, pp. 36–37. Впервые очерк был опубликован в 1984 году.

81 Первое издание книги вышло в 1972 году на немецком языке под названием *Der Spätkapitalismus*. Английское издание – *Late Capitalism* (London: Humanities Press, 1975).

82 Вероятно, в своей классической форме эта точка зрения изложена в книге Говарда Маккерди (McCurdy Howard. *Space and the American Imagination*. Washington, D. C.: Smithsonian, 1997), но есть и другие ее версии: Pyne Stephen J. "A Third Great Age of discovery" // *The Scientific and Historical Rationales for Solar System Exploration*, SPI 88-1. Washington, D. C.: Space policy institute, George Washington University, 1988; или: Billings Linda. "Ideology, Advocacy, and Spaceflight: Evolution of a Cultural Narrative" // *The Societal Impact of Spaceflight*. Washington, D. C.: NASA, 2009.

83 Тоффлер Элвин. *Шок будущего*. М.: АСТ, 2008.

84 В данном случае также имеется советский аналог – Ту-144, первый сверхзвуковой пассажирский самолет, совершивший первый полет в 1968 году, на несколько месяцев раньше «Конкорда», но переставший использоваться в коммерческих целях в 1983 году.

85 Источник: wwwFOUNDERSfund.com/uploads/ff_manifesto.pdf

86 Тоффлер Элвин. *Третья волна*. М.: АСТ, 2010.

87 Политика Тоффлера несколько более двусмысленна, но не намного. До успеха «Шока будущего» он был известен прежде всего как деловой журналист, для которого самой важной попыткой прославиться стало интервью, взятое у Айн Рэнд для Playboy. Как и большинство консерваторов, он лишь на словах поддерживал равноправие женщин как абстрактный принцип, но активных феминисток и поднимаемые феминизмом проблемы упоминал только для того, чтобы их критиковать: характерный пример можно найти в его «Революционном богатстве» (Тоффлер Элвин. *Революционное богатство* / Элвин Тоффлер, Хайди Тоффлер. М.: АСТ, 2007). Любопытно, конечно, что и Тоффлер, и Гилдер так одержимы угрозой материнству: оба словно строили свою политику на несогласии с идеями Шуламита Файерстоун, причем задолго до того, как сама Файерстоун заявила о себе.

88 Какими бы эксцентричными ни были подобные персонажи, трудно переоценить их влияние на правых, считавших их творческими провидцами. Гилдеровские теории экономики предложения, например, широко цитируются как один из главных источников вдохновения для рейганомии, а его «Технологический отчет» получил такое широкое распространение, что обозреватели рынка заговорили об «эффекте Гилдера», заключавшемся в том, что рыночная стоимость акций любой компании, о которой он упоминал в положительном ключе, вскоре почти всегда начинала расти.

89 Например, Маккормик рассказал мне, что в конце 1960-х годов он сотрудничал с одним мозговым трестом. Он был основан бывшим президентом Чикагского университета, и среди его главных задач была разработка методов по предотвращению глубоких социальных изменений, которые, как они считали, произойдут через поколение или около того, когда машины полностью вытеснят ручной труд.

90 У меня нет возможности подробно рассказать о некоторых политических конфликтах начала 1970-х годов, описанных в неопубликованном труде проекта Zero Work, который стал основой возникшего позднее коллектива Midnight Notes, но они довольно четко показывают, что во многих конвейерных производствах стихийные забастовки того времени проходили

под лозунгом механизации тяжелой работы, а для работодателей отказ от фабрик в промышленном поясе, где были сильны позиции профсоюзов, стал сознательной стратегией, позволявшей уходить от этих требований (см., например, работу: Peter Linebaugh и Bruno Ramirez "Crisis in the Auto Sector", изначально написанную в рамках проекта Zero Work и опубликованную в Midnight Notes в 1992 году).

91 Соединенные Штаты иногда любят создавать иллюзию, будто они не осуществляют промышленное планирование, но, как уже давно отметили критики, это не так. По большей части прямым планированием, а значит, и исследованиями занимаются военные.

92 Проект был назван просто «Энергия», и в этом заключалась причина, по которой Советский Союз занимался разработкой гигантских ракет-носителей, до сих пор остающихся основополагающим элементом мировой космической программы после того, как «Спейс Шаттл» был выведен из эксплуатации. Новости о проекте просочились в США лишь в 1987 году, за несколько лет до краха СССР. www.nytimes.com/1987/06/14/world/soviet-studies-satellitesto-convert-solar-energy-for-relay-to-earth.html

93 Тут можно задать интересный вопрос: в какой степени этот особый мифологический мир был заимствован у славян? Однако для ответа на него нужно было бы провести серьезные исследования.

94 Джефф Шарлет рассказал мне, что эти воображаемые связи возможно намного прочнее, чем мы думаем. В 1950-е и 1960-е годы многие известные американцы, в том числе немало конгрессменов, подозревали, что Советы находились в контакте с инопланетянами и что НЛО были либо советскими союзниками, либо советскими аппаратами, изготовленными при помощи заимствованных у инопланетян технологий (см., например: Sharlet Jeff. Sweet Heaven When I Die: Faith, Faithlessness and the Country In Between. New York: Norton, 2012, pp. 146–48).

95 Например, на 368 страницах книги Джудит Барат «Этика "Звездного Пути"» (Barad Judith. The Ethics of Star Trek. New York: Perennial, 2000) ни разу не упоминается ни демократия, ни проблемы коллективного принятия политических решений.

96 Вот другая фраза, которую никто никогда не услышит: «Вы знали, что традиционалистский союз Вулкана и Баджора грозит отказать в поддержке правящей коалиции и добиться проведения новых выборов, если их кандидат не получит портфель министра образования в этом году?» Обратите также внимание на то, что в отсутствие идеологических различий, способных возобладать над этническими, единственные политические разногласия, которые можно представить в рамках Федерации, это разногласия между видами: андорианцы хотят одного, а бетазоиды – другого. Это опять-таки похоже на то, что происходило в СССР и в подобных ему режимах, где сочетание централизованной системы распределения и насаждения идеологического единства приводило к тому, что открытое политическое выражение могли найти лишь этнические различия – с катастрофическими политическими последствиями в долгосрочном плане.

97 Хотя в Федерации представлены все этнические группы, существует и одно любопытное исключение: евреи. Это тем более удивительно, что Кирка и Спока в первых фильмах играли

актеры-евреи: вулканское приветствие – это благословение ортодоксальных евреев. Но вы никогда не увидите капитана Голдберга или лейтенанта Рубинштейна; насколько мне известно, в эпопею не появилось ни одного персонажа-еврея.

98 Последовательность событий здесь до некоторой степени гипотетическая, поскольку, как я говорил, эта история не написана. Конечно, я не утверждаю, что сам Майкл Мур возбудил споры – скорее, его комментарии отразили суть того, что обсуждалось в те времена. Ференги впервые появились довольно рано, в 1987 году, а борги – еще раньше, но противопоставляться Федерации они стали позже. Достаточно лишь погуглить «Джин Родденберри» (создатель «Звездного пути») и «коммунист» для того, чтобы получить представление о том, с какой яростью отнеслись к этому вопросу в консервативных кругах.

99 Изначально термин происходит от «франков», которым арабы обозначали крестоносцев. У ференгов оказалось интересное средневековое наследие: их имя стало враждебным термином, которым мусульмане называли христиан, считая их нечестивыми варварами, настолько жадными, что у них напрочь отсутствовало человеческое достоинство, а их внешний вид и поведение напоминали тот отвратительный образ, которым сами христиане наделяли евреев ровно по тем же причинам.

100 Поэтому, например, одно недавнее исследование труда в XXI веке начинается с таких слов: «Два важных явления преобразили труд в конце XX века. Первым стал крах Советского Союза и триумф рыночного капитализма по всему миру. Вторым – повсеместное распространение технологий компьютеризированного производства и командно-административных систем управления» (Baldoz Rick. *The Critical Study of Work: Labor, Technology and Global Production* / Rick Baldoz, Charles Koeber, Philip Kraft. Philadelphia: Temple University Press, 2001, p. 3).

101 Его разработчик Михаил Калашников еще жив (Калашников умер в 2013 г. – Примеч. ред.). Недавно он провел конференцию, на которой отметил, что американские солдаты в Ираке зачастую отказываются от своего оружия, предпочитая ему трофейные автоматы АК-47, когда у них появляется такая возможность.

102 И разумеется, сам подсчет количества университетских сотрудников производит удручающее впечатление, поскольку в нем не учитывается постоянно растущее число управленцев, работающих в фондах и других учреждениях, выдающих гранты.

103 Дон Брэбен, физик из Университетского колледжа Лондона, произвел сенсацию в Великобритании, заметив, что Альберт Эйнштейн никогда не смог бы получить финансирование, если бы жил в наши дни. Другие предположили, что большая часть его трудов не прошла бы рецензирования.

104 Katz Jonathan L. “Don’t Become a Scientist!”. Режим доступа: wuphys.wustl.edu/~katz/scientist.html

105 Как отмечают некоторые мои друзья, работающие в промышленности, еще хуже, что грантодатели настаивают на том, что заявки, отчеты о выполненной работе и подобные вещи должны писать сами исследователи, а не их подчиненные; в результате даже самые

успешные ученые тратят примерно 40 % своего времени на бумажную работу.

106 Некоторые капиталистические фирмы вроде тех, что работают в Силиконовой долине и считают себя передовыми, так или иначе берут на вооружение старый прожекторский подход Bell Labs и всем рассказывают о том, как они работают. Но в сфере исследований эти усилия всегда оказываются лишь рекламными трюками. В таких компаниях разработка инноваций в значительной степени передается стартапам. В настоящее время самые перспективные исследования обычно ведутся не в корпоративной среде и не в организациях, напрямую финансируемых правительством, а в некоммерческом секторе (который включает в себя большинство университетов), но и здесь корпоративизация институциональной культуры приводит к тому, что все больше времени уходит на выбивание субсидий.

107 Harvie David. "Commons and Communities in the University: Some Notes and Some Examples" // The Commoner no. 8, Autumn/Winter 2004. – Режим доступа: www.commoner.org.uk/08harvie.pdf

108 Например, мы не можем знать, действительно ли существуют альтернативные формулы топлива, которые были выкуплены нефтяными компаниями и запрятаны в сейфах, но ходят упорные слухи, что это так. Одна знакомая российская журналистка рассказывала мне о своем друге, который разработал проект базовой интернет-станции, способной обеспечить бесплатное беспроводное подключение для всей страны. Очень скоро патент был выкуплен за несколько миллионов крупным интернет-провайдером и спрятан. Такие истории, разумеется, невозможно проверить, но уже сам факт их существования говорит о многом – звучат они совершенно правдоподобно.

109 Stephenson Neal. "Innovation Starvation" // World Policy Journal, Fall 2011, pp. 11-16.

110 Мне часто приходило в голову, что стимпанк на самом деле выражает ностальгию по такому положению дел. Однажды я присутствовал на музейной конференции, посвященной этой теме, и меня поразило, что все участники рассуждали только о «стиме», но никто не упоминал о «панке». Панк-рок 1970-х говорил об отсутствии какого-либо спасительного будущего – фраза *no future* стала одной из его самых известных мантр – и меня удивляет, что любовь к тому будущему, которое рисовала научная фантастика Викторианской эпохи, – это прежде всего ностальгия по эпохе, предшествовавшей мясорубке Первой мировой, когда все могли верить в возможность спасительного грядущего.

111 Арриги Джованни. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2007.

112 Хотя, возможно, это было обусловлено его либертарианскими коммунистическими политическими взглядами в не меньшей степени, чем его пристрастием к оккультизму. Сестра его жены, которая возглавляла магическое общество, ушла от него к Л. Рон Хаббарду; покинув НАСА, Парсонс начал использовать свои знания для создания пиротехнических эффектов для Голливуда и в 1962 году взорвал сам себя.

113 Mumford Lewis. *The Myth of the Machine: Technics and Human Development*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1966.

114 Замечу, что Питер Тиль, согласившийся с большей частью идей, изложенных в этом очерке, недавно проявил себя как капиталист, выступающий против рынка и за монополии именно потому, что, по его мнению, это лучший способ обеспечить дальнейшие быстрые технологические изменения.

115 Сколько я себя помню (как минимум с двадцатилетнего возраста), по меньшей мере раз в год кто-нибудь рассказывал мне о том, что лекарство, останавливающее процесс старения, появится примерно через три года.

ГЛАВА III. Утопия правил, или Почему мы любим бюрократию, несмотря ни на что

116 «Бюрократия» в: From Weber Max. *Essays in Sociology* / Gerth H. H., Mills C. Wright (eds.). New York: Oxford University Press, 1946, pp. 233–34.

117 Одному американскому гостю он говорил: «Моя мысль заключалась в том, чтобы подкупить рабочие классы или, скажем так, задобрить их, внушить мысль, что государство – это социальный институт, существующий для них и заинтересованный в их благополучии» (цит. по: Stead William Thomas. *On the Eve: A Handbook for the General Election*. London: Review of Reviews Publishing, 1892, p. 62). Эту цитату стоит запомнить, ведь, на мой взгляд, ее суть, заключающаяся в том, что социальное государство было создано чтобы заплатить рабочим и не дать им стать революционерами, многие воспринимают скептически и требуют доказательств того, что в этом и состоял замысел правящего класса. Но здесь мы имеем дело с откровенным описанием самой первой такой попытки, данным самим ее инициатором.

118 Геродот. Книга VIII, 98 / Пер. и примеч. Г. А. Стратановского // Геродот. *История в девяти книгах*. Л.: Наука, 1972.

119 Интересно, что в «Воображаемых сообществах» Бенедикт Андерсон упоминает этот феномен лишь вскользь, сосредотачиваясь только на газетах.

120 Такая ситуация сохраняется и сегодня: в Соединенных Штатах треть правительственных служащих – военные, еще четверть – почтовые работники, что намного больше, чем численность занятых в любой другой отрасли.

121 К сожалению, этот очерк был утрачен (см. *The Mark Twain Encyclopedia* / LeMaster J. R., Wilson James Darrell, Hamric Christie Graves (eds.). New York: Routledge, 1993, p. 71; Emerson Everett. *Mark Twain, a Literary Life*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000, p. 188).

122 Ленин В. И. Государство и революция // В. И. Ленин. Полное собрание сочинений (5-е изд.). Т. 33. С. 50. М.: Издательство политической литературы, 1969.

123 Кропоткин П. А. Хлеб и воля. М.: Директ-медиа, 2011.

124 Wood Gordon. Empire of Liberty: A History of the Early Republic, 1789–1815 (Oxford History of the United States). Oxford: Oxford University Press, 2011, pp. 478–79.

125 Меня, уроженца Нью-Йорка, всегда поражало колоссальное несоответствие между великолепием общественных сооружений, возведенных на рубеже веков, когда это самое великолепие считалось отражением силы и мощи государства, и сознательной, на первый взгляд, безвкусицей всего того, что создавалось в городе для его жителей, начиная с 70-х годов XX века. По крайней мере, для меня двумя главными образцами предшествующей эпохи являются монументальное здание Центрального почтамта Нью-Йорка с его мраморными ступенями шириной во все здание и коринфскими колоннами и центральное отделение Нью-йоркской публичной библиотеки (которое, кстати, сохраняло собственную систему пневматических труб для пересылки книжных требований к стеллажам вплоть до 80-х годов XX века). Я помню, как однажды туристом посетил летний дворец королей Швеции – это был первый дворец, в который я попал. Я сразу же подумал: «Да ведь это вылитая Нью-йоркская публичная библиотека!»

126 Ames Mark. Going Postal: Rage, Murder and Rebellion from Reagan's Workplaces to Clinton's Columbine and Beyond. Brooklyn: Soft Skull Press, 2005.

127 Это прекрасно передано в замечательном фильме «Голливудский расклад» (The Hollywood Shuffle), рассказывающем о молодом незадачливом афроамериканце, который был готов стерпеть все унижительные расистские стереотипы ради того, чтобы сделать карьеру в кино – его бабушка мягко напоминала ему: «На почте всегда есть работа».

128 Эта модель распространена во всех жанрах кино: даже если герой-одиночка – ученый, то начальником в бюрократической организации практически всегда будет темнокожий. Главный герой иногда бывает чернокожим, но обычно он белый; босс – по крайней мере, если он навязчив, придирчив и не помогает ему – белым почти никогда не бывает.

129 Не стоит и говорить о том, что, как ясно показали соображения о судьбе интернета, которые я изложил в предыдущей главе, такие поэтические технологии, к сожалению, обычно сами превращаются в бюрократические.

130 Попытки Фрейда примирить оба понятия завораживают: рациональность (Я) более не представляет нравственность, как это было в средневековой концепции, где разум и нравственность были одним и тем же; ее скорее толкают в противоположных направлениях, с одной стороны, страсти (Оно), а с другой – нравственность (Сверх-Я).

131 Можно было бы сказать, что это сильнее проявляется в военных бюрократиях, где офицеры часто считают делом чести выполнять с равным рвением и эффективностью любые политические задачи, которые ставят перед ними гражданские лидеры, вне зависимости от их собственных воззрений. Но это лишь продолжение бюрократического менталитета.

Армии, в которых доминирует, скажем, аристократический офицерский корпус, ведут себя совсем иначе.

132 Сегодня постоянно множится литература, посвященная социальным основам наиболее крайних форм политического ислама; она, в частности, показывает, что политический ислам особенно привлекает студентов, изучающих инженерное дело и науки.

133 Мистер Спок неслучайно был вымышленным персонажем. Но, разумеется, никто не предполагал, что Спок лишен эмоций – он лишь изображал это, полностью воплощая тем самым идеал рациональности.

134 Вполне возможно сформулировать логически последовательный довод, основанный на бредовых предположениях, или дать реалистичную оценку проблеме и затем применить совершенно ложную логику для ее решения. Люди постоянно делают и то и другое.

135 Здесь я имею в виду движение пифагорейцев, а не его основателя Пифагора, потому что роль самого Пифагора в создании учений, получивших впоследствии его имя, в настоящее время является предметом споров. Вальтер Буркерт предположил, что ему принадлежало лишь учение о перевоплощении, но он не имел отношения к математической космологии, которая приписывалась более поздним пифагорейцам вроде Гиппаса, Филолая и Архита или даже была разработана еще позже и приписана пифагорейцам Платоном (впрочем, последнее утверждение мне кажется неправдоподобным).

136 Согласно одной истории, когда Гиппас, один из более поздних пифагорейцев, открыл иррациональное число, его товарищи сбросили его в море. В Античности ходила легенда, гласившая, что Гиппас утонул случайно и что боги наказали его за нечестивость, то есть за раскрытие этой тайны. Мне лично кажется более интересным высказывавшееся в некоторых источниках предположение о том, что Гиппас полагал, что Бог – иррациональное число, иными словами, что Бог представляет собой трансцендентный принцип за пределами имманентной рациональности космоса. Если бы это было так, это являлось бы серьезным отступлением от новой логики «космической религии» Античности; в таком случае неудивительно, что Гиппас вызвал неприятие у своих товарищей. Увлекательно размышлять над тем, как это связано с рассуждениями о суверенитете, изложенными ниже.

137 Насколько я знаю, Ханс Йонас (Йонас Ханс. Гностическая религия. СПб.: Лань, 1998) был первым, кто использовал термин «космическая религия» для описания гностицизма, приверженцы которого отвергали понятие идеального космического порядка и считали, что человеческие души были чужды творению, выступая его явным отрицанием. Христианство Августина содержит элементы того и другого, соединяя манихейский дуализм с чисто языческим утверждением о тождестве ума и божества.

138 Она появилась у стоиков, но в Античности не была такой универсальной, какой стала в средневековой Европе.

139 Если они это и делают, то, разумеется, только в пьесах.

140 Leach Edmund. Social Anthropology. Oxford, Oxford University Press, 1982, p. 121.

141 Возможно, было бы логичнее считать, что отличие людей от животных лежит в области воображения, но для средневековой мысли это было недопустимо, потому что расхожее утверждение в богословии того времени, находившемся под влиянием астрологии и неоплатонизма, гласило, что воображение относится к более низкому порядку, являясь посредником между божественным разумом и материальным миром, так же как астральная плоскость выступает посредником между небом и землей; действительно, многие в ту эпоху полагали, что наши способности к воображению состоят из астральной субстанции.

142 Из: Yates Francis. *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*. London: Routledge and Kegan Paul, 1964, p. 144; первоисточник: Fludd Robert. *Meteorologica cosmica*. Frankfurt, 1626, p. 8.

143 Перевод из (см. выше): Yates Francis, p. 119.

144 И конечно, церковная иерархия, центр которой по-прежнему оставался в Риме и которая сохраняла самую сложную и географически разветвленную административную систему в Европе того времени.

145 О протобюрократии см.: Nissen Hans et al. *Archaic Bookkeeping: Early Writing and Techniques of Economic Administration in the Ancient Near East*. Chicago/London: University of Chicago Press, 1993; см. также Wengrow David. *What Makes a Civilization?* Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 81-87.

146 Или, если говорить об антропологическом материале, можно вспомнить о маори, или о первых нациях северо-западного побережья Северной Америки (часто их называют «обществами потлача», которые делились на аристократов и простолюдинов и не имели централизованной системы правления или администрации), или же, если на то пошло, о первых эгалитарных героических обществах вроде народа ятмул с Папуа – Новая Гвинея, в котором все взрослые мужчины постоянно демонстрировали подобное тщеславное поведение.

147 Здесь я отталкиваюсь, прежде всего, от работы: Wengrow David. “‘Archival’ and ‘Sacrificial’ Economies in Bronze Age Eurasia: An Interactionist Approach to the Hoarding of Metals” / Wilkinson T. C., Sherratt S., Bennet J. (eds.) // *Interweaving Worlds: Systemic Interactions in Eurasia, 7th to the 1st Millennia BC*. Oxford: Oxbow, 2011, pp. 135-44. О героических обществах я рассуждаю в: “Culture as Creative Refusal” // *Cambridge Anthropology* vol. 31 no. 2 (2013), pp. 1-19.

148 Я, собственно, уже утверждал это в моей более ранней книге: Graeber David. *Lost People: Magic and the Legacy of Slavery in Madagascar*. Bloomington: Indiana University Press, 2007, pp. 129-31.

149 Например, гунн Аттила является персонажем как «Песни о Нибелунгах», так и «Саги о Вёльсунгах».

150 Разумеется, к жанру фантастики относится очень широкий пласт литературы, от «Алисы в стране чудес» и «Удивительного волшебника из страны Оз» до «Зова Ктулху», и многие критики считают научную фантастику ее поджанром. Тем не менее героическая фантастика

в стиле Средиземья остается «немаркированным членом».

151 В другой работе я называл это «феноменом кривого зеркала». См.: Graeber David. "There Never Was a West: Democracy Emerges from the Spaces in Between" // Possibilities: Notes on Hierarchy, Rebellion, and Desire. Oakland: AK Press, 2007, p. 343.

152 Ключевая разница здесь, несомненно, заключается в том, что средневековые карнавалы в основном устраивались низами, в отличие от римских зрелищ.

153 Из его письма сыну, написанного во время Второй мировой войны: «Мои политические убеждения все больше и больше склоняются к анархии (в философском смысле – разумея отмену контроля, а не усатых заговорщиков с бомбами) или к “неконституционной” монархии. Я бы арестовывал всякого, кто употребляет слово “государство” (в каком-либо ином значении, кроме “неодушевленное королевство Англии и его жители”, то, что не обладает ни могуществом, ни правами, ни разумом); и, дав им шанс отречься от заблуждений, казнил бы их...» Далее он добавляет, что, по его мнению, отношения господства хороши только в рамках небольших групп и что единственным светлым пятном в мире является «крепнущая привычка недовольных взрывать фабрики и электростанции» (Письмо № 52 Кристоферу Толкину от 29 ноября 1943 года в: Толкин Джон Р. Р.: Письма / Пер. С. Лихачевой. М.: Эксмо, 2004). Как отмечали другие авторы, утверждение о том, что лишь личная власть легитимна, является отражением давней ненависти к бюрократии во всех ее проявлениях (фашистском, коммунистическом или в виде социального государства): например, Garth John. Tolkien and the Great War: The Threshold of Middle-earth. London: HarperCollins, 2011, p. 94; Horne Mark. J. R. R. Tolkien. Nashville, TN: Thomas Nelson, 2011, pp. 124-27. Последний отмечает, что «метания между королями и «анархией» не кажутся такими уж странными исследователю истории племен Северной Европы» (там же, p. 125); для того, что я называю героическими обществами, это, скорее, типичное явление.

154 Поклонники Дугласа Адамса вспомнят, что «Автостопом по галактике», еще одна великая сатира на бюрократию середины века, начинается именно с такой ситуации, которая приводит к уничтожению планеты.

155 Благородный воин, противостоящий зловредному волшебнику, – это британская колониальная метафора; колониальные чиновники в Африке почти всегда пытались обнаружить воинские элиты, которыми они восхищались, и если они их не находили, то считали, что воинов при помощи своих уловок изгнали разного рода ведуны, которые, по мнению колониальных чиновников, всегда оказывали пагубное влияние. «Копи царя Соломона» – наиболее яркое художественное выражение этого мифа.

156 Хёйзинга полагает, что забава и игра – это одно и то же. Хёйзинга Йохан. Homo Luden. Человек играющий. Опыт определения игрового элемента культуры / Пер. Д. Сильвестрова. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2015.

157 И если кто-то играет в игру, элемент «забавы» непредсказуем, вплоть до того, что этот человек просто не придерживается правил, а применяет сноровку, или бросает кости, или каким-либо еще образом обращается к неопределенности.

158 Приведу лишь один характерный пример: Lewis J. Lowell. "Toward a Unified Theory of Cultural Performance" / John Graham St. (ed.) // Victor Turner and Contemporary Cultural Performance. London: Berghahn, 2008, p. 47. Но этот аргумент приводится в литературе постоянно. Могу добавить, что, исходя из этого анализа, «Драконы и подземелья» и тому подобные ролевые игры приносят такое удовольствие потому, что они достигли идеального сочетания принципов забавы и игры.

159 "Alternative Futures" // Times of India, February 10, 2007. – Режим доступа: timesofindia.indiatimes.com/edit-page/Alternative-Futures/articleshow/1586903.cms

160 Шмитт Карл. Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. Аргументы Шмитта использовались нацистами для юридического оправдания существования концентрационных лагерей.

161 «В индийской космологии забава представляет собой иерархическую идею. Переходы к забаве и их предпосылки зафиксированы на высоком уровне абстракции и обобщения. Свойства забавы тесно переплетаются и резонируют вместе с целым. Более того, свойства забавы являются неотъемлемой частью самого функционирования космоса»: Handelman D. 1992. "Passages to play: Paradox and process" // Play and Culture vol 5 no. 1, p. 12. Цитируется в: Sutton-Smith Brian. The Ambiguity of Play. Cambridge: Harvard University Press, 2001, p. 55.

162 Sutton-Smith, pp. 55–60 (см. выше). Напротив, демократическая забава – представление об игре как о подспудно подрывном явлении – всегда существовала, но стала доминировать в наших рассуждениях о таких вопросах в романтическую эпоху.

163 Или, если точнее, его представители – это единственные люди, которым дозволено применять насилие в конкретной ситуации, если они в ней участвуют и находятся при исполнении.

164 В ходе протестов против Всемирного банка, проходивших в Вашингтоне в 2002 году, полиция решила окружить городской парк и арестовать всех, кто в нем находился. Я хорошо помню, как спросил у офицера, за что нас задержали. Он ответил: «Об этом мы подумаем позже».

165 Это может произойти, но обычно в результате анального проникновения с угрозой применения оружия. В голову приходят как минимум два следующих случая: дело Джастина Вольпе, который изнасиловал мужчину при помощи ручки от вантуза в душевой полицейского участка в Нью-Йорке в 1997 году, ошибочно посчитав, что тот бросил в него штампель во время уличной драки, и дело Денниса Краусса, офицера полиции из Джорджии, неоднократно требовавшего сексуальных услуг от женщин, вызывавших его в ситуациях домашнего насилия; в 1999 году он попытался принудить к анальному сексу одну из них, угрожая оружием. Оба получили тюремные сроки. Однако должно произойти что-то не менее возмутительное для того чтобы полицейский отправился за решетку. Например, в ходе акций Глобального движения за справедливость и движения «Захвати Уолл-стрит» стражи правопорядка систематически ломали руки и пальцы мирным протестующим – часто после того, как озвучивали эту угрозу, – но никому из стражей полицейских не было даже

предъявлено обвинение, не говоря уже об осуждении за нападение.

166 Стоит обратить внимание на сложные взаимоотношения между этим понятием и описанным выше рационалистическим мировоззрением, в рамках которого творчество было демоническим, поскольку противостояло божественному или космическому принципу разума. Здесь творчество считается демоническим потому, что оно является частью божественного или космического принципа забавы!

167 Некоторые современные политические мыслители готовы выразить это более или менее откровенно. Здесь я прежде всего имею в виду философскую школу, которую историки философии вроде Квентина Скиннера и философы вроде Филипа Петтита называют гражданским республиканством и которая утверждает, что «свобода» в классической либеральной традиции – это не вопрос способности действовать без вмешательства власти или даже без угрозы применения насилия (поскольку правовые системы угрожают насилием тем, кто нарушает правила), а скорее способности действовать без вмешательства произвольной власти. Здесь не очень уместно пускаться в детальный анализ, но полная формулировка выливается в представление о свободе как об игре с нулевой суммой. В конце концов, «произвольная» означает лишь «неопределенная». В системе произвольной власти решения отражают «волю и прихоть» деспота. Но с точки зрения деспота, «произвол» – это свобода. Поэтому люди свободны в том случае, если несвободен правитель.

Могущественные люди должны соблюдать правила. Но раз все граждане обладают некоторой властью, то ею обладают и все прочие. В конечном счете если свобода означает защиту от произвольной (не ограниченной правилами) власти других и если власть присутствует повсюду, логика подталкивает к сведению всех аспектов человеческой жизни к набору прозрачных правил (ключевые тексты по этому вопросу: Pettit Philip. *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Oxford: Clarendon Press, 1997; Skinner Quentin. “Freedom as the Absence of Arbitrary Power” / Laborde Cécile, John Maynor (eds.) // *Republicanism and Political Theory*. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008).

168 Strathern Marilyn. *Audit Cultures: Anthropological Studies in Accountability, Ethics and the Academy*. London: Routledge, 2000.

169 Они не просто меняются, а меняются с постоянной скоростью, вне зависимости от исторических обстоятельств. Есть даже целая наука, глоттохронология, исходящая из этого факта.

170 Freeman Jo. “The Tyranny of Structurelessness”. Первая официальная публикация: *The Second Wave*, vol. 2, no 1. Перепечатано в: *Quiet Rumours: An Anarcha-Feminist Reader*, Dark Star Collective. Edinburgh: AK Press, 2002, pp. 54-61.

Приложение. О Бэтмене и проблеме учредительной власти

171 Замечу в скобках, что мой анализ здесь посвящен прежде всего классическим комиксам в первые десятилетия их существования. Когда моя статья была опубликована, ее часто критиковали за то, что она не касалась наиболее утонченных примеров этого жанра: «Бэтмена» Фрэнка Найта, «Хранителей», «V значит вендетта» и других комиксов с явной политической подоплекой. И даже классические комиксы со временем стали носить более отчетливый политический характер (Лекс Лютор, например, стал президентом!). И все же, если хочешь понять суть какого-то популярного жанра, не нужно исследовать самые искусные его проявления. Если хочешь понять суть какого-то популярного жанра, нужно читать дрянь.

172 Если только не учитывать одного человека, который явно посмотрел слишком много фильмов о Бэтмене.

Примечания-2

1 Цитата из песни Chicago Грэма Нэша. – Примеч. ред.

2 Хана, кранты. – Примеч. пер.

3 Замкнутый круг. – Примеч. пер.

4 Американский научно-фантастический мультсериал, в котором отражены популярные идеи из фантастики середины XX века. – Примеч. ред.

5 Американский комедийный мультсериал, рассказывающий о жизни семьи в каменном веке. – Примеч. ред.

6 Отсутствует эта разница и в русском языке. Во избежание путаницы здесь и далее play будет переводиться как «забава», а game – как «игра». – Примеч. пер.